Л.-С. МЕРСЬЕ

ГОД ДВЕ ТЫСЯЧИ ЧЕТЫРЕСТА СОРОКОВОЙ

Л.-С. МЕРСЬЕ · ГОД 2440Й

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ



Louis-Sébastien
MERCIER

L'AN
DEUX MILLE
QUATRE CENT QUARANTE

REVE, S'IL EN FUT JAMAIS



Луи-Себастьен
МЕРСЬЕ

ГОД ДВЕ ТЫСЯЧИ ЧЕТЫРЕСТА СОРОКОВОЙ

СОН, КОТОРОГО, ВОЗМОЖНО, И НЕ БЫЛО

ИЗДАНИЕ ПОДГОТОВИЛИ
А. Л. АНДРЕС и П. Р. ЗАБОРОВ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ЛЕНИНГРАД
1977

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СЕРИИ
«ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ»

М. П. Алексеев, Н. И. Балашов, Д. Д. Благой, И. С. Брагинский, М. Л. Гаспаров, А. Л. Гришунин, Л. А. Дмитриев, Н. Я. Дьяконова, Б. Ф. Егоров, Д. С. Лихачев (председатель), *А. Д. Михайлов, Д. В. Обнобишин* (ученый секретарь), *Д. А. Ольдерогге, Ф. А. Петровский, Б. И. Пуришев, А. М. Самсонов* (заместитель председателя), *М. И. Стеблин-Каменский, Г. В. Степанов*

ПЕРЕВОД А. Л. АНДРЕС

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
П. Р. ЗАБОРОВ

М $\frac{70404\text{-}554}{042\,(02)\text{-}77}$ 335-77

© Издательство «Наука», 1977
© *Скан и обработка: glarus63*



ЛУИ-СЕБАСТЬЕН МЕРСЬЕ

Гравюра Б.-Л. Анрикеза по рисунку А. Пюжо.

В НАСТОЯЩЕМ ЗРЕЕТ ГРЯДУЩЕЕ.

Лейбниц

Посвящение
Году две тысячи четыреста сороковому

О высокочтимый, священный год всеобщего благоденствия, который, увы, я видел только во сне! Придет твой черед, вечность исторгнет тебя из лона своего, и те, кому будет светить тогда солнце, так же равнодушно станут попирать ногами прах мой, как и прах следующих тридцати поколений, коих одно за другим поглотит бездна смерти. Исчезнут короли, ныне сидящие на тронах, исчезнут их потомки, и ты тогда будешь вершить суд над почившими этими государями и над сочинителями, что были им подвластны. В сиянии славы, чистой и лучезарной, дойдут до тебя имена друзей человечества, защитников его. Имена же злодеев, сей подлой королевской черни, коей немало предстоит еще терзать род людской, канут в пучину забвения, более глубокую, чем смерть, и потому лишь избегнут позора и поношения.

Мысль долговечнее человека. В этом — великое ее превосходство! Покинув могилу, она обретает плоть и бессмертие; и в то время как затихают и уходят в небытие громы деспотизма, голос сочинителя, преодолевая преграду времен, доносит чрез века хвалу иль приговор владыкам мира.

Я воспользовался властью, дарованной мне природой, призвав на суд одинокого своего разума законы и преступления, обычаи и нравы страны, где жил я в тиши и безвестности. Я познал ненависть, ту благородную ненависть, которую не может не испытывать человек чувствительный пред лицом деспотизма. Я возненавидел тиранию, я заклеймил ее позором, я боролся с ней всеми доступными средствами. Но, о священный, о высокочтимый год, как ни тщился я, вглядываясь в грядущее, воспарить к тебе в пламенных мечтах моих, тебе они покажутся, быть может, лишь мечтами раба. Прости меня! Дух века моего владеет мной. Окрест меня все погружено в оцепенение, в отечестве моем царит безмолвие, подобное безмолвию могилы. Вкруг меня одни живые мертвецы — они ходят, они произносят слова, но и ростка животворящей мысли в них не обнаружишь. Голос философии и тот звучит все слабее — отчаявшись и обессилев, еще взывает он к людям, но вопиет в пустыне.

О, когда б позволено было мне рассечь надвое отпущенный мне срок жизни — с какой радостью сошел бы я в обитель смерти, расставшись

с жалкими, несчастными моими современниками, дабы воскреснуть средь ясных твоих дней, под благодатным твоим небом, под коим вновь обретет человек мужество, добродетель, независимость, свободу. Зачем дано мне увидеть тебя только во сне, о прекрасная, вожделенная пора, которую я пламенно призываю. Явись! Озари светом своего солнца счастливый, благоденствующий мир!

Но нет, все это пустое. Вот рассеиваются уже чары сладостного сего наваждения, и я страшусь... увы, страшусь, не пришлось бы твоему солнцу печально освещать одни развалины да груды пепла!

Предуведомление

Всеобщее благоденствие — вот предмет желаний философа. Под этим словом, коим, конечно, злоупотребляли, разумею я человека добродетельного и чувствительного, который хочет счастья для всех, ибо имеет ясное представление о гармонии и порядке. Утомившись лицезрением зла, он горько сетует; ему приписывают мрачный нрав; это несправедливо. Философ знает, что зла на земле предостаточно, но в то же время он постоянно держит в мыслях прельстительное понятие совершенства, которого может и, более того, должно достигнуть разумное человечество.

Почему бы, в самом деле, не уповать нам на то, что, завершив круг безумств, по которому гонят его страсти и заблуждения, род человеческий, опомнившись, вновь обратится к чистому свету разума? Почему не уподобить его отдельному человеку? В юности он горяч, жесток, безрассуден, в старости — мудр, умерен, кроток.* Тот, кто придерживается подобного взгляда, сам вменяет себе в обязанность быть справедливым.

Но знаем ли мы, что такое совершенство? Может ли оно стать уделом человека, существа слабого, ограниченного? Не таится ли ответ на этот вопрос в самой жизни, и не суждено ли нам сбросить смертную оболочку нашу, прежде чем мы разгадаем великую сию загадку?

А пока постараемся сделать порядок вещей более терпимым или, если и это еще недостижимо, пусть хоть пригрезится нам, что он таким стал. Подобно Платону, замкнувшись в себе, я предаюсь, как он, мечтам...[1] О любезные мои сограждане, вы, из чьих уст я так часто слышал жалобы на бесчисленные пороки и несовершенства, о которых все устали уже толковать, когда же осуществятся великие наши замыслы, когда увидим мы воочию все то, что нам только снится! Спать и видеть сны — вот в чем, стало быть, наше блаженство.

---

* Неужто мир сотворен лишь ради того небольшого количества людей, что населяют ныне нашу землю? Соизмеримо ли число всех тех, кто когда-либо жил на ней, с тем великим множеством существ, коих способен создать господь! Другие поколения придут на наше место; они станут действовать на том же поприще, они будут видеть то же солнце, что видим мы, и так далеко отодвинут нас в глубь столетий, что не останется от нас ни следа, ни отзвука, ни воспоминания. *Все подстрочные примечания принадлежат Л.-С. Мерсье. — Ред.*

Глава первая

ПАРИЖ ГЛАЗАМИ СТАРОГО АНГЛИЧАНИНА

Докучливый друг, зачем разбудил ты меня? Ах, какое зло ты мне причинил! Ты рассеял сновидение, чей пленительный образ мне милее несносного света истины. Как сладостен был сей обман чувств, и отчего не властен я предаваться ему до конца моих дней! Но нет, вновь вижу я вкруг себя тот страшный хаос, с которым мнил навеки расстаться. Садись же рядом со мною и выслушай мой рассказ, пока еще живы в памяти картины, столь меня поразившие.

Вчера я допоздна беседовал с тем старым англичанином, который так нравится мне своей откровенностью. Ты ведь знаешь, я люблю истинных англичан. Нигде не найдешь более верных друзей, ни в одном народе не сыщешь людей столь твердого и столь великодушного нрава. Воодушевляющий их дух свободы сообщает им ту степень мужества и стойкости, которой редко достигают прочие народы.

— Вашей стране, — сказал он, — присуще множество престранных пороков. Столь же трудно перечесть их, как и постигнуть, — поистине разум теряется перед ними. Всего более поражает меня то спокойствие и внешнее благодушие, под коими таятся чудовищные разногласия и внутренние распри. Ваша столица являет собой какое-то невероятное сочетание: * это нескладное чудовище одновременно совмещает в себе и непомерное богатство, и крайнюю нищету, между коими ведется беспрерывная борьба. Поистине достойно удивления, как этот самопожирающий организм, истребляющий себя сразу со всех концов, может еще существовать при столь поразительной несоразмерности своих частей.**

---

* Все королевство сосредоточено в Париже. Оно подобно рахитичному ребенку. Все питательные соки поднимаются к голове и делают ее несоразмерно большой. Такие дети умнее других, но телом они слабы и худосочны. Умные дети недолговечны.

** Еще более поразительно, каким образом он существует. Нередко случается здесь видеть, как человек, неспособный прожить на ренту в сто тысяч франков, берет в долг деньги у другого, который благоденствует, хотя весь доход его — сто пистолей.

Все в вашем королевстве делается в угоду столице: ей в жертву приносятся города и целые провинции. Алмаз, блистающий в навозной куче, — вот что являет она собой! Какое невероятное смешение ума и глупости, гения и сумасбродства, величия и низости! Покинув Англию, я спешу сюда, ожидая узреть просвещенный город, где люди, соединив свои усилия и таланты, предаются всем возможным удовольствиям, пользуясь благоденствием и досугом, позволяющим еще более ими наслаждаться. Но, боже, как жестоко обманут я в своих ожиданиях! В этом городе изобилия я вижу несчастных, страдающих от голода. Под сенью множества мудрых законов свершаются тысячи преступлений. Вопреки стольким уставам благочиния, всюду царит беспорядок. Всюду преграды, всюду препоны, всюду установления, противные общественному благу.

Пешеходам на улицах каждую минуту угрожает опасность погибнуть под колесами бесчисленных карет, в которых, удобно развалясь, сидят люди, куда менее достойные уважения, чем те, кого они обдают грязью и грозят раздавить. Я содрогаюсь, едва только заслышу торопливый топот запряженной пары лошадей, несущейся во весь опор по улицам города, полного детей, стариков, беременных женщин. Право же, нет ничего более оскорбительного для человеческой природы, чем то жестокое безразличие, которое проявляют люди к этой непрестанно вновь и вновь возникающей опасности.*

Дела вынуждают вас посетить некую часть города, где стоит ужасающий убийственный смрад. Тысячам людей приходится дышать этим отравленным воздухом.**

Ваши храмы скорее являют собой место соблазна, нежели располагают к благочестию. Их превратили в какое-то подобие проходных дворов, а подчас и того хуже. Сидеть там дозволяется только за плату — привилегия, непозволительная в освященном месте, где перед лицом Всевышнего людям следовало бы видеть друг в друге хотя бы равных.

Когда вы тщитесь подражать грекам и римлянам, у вас не хватает даже ума придерживаться их стиля, а ему ведь свойственны простота и благородство. Вы искажаете его, уродуете в соответствии с заурядными своими понятиями и присущей всем вам детской страстью к жеманной красивости.

---

* Первые обитатели земли, могли ли вы вообразить себе, что будет когда-нибудь существовать город, где несчастных пешеходов станут безжалостно топтать ногами и копытами?

** Кладбище Невинно-убиенных [1] обслуживает двадцать два парижских прихода. Вот уже тысячу лет как здесь хоронят мертвецов. Их следовало бы выносить подальше, за пределы городских стен. А что происходит на деле? Их хоронят в самом центре города и, опасаясь, как видно, что их мало станут посещать, вокруг понастроили лавок и мастерских ремесленников. Эта всегда разверстая могила каждый день пополняется и всегда готова принять новых покойников. По гниющим костям миллиарда мертвецов наши прелестницы ходят примерять свои наряды и покупать всякие безделушки.

Есть у вас две или три театральных пиесы, являющие собой высочайшие образцы искусства. Но если после их чтения мне придет охота пойти посмотреть их на сцене, я просто их там не узнаю.

У вас есть три темных, маленьких жалких театра.[2] В первом из них поют, сдирая за это со зрителя изрядную мзду; вас доведут там до умопомрачения и с помощью дурацких машин покажут чудеса, в самом разгаре которых на вас нападет неодолимая зевота. Во втором театре вас заставляют смеяться там, где следует плакать. Декорации и костюмы здесь прескверные, и, не говоря уже о ваших трагических актерах, которые ниже всякой критики, вам еще вдобавок покажут какую-нибудь наперсницу[3] с таким огромным или таким курносым носом, что одного этого достаточно, чтобы уничтожить всякую иллюзию. А в третьем театре подвизаются шуты, которые то потрясают погремушкой Мома,[4] то пищат всякие пошлые песенки. Однако я предпочитаю их вашим безвкусным французским актерам, ибо они более естественны, а следовательно, более приятны, поскольку лучше умеют развлечь публику; * но в то же время, не могу не признаться: нужно поистине изнывать от безделья, чтобы искать удовольствие в той чепухе, которую они изрекают!

Не могу сдержать презрительной усмешки, как вспомню, что эти люди, коим следовало бы рассматривать каждого зрителя как своего рода благодетеля, еще имеют наглость запихивать сих ценителей своего искусства в узкий партер, где те вынуждены стоять вплотную друг к другу,[5] терпя тысячи мучений и не смея вслух пожаловаться на духоту, даже если они готовы уже вот-вот богу душу отдать. Народ, который даже в развлечениях своих покорно терпит подобного рода притеснения, лишний раз доказывает этим, до какой степени легко его поработить. Так что все эти хваленые ваши развлечения при ближайшем рассмотрении оказываются омраченными — чтобы дышать здесь полной грудью, приходится ходить по чужим головам.

Мне подобное невежество не по вкусу, а посему прощайте, я уезжаю. Продолжайте гордиться своими прекрасными памятниками, все более и более приходящими в упадок, восторгайтесь своим Лувром, хотя при виде его уместнее испытывать не гордость, а стыд, особенно как посмотришь, сколько понастроили кругом всяческих безделиц, содержание коих обходится вам дороже, нежели бы стоило завершение строительства ваших публичных зданий.

Но это бы еще ничего. Я мог бы начать распространяться об ужасающем неравенстве состояний, назвать тайные причины сего явления; мог бы коснуться ваших нравов, жестокости и спеси, что таятся под любезной и учтивой вашей личиной; ** мог бы изобразить нищую долю

* Между французскими и итальянскими комедиантами есть существенная разница. Первые искренне верят в свое дарование и ведут себя пренагло. Вторые корыстолюбивы, им надобны только деньги. Первые из самолюбия стремятся управлять вкусами публики; вторые стараются потрафлять ей ради собственной выгоды.

** За исключением разве финансистов, кои одновременно и жестоки и неучтивы, богачи обычно обладают лишь каким-нибудь одним из этих двух пороков — или они любезно позволяют вам умирать с голоду, или грубо швыряют вам милостыню.

честного бедняка, у которого нет иной возможности выйти из нужды, как поступившись своей честностью; представить вам доходы человека бесчестного и доказать, что чем большим мошенником * он становится, тем больше его уважают... — но это слишком далеко завело бы меня, а потому — спокойной ночи. Я еду завтра. Слышите, завтра же. Не могу долее оставаться в этом городе, который так несчастен, хотя обладает всем, что надобно для счастья.

Париж опротивел мне так же, как и Лондон. Все большие города схожи меж собой, об этом превосходно сказал Руссо.[6] Как видно, чем больше люди придумывают законов, чтобы достигнуть счастья в совместном существовании, тем хуже сами становятся и тем более умножают свои беды. А ведь, рассуждая здраво, должно быть наоборот. Но слишком многим выгодно препятствовать всеобщему благу. Поеду искать по свету какое-нибудь тихое селение и там, на чистом воздухе, средь мирных наслаждений, стану оплакивать судьбу несчастных обитателей этих гнусных тюрем, что зовутся городами.**

Напрасно приводил я ему ходячую истину, что «Париж не один день строился», напрасно твердил, что по сравнению с прошедшими веками все в нем стало куда совершеннее.

— Подождите несколько лет, — говорил я ему, — и вам, может быть, и желать уже ничего не останется. Вот кабы удалось нам полностью осуществить те проекты, что...

— Ах, — воскликнул он мне в ответ, — вот он, конек всей вашей нации. Всегда проекты! И вы в это верите! Вы француз, друг мой, и при всем вашем здравом смысле истинный сын своей страны. Ладно, будь по-вашему: я вернусь сюда, когда все эти проекты будут осуществлены. А пока поеду в какое-нибудь другое место. Не желаю я жить среди такого множества недовольных и несчастных людей, их страдающие взоры терзают мне сердце.***

Самые вопиющие ваши недуги не так уж трудно было бы излечить, я это знаю, но поверьте мне, никто и не подумает врачевать их — для этого потребуются слишком простые меры, к ним не станут прибегать, могу побиться об заклад. Могу поручиться и за то, что священное слово «человечность», которое вы то и дело жеманно повторяете, лишь помо-

---

* В прежние времена человеку добродетельному не оказывали помощи, но его хотя бы уважали. Нынче уже не так. Мне вспоминается фраза, сказанная одной принцессой своему управляющему. Он получал у нее жалования шестьсот ливров и сетовал, что ему не хватает. — Как же устраивался ваш предшественник, — сказала она ему. — Он прослужил у меня всего десять лет, а ушел на покой с двадцатью тысячами ливров. — Но, ваше высочество, ведь он обкрадывал вас, — отвечал управляющий. — Ну и что же такого, сударь, — отозвалась принцесса, — обкрадывайте меня и вы.

** В этом бесконечном потоке модных забав и развлечений, каждое из которых недолговечно и одно уничтожает другое, великие мира сего разучиваются даже испытывать духовные наслаждения и так же теряют способность чувствовать великое и прекрасное, как и творить его.

*** Нет во Франции такого учреждения, которое не причиняло бы нации вреда.

гает вам лучше уклоняться от обязанностей, кои оно налагает.* Уже давно творите вы зло отнюдь не по неведению, так что вам никогда не исправиться. Итак, прощайте.

Глава вторая

МНЕ СЕМЬСОТ ЛЕТ

Пробило полночь, когда старый англичанин покинул меня. Я чувствовал себя несколько утомленным и, заперев за ним дверь, тотчас же улегся в постель. И только смежил я веки, как мне привиделся сон. Снилось мне, будто сплю я уже много-много веков и вдруг — пробудился.** Вставши с постели, я почувствовал какую-то непривычную тяжесть во всем теле. Руки у меня дрожали, ноги подкашивались. Взглянувши в зеркало, я едва узнал себя: когда я ложился, волосы у меня были русы, лицо бело, щеки румяны. А теперь лоб мой изборожден был морщинами, волосы поседели, резко обозначились скулы, нос как-то вытянулся, и лицо стало мертвенно бледным. Сделавши несколько шагов, я вдруг почувствовал потребность опереться на палку. Счастье еще, что я не ощущал в себе столь свойственного старости дурного расположения духа.

Я вышел из дому и очутился на незнакомой мне площади. Здесь только что установили какой-то памятник в виде обелиска; вкруг него толпились любопытные. Я подошел поближе и явственно увидел на нем надпись: «Год от рождества Христова MMCCCCXL»; она была высечена по мрамору золотыми буквами.

Первой моей мыслью было, что меня обманывают собственные глаза, потом я решил, что это ошибка резчика, и уже собрался было громко заявить об этом, как вдруг взгляд мой упал на расклеенные по стенам королевские указы. Я всегда был усерднейшим читателем парижских объявлений. Приблизившись к ним, я и на этих публичных листках увидел ту же дату, что и на памятнике: MMCCCCXL. — Да что же это! —

---

* Горе писателю, который поет хвалу своему веку и окончательно усыпляет его, который баюкает его россказнями о древних героях, об утраченных добродетелях, кто прикрывает язвы, разъедающие его тело, и, подобно лукавому и ловкому царедворцу, внушает ему, что он здоров и прекрасен, меж тем как гангрена все дальше охватывает его члены. Сочинитель мужественный не станет произносить сей опасной лжи. Он воскликнет: о, мои сограждане! Нет, вы не похожи на отцов ваших, вы учтивы, но жестоки, вы только прикрываетесь словом «человечность». Трусливые плуты, вы неспособны даже на большие преступления, они так же мелки, как и вы сами.

** Стоит только какому-нибудь предмету сильно поразить наше воображение, как оно тотчас же воспроизведет его нам ночью. Удивительные вещи происходят с нами в наших снах. А этот, как мы увидим, оказался довольно складен.

сказал я себе, — выходит, сам того не замечая, я стал древним старцем: неужто же я проспал шестьсот семьдесят два года! *

Вокруг меня все неузнаваемо изменилось. Кварталы, столь хорошо мне знакомые, выглядели совсем иначе, нежели прежде, гораздо красивее. Я бродил по прямым, красивым, чистым улицам, выходил на широкие перекрестки, где царил образцовый порядок и где не заметно было ни малейшего скопления экипажей. Не слышно было тех пронзительных, причудливых криков, что раздирали некогда мой слух.** Не мчались мне навстречу кареты, готовые раздавить меня. Подагрик и тот спокойно мог бы здесь гулять. Город выглядел оживленным, однако в нем не было ни суеты, ни беспорядка.

Я так был этим поражен, что не замечал сначала, как прохожие останавливаются и с величайшим изумлением оглядывают меня с головы до ног. Они пожимали плечами и улыбались, точь-в-точь как делаем это мы, встретив на улице ряженого. В самом деле, одежда моя должна была казаться им странной и забавной, настолько отличалась она от той, которую носили они.

Какой-то горожанин (я сразу же признал в нем человека просвещенного) подошел ко мне и сказал учтиво, но весьма решительно:

— Добрый старец, к чему этот маскарад? Или вы желаете преподать нам пример нелепых обычаев какого-то странного века? Но у нас нет никакого желания им подражать. Бросьте же это пустое шутовство.

— Помилуйте, — отвечал я ему, — это вовсе не маскарадный костюм; на мне то самое платье, что было вчера. Это ваши памятники, ваши указы вводят в заблуждение. Вы, как видно, считаете своим государем не Людовика XV,[2] а кого-то другого. Мне неясны ваши намерения, но, предупреждаю вас, на мой взгляд, вы затеяли опасную игру. Такого рода маскарады непозволительны. Нельзя допускать подобные шалости. К тому же вы очень наивны, полагая, будто вам удастся обмануть кого-то таким образом. Неужто вы воображаете, что можно заставить человека усомниться в собственном существовании?

То ли мой собеседник решил, что имеет дело с помешанным, то ли принял мои слова за старческий бред, то ли у него возникли еще какие-либо предположения на мой счет, только он спросил меня, в каком году я родился.

— В 1740-м, — ответствовал я.

— Ну что ж, в таком случае вам исполнилось ровно семьсот лет. Не удивляйтесь, — прибавил он, обращаясь к окружившей нас толпе, — Енох и Илия совсем не умирали. Мафусаил и некоторые другие жили по девятьсот лет.[3] Никола Фламель[4] все еще, подобно Вечному жиду, бродит по белу свету. А может быть, господин этот нашел эликсир жизни или философский камень.

---

* Книгу эту я начал писать в 1768 году.

** Крики на парижских улицах[1] — это особый язык, для изучения которого следовало бы составить специальный словарь.

Он говорил это с улыбкой, и все толпились вкруг меня, выражая мне сочувствие и особое почтение. Многие горели желанием порасспросить меня, но скромность удерживала их. Они только вполголоса переговаривались между собой: «Человек, живший при Людовике XVI Подумать только!».

Глава третья

Я ОДЕВАЮСЬ В ЛАВКЕ ПОДЕРЖАННОГО ПЛАТЬЯ

Я чувствовал себя все более неловко. Мой ученый собеседник сказал мне:

— Удивительный старец, я готов служить вам проводником, но прежде всего нам надобно зайти к какому-нибудь торговцу подержанным платьем; ибо, — добавил он со всей откровенностью, — мне невозможно сопутствовать вам до тех пор, пока вы не будете прилично одеты. Согласитесь, что в цивилизованном городе, где запрещены всякие поединки и правительство отвечает за жизнь каждого, бесполезно, более того, непристойно стеснять свои бедра смертоносным оружием и, отправляясь в храм, к женщине или друзьям, вешать себе на бок шпагу,[1] словно солдат, врывающийся в осажденный город. В вашем веке еще придерживались сего древнего рыцарского обычая; право волочить за собой боевое оружие почиталось за честь; я вычитал в одной старинной книге, будто в ваше время дряхлые старцы и те щеголяли сим бесполезным оружием. До чего же ваше платье неудобно и вредно для здоровья! Плечи и руки у вас стиснуты, тело сдавлено, грудь затянута до того, что вам просто невозможно вздохнуть. И для чего, скажите на милость, зимой и летом и во всякую непогоду выставлять наружу свои бедра и ноги? Всякая новая эпоха приносит с собой новые моды; может быть, я и заблуждаюсь, но мне сдается, что наша манера одеваться и приятна на вид, и полезна для здоровья. Судите сами.

И вправду, хоть одет он был и непривычно для моих глаз, но в одежде его не было ничего такого, что не понравилось бы мне. Шляпа его была совсем не похожа на те неудобные треугольные шляпы * унылого вида и цвета, которые носим мы. От них сохранилась только тулья, достаточно глубокая, чтобы держаться на голове, окаймленная чем-то вроде валика из той же ткани; будучи развернут, валик этот образовывал как бы козырек, предохраняющий лицо от солнца или дождя. Опрятно убранные

* Если бы мне привелось писать историю Франции, я с особым удовольствием остановился бы на вопросе о шляпах. Этот раздел мог бы получиться весьма интересным. Я противопоставил бы Англию и Францию — в одной носят маленькие, тогда как в другой приняты большие, причем в последней перестают носить большие, как только первая отказывается от маленьких.

волосы, лишь самую малость присыпанные пудрой, чтобы виден был их естественный цвет, спускались на затылке * небольшой косицей. Ни спесивой напомаженной пирамиды, ни безвкусных крыльев, лежащих по обе стороны лица и придающих ему какое-то растерянное выражение, ни неуклюжих буклей, которые не имеют ничего общего со свободно ниспадающими кудрями и придают человеку глупый, надутый и нелюбезный вид.

Шею его не стягивала узенькая полоска муслина; ** [2] ее окутывал шейный платок, более или менее теплый, смотря по времени года. Рукава его одежды были в меру широки, так что руки свободно могли в них двигаться; тело было ловко охвачено подобием камзола, поверх которого накинут был широкий плащ, могущий в случае ненастья служить надежной защитой. Длинный шарф красиво окутывал его бедра, чтобы всему телу было одинаково тепло. На нем не было подвязок, которые перетягивают подколенки и затрудняют циркуляцию крови. Длинные чулки облегали его ноги до самого верха. На нем были удобные башмаки, напоминающие полусапожки.

Он привел меня в лавку, где мне было предложено сменить одежду. Стул, на который меня усадили, ничем не напоминал те обитые материей кресла, в которых больше томишься, нежели отдыхаешь. Он представлял собой нечто вроде короткой, отлогой кушетки, обитой легкой циновкой и державшейся на винте, который позволял сидящему легко поворачиваться во все стороны. Мне просто не верилось, что я нахожусь у торговца платьем, — он ни разу не упомянул ни о своей чести, ни о своей совести, и в лавке его было отменно светло.

Глава четвертая

НОСИЛЬЩИКИ

Спутник мой с каждой минутой выказывал мне все большую предупредительность. Он заплатил торговцу за мое платье — на наши деньги это составляло около луидора, но когда я вынул деньги из кармана, торговец заявил, что оставит у себя эту монету просто как предмет древности. В каждой лавке полагалось платить наличными. Этим щепетильно честным людям незнакомо было само слово «кредит», всегда, так или иначе,

* Приди мне фантазия написать трактат об искусстве прически, в какое удивление вверг бы я читателя сообщением о том, что существует не то триста, не то четыреста способов завивать волосы порядочного человека. О, какой высоты может достигнуть искусство, и кто может похвалиться, что знает его во всех подробностях!

** Я не согласен с теми, кто возражает против наших воротников; они полезнее, чем это кажется. От бессонных ночей, обильного стола и некоторых других излишеств мы бываем бледны. Тут на помощь и приходят воротники — они сдавливают нам горло, и мы вновь обретаем румянец.

прикрывающее какое-либо мошенничество. Искусство делать долги и не платить их перестало быть здесь неотъемлемой чертой человека из высшего света.*

Я вышел из лавки, и толпа вновь окружила меня со всех сторон. Однако в обращенных ко мне взорах не было ничего оскорбительного. Ни у кого я не заметил и тени насмешки. Только слышался вокруг шепот: «Этому человеку семьсот лет! Как, должно быть, несчастлив был он первую половину своей жизни!».**

Меня поразили и чистота улиц, и отсутствие скопления людей и экипажей; можно было подумать, что нынче праздник тела господня.[2] А между тем город производил впечатление весьма многолюдного. На каждой улице стоял стражник, который следил за общественным порядком; он распоряжался движением карет, а также людей, нагруженных тяжкой ношею, причем особо заботился о том, чтобы дать им дорогу в первую очередь; при этом очевидно было, что ноша эта соразмерна их силам. Не было здесь тех несчастных людей[3] с побагровевшими от натуги лицами, задыхающихся, потных, стонущих под непосильной поклажей, которую у народов гуманных перевозят только вьючные животные; богач с помощью нескольких жалких монет не преступал здесь законов человеколюбия. Тем более не видно было среди них женщин, сего слабого и нежного пола, предназначенного природой для сладостных и счастливых обязанностей, а не для того, чтобы таскать тяжести, своим видом печаля взоры прохожих. Они не насиловали своего естества на городских рынках, являя собой молчаливый укор жестокому равнодушию мужчин, спокойно взирающих на их старания. Возвращенные к обязанностям своего пола, они выполняли здесь единственное дело, которое поручил им Создатель, — рожать детей и служить утешением тем, кто призван ограждать их от жизненных тягот.

---

* Однажды Карл VII, король Франции,[1] будучи в Бурже, заказал себе пару сапог; но во время примерки вошел интендант и сказал сапожнику: «Забирайте свой товар, мы не имеем возможности заплатить вам в ближайшее время за эти сапоги. Его величество еще один месяц может проходить в старых». Король похвалил своего интенданта — сей слуга достоин был своего хозяина. Что скажет, читая это, молодой повеса, который велит примерить себе башмаки, потешаясь в душе, что нашелся еще один бедный ремесленник, коего можно обвести вокруг пальца. Он презирает тех, кто обувает его и кому он ничего не платит, и спешит растратить свои деньги во всякого рода притонах, где властвуют разврат и преступление. Отчего его душевная низость не запечатлена на челе его и он даже не краснеет, когда на каждом перекрестке отворачивается от своих кредиторов, дабы не встретиться с ними глазами? Когда бы все те, кому он должен за свое платье и башмаки, подстерегли его в каком-нибудь переулке и отняли у него все то, что им принадлежит, чем бы прикрыл он свою наготу? Я желал бы, чтобы всякого, кто щеголяет по улицам Парижа в одежде, стоимость коей превышает его доходы, обязывали под страхом строгого наказания носить в кармане расписку своего портного об окончательном расчете.

** Тот, в чьих руках находится полиция государства, тот, кто распоряжается его финансами, есть деспот в самом полном смысле этого слова, и если он и не подчиняет себе решительно все, то только потому, что до конца использовать свое всемогущество не всегда в его интересах.



Издание 1787 г.
Фронтиспис к I тому.



Издание 1787 г.
Фронтиспис к II тому.

Глава пятая

КАРЕТЫ

Я заметил, что одни пешеходы держатся правой стороны, другие же, идущие им навстречу, — левой.* Этот простой способ не быть раздавленным был придуман совсем недавно — лишнее доказательство, что для всякого полезного изобретения требуется время. Таким образом удавалось избегать горестных столкновений. Выйти из потока пешеходов было легко и безопасно. А при скоплении людей во время публичных церемоний толпе предоставлялась возможность вволю полюбоваться зрелищами, к которым она имеет естественную склонность и в которых несправедливо было бы ей отказывать. Но каждый спокойно мог затем возвратиться к себе, не рискуя быть раздавленным или покалеченным в толпе. Ни разу не встретилось мне забавное и вместе с тем возмутительное зрелище, когда длинная вереница сцепившихся карет битых три часа стоит на месте, в то время как рассевшийся в одной из них болван в раззолоченной одежде, который забыл уже, как ходят пешком, высовывается в окно и орет, сетуя на то, что приходится так долго стоять.**

Несмотря на значительное стечение народа, люди двигались свободно, спокойно, размеренно. Мне встретилось множество повозок со съестными припасами, с мебелью, но всего одна карета, да и то в ней сидел, как видно, очень больной человек.

— Куда же подевались, — спросил я, — все эти блистательные экипажи, искусно позолоченные, разрисованные, лакированные кареты, наполнявшие в мое время улицы Парижа? Выходит, у вас нет ни откупщиков,[1] ни куртизанок, ни петиметров.[2] А когда-то три эти презренные породы людей издевались над публикой, словно состязаясь друг с другом, кому удастся сильнее напугать честного горожанина, и тот удирал от них со всех ног, боясь кончить свои дни под колесами кареты. Наши вельможи принимали мостовые Парижа за ристалище олимпийских игр и считали особой доблестью, если кому-нибудь случалось загнать лошадей. И уж тогда, бывало, спасайся, кто может!

— У нас подобная езда запрещается, — отвечали мне, — этот варварский обычай, от которого лишь жирели лакеи и лошади, давно уже отменен особым законом.*** Нынешние баловни судьбы уже не страдают преступной изнеженностью, возбуждавшей в ваши дни негодование бед-

* Иностранец, приезжающий во Францию, не в силах постигнуть причины этого безостановочного движения людей, которые с раннего утра и до позднего вечера пребывают вне своих жилищ, часто безо всякого дела, и непонятно зачем все время снуют взад и вперед.

** Нет ничего забавнее, чем вид множества карет, остановившихся на мосту вследствие затора. Господа в нетерпении выглядывают из них, кучера бранятся, привстав на козлах. Это зрелище несколько искупает в глазах пешеходов их горестное положение.

*** Справедливо сравнивали этих богатых дураков, держащих множество слуг, с мокрицами, которые весьма медленно передвигаются, хотя у них и много ножек.

няков. Наши вельможи ходят пешком. Это сохраняет им деньги и предохраняет от подагры.

Правда, вы видите здесь несколько карет; но принадлежат они бывшим должностным лицам или же людям, известным своими заслугами и уже согбенным под бременем лет. Им одним дозволяется медленно катить по этой мостовой, где заботятся о безопасности каждого горожанина; и если бы кому-нибудь из них случилось наехать на человека, он тут же вышел бы из кареты, чтобы уступить ее пострадавшему, и до конца его дней оплачивал бы ему карету. Но подобных несчастий у нас никогда не бывает. Наши именитые горожане — люди всё достойные, они не считают себя унижепными, если лошадь их уступит дорогу пешеходу. Сам государь наш нередко гуляет пешком среди нас; иной раз он удостоивает своим посещением наши дома. Устав от ходьбы, он выбирает для отдыха лавку какого-нибудь ремесленника. Он охотно являет нам пример того естественного равенства, которое должно царить среди людей. Потому-то и видит он в наших глазах одну лишь любовь и благодарность. Всеобщие клики радости, раздающиеся при его появлении, идут от самого сердца и радуют сердце государя. Это второй Генрих IV.[3] Ему свойственно то же величие души, он так же сострадателен и так же благородно прост. Но судьба к нему благосклоннее. Священным его влиянием проникнута вся наша публичная жизнь, все делается с оглядкой на него, никто не осмелится перечить другому, всякому совестно даже в малом нарушить порядок. Говорят: «Вдруг это дойдет до государя!». И одной этой мысли, полагаю, достаточно, чтобы предотвратить всякую гражданскую распрю. Сколь могуществен пример, когда его подает глава государства! Как он запоминается! Каким становится нерушимым законом! Как он неоспорим для всех!

Глава шестая

ВЫШИТЫЕ ШАПКИ

— Я замечаю кое-какие перемены, — сказал я своему спутнику. — Все, я вижу, одеты весьма просто и скромно, ни разу еще не встретились нам люди в расшитом золотом платье, ни на ком не заметил я ни галунов, ни кружевных манжет. А в мое время ребячливая, пагубная страсть к роскоши просто помутила у людей разум — на бездушные свои тела они напяливали раззолоченные одежды. Такой золоченый истукан лишь с виду напоминал человека.

— Вот потому мы и отказались от всех этих ливрей, в которые некогда рядилась спесь. Мы уже не судим о людях по внешнему виду. У нас человеку, прославившемуся своей искусностью в каком-либо деле,

вовсе не надобны богатая одежда и роскошная обстановка, чтобы люди признали его заслуги. Не нуждается он ни в восхвалениях почитателей, ни в поддержке покровителей. За него говорят его дела; каждый горожанин считает своей обязанностью потребовать для него заслуженной награды. И первыми хлопочут за него те, кто подвизается с ним на одном поприще. Каждый из них составляет прошение, в котором подробно перечисляет те услуги, которые сей муж оказал отчизне.

Подобного человека, снискавшего любовь народа, незамедлительно приглашает к себе государь. Он беседует с ним, дабы обогатить свой ум, ибо вовсе не считает, что обладает врожденной мудростью. Он старается использовать драгоценные уроки того, кто сделал главным предметом своих размышлений какую-либо важную отрасль. После такой беседы он жалует ему шапку, на которой вышито имя награждаемого; и отличие это стоит большего, чем все те синие, красные и желтые ленты,[1] что некогда украшали людей, совершенно неведомых родине.* Само собой разумеется, человек с опозоренным именем никогда не посмеет явить его взору публики — его немедленно бы разоблачили. Перед тем же, кто носит такую почетную шапку, всюду открыты двери; в любое время имеет он доступ к государю, и это — незыблемый закон. Таким образом, какой-нибудь принц или герцог, ничем не заслуживший чести носить шапку с вышитым на ней именем, беспрепятственно пользуется своим богатством, однако не носит никаких отличительных знаков. И когда он проходит по улицам, на него смотрят таким же равнодушным взглядом, как и на любого прохожего. Подобный порядок подсказан разумом и в то же время оправдан с точки зрения политики; уязвляет он лишь тех, кто чувствует себя неспособным когда-либо чего-нибудь достигнуть. Человек недостаточно совершенен, чтобы быть добродетельным лишь ради самой добродетели. Однако столь почетное положение, как вы понимаете, принадлежит лишь тому, кто его заслужил, оно отнюдь не передается по наследству и не покупается.[3] Сын такого человека обязан по достижении им двадцати одного года предстать перед особым судилищем, которое и решает, достоин ли он пользоваться прерогативами, дарованными его отцу. Основываясь на прежнем поведении юноши, а иной раз и на надеждах, кои он подает, ему присуждают почетное право считаться сыном человека, которого чтит отчизна. Но ежели сын Ахилла[4] оказывается трусливым Терситом,[5] мы отводим от него глаза, дабы избавить его от необходимости краснеть перед нами, и его предают забвению, тогда как имя его отца приобретает все большую славу. В ваши времена умели карать людей за преступления, но ничем не поощряли их за добродетель. То был весьма несовершенный правопорядок. У нас всякий мужествен-

* У древних тщеславие заключалось в том, чтобы вести свое происхождение от богов.[2] Делалось все возможное, чтобы прослыть племянником Нептуна, внучкой Венеры, кузеном Марса. Другие, более скромные, довольствовались происхождением от реки, нимфы, наяды. Наших современных безумцев отличает более печальное сумасбродство. Свой род они стремятся вести не от тех, кто прославился, а от тех, кто давно уже позабыт.

ный человек, спас ли он жизнь своему согражданину,* предупредил ли какое-либо общественное бедствие, или совершил любой благородный и полезный поступок, получает такую шапку, и вышитое на ней, выставленное всем напоказ почтенное его имя пользуется бóльшим уважением, нежели имя того, кто владеет огромным богатством, будь это даже Мидас[6] или Плутос.**[7]

— Это весьма умно придумано. В мое время тоже жаловали шапками, только те были красными.[8] Чтобы получить их, людям приходилось отправляться по ту сторону моря. Шапки эти ничего не выражали, но их добивались с необычайным упорством. А за какие заслуги их давали, я, право, не знаю.

Глава седьмая

ПЕРЕИМЕНОВАННЫЙ МОСТ

Когда беседа тебя увлекает, не замечаешь и пути. Я перестал ощущать бремя старости, я словно помолодел — столько нового являлось мне на каждом шагу. Но что это? О, небо! Какое зрелище! Передо мной течет Сена. Восхищенным взором оглядываю я ее берега, любуюсь прекраснейшими зданиями. Лувр, наконец, построен![1] Широкое пространство, лежавшее между Тюильри и Лувром, превращено в огромную площадь, предназначенную для публичных празднеств. Выстроена новая галерея — симметрично прежней, сохранившейся в том самом восхитительном виде, в каком ее создал Перро. Эти два величественных строения, соединенных между собою, образуют дворец, краше которого еще не было на свете. В этом дворце живут все выдающиеся художники. Это они составляют свиту государя, наиболее достойную его величия. Искусства и ремесла — таков единственный предмет его гордости; ибо они — слава королевства и радость его. Глазам моим предстала великолепная городская площадь, способная вместить всех жителей города. В глубине ее возвышался храм. То был Храм правосудия. Архитектура сего здания соответствовала высокому его назначению.

---

* Достойно удивления, что человек, который спас жизнь своему согражданину, не получает у нас за это никакой награды. Существует полицейский указ, согласно которому лодочник, вытащивший из реки утопленника, получает за это десять экю. Но лодочнику, спасшему утопающего, не положено за это ничего.

** Когда все сердца движимы корыстью, у людей исчезает стремление к добродетели, и правительство вынуждено вознаграждать огромными суммами тех, кого прежде поощряло лишь небольшими знаками отличия. Это урок всем государям — надобно создать монету, которая служила бы таким знаком отличия; но иметь хождение она сможет лишь тогда, когда души способны будут живо откликаться на сей благородный возбудитель.

— Да никак это Новый мост?[2] — воскликнул я, — Как замечательно он украшен!

— Что называете вы Новым мостом? Мы назвали этот мост иначе. Много перебрали мы разных названий в поисках наиболее значительного и достойного, ибо ничто так благотворно не влияет на дух народа, как такого рода наименования, исполненные смысла и подобающие предмету. Итак, запомните, это мост Генриха IV, мост, соединяющий обе части города; потому-то и носит он столь славное имя. Его украшают статуи тех выдающихся мужей, которые, подобно сему государю, любили человечество и стремились лишь к благу своей отчизны. Мы, не колеблясь, поместили рядом с ним канцлера Лопиталя, Сюлли, Жаннена, Кольбера.[3] Никакая книга, проповедующая добродетель, никакое нравоучение не может быть убедительнее и красноречивее, чем этот длинный ряд ныне безмолвствующих героев, чье внушающее почтение чело лучше всяких слов напоминает о том, сколь полезно и почетно снискать себе уважение общества! Ваш век не мог похвалиться ничем подобным.

— О, в моем веке всякое начинание наталкивалось на величайшие трудности. Предпринимались сложнейшие подготовительные работы, которые так ни к чему и не приводили. Ничтожная песчинка мешала осуществлению самых гордых замыслов. Прекраснейшие начинания оставались в теории: язык или перо казались единственным и главным орудием. Каждой эпохе — свое. Наша была временем бесчисленных проектов; ваша стала временем их воплощения. Я рад за вас. Как я счастлив, что прожил так долго.

Глава восьмая

НОВЫЙ ПАРИЖ

Обратившись в сторону моста, который в мои времена назывался Мостом менял,[1] я заметил, что на нем нет уже тех скверных домишек, что некогда загромождали его.* Я с удовольствием охватывал взором широкое течение Сены — картина поистине неповторимая и вечно новая.

— Какая разительная перемена!

— Вы правы; жаль только, что она напоминает нам об одном мрачном событии, явившемся следствием вашей крайней нерадивости.

---

* Множество людей, сосредоточенных на одном небольшом пространстве, скучившихся в узеньких улочках, в домишках, нагроможденных один на другой в семь рядов, кои без конца подкапывают, изнуряя и без того истощенную землю, в то время как пустуют приуготовленные им природой обширные живописные равнины, — зрелище удивительное в глазах философа. Богачи селятся здесь, дабы усилить свое могущество. Мелкий люд плутует, льстит, продается. Тех, которые попадаются на этом, вешают. Иные преуспевают. Неудивительно, что в этой нескончаемой жестокой битве интересов забываются обязанности человека и гражданина.

— Нашей? Каким это образом, скажите на милость?

— История говорит, что вы без конца толковали о том, как бы снести эти скверные домишки, но так их и не снесли. И вот однажды ваши градоначальники затеяли пышное пиршество, которому предшествовал небольшой фейерверк (все это произошло в день некоего святого, которому французы, разумеется, весьма обязаны). И вот выстрелов из пушки и треска петард оказалось достаточно, чтобы опрокинулись ветхие хижины, стоявшие на ветхом мосту, — они зашатались и рухнули, погребая под собой своих обитателей; вслед за ними рухнул и мост. Погибли тысячи людей, и городские власти, получавшие с этих домишек доход, предали проклятью и фейерверки, и пиры.

После этого никто уже не поднимал такого шума по столь ничтожным поводам. Деньги перестали пускать в воздух в виде фейерверков или расстраивать с их помощью желудки, их стали откладывать на содержание и восстановление мостов. Тут только начали каяться, что не делали этого раньше, но так уже принято было в ваши времена — самые чудовищные ошибки признавались ошибками лишь после того, как они бывали уже совершены.

Давайте-ка повернем в эту сторону; вы увидите, что мы снесли здесь несколько зданий, и, полагаю, это пошло только на пользу. Два крыла Коллежа четырех наций,[2] увековечившие тщеславие кардинала, уже не уродуют прекраснейшую из набережных. Городская ратуша[3] расположена теперь напротив Лувра; а когда мы устраиваем публичные увеселения, то предназначаем их для народа. Места на площади хватает — никому не грозит здесь опасность пострадать от фейерверка или стать жертвой бесчинства солдат, как это случалось в ваше время, когда они (нам трудно этому поверить) подчас причиняли публике различные увечья и притом безнаказанно.*

Обратите внимание на конные статуи, что возвышаются посреди каждого моста. Они изображают королей, царствовавших после вашего Людовика XV. Эта вереница изваяний, стоящих таким образом безо всяких затей в самом центре города, являет собой вид замечательный. Возвышаясь над рекой, омывающей и напояющей город, они кажутся его ангелами-хранителями. Расположенные таким образом, они, как и статуя доброго короля Генриха IV, стоят здесь естественно, свободно и как бы ближе к народу, чем если бы стояли на площадях,[4] где их с такого расстояния было бы не видно.** И это не потребовало больших расходов. Наши короли не взымают после своей смерти сей последней дани, которой в ваше время их предшественники отягощали своих вконец обобранных подданных.

---

* Я сам тому был свидетелем и публично обвиняю в этом городские власти, для которых безопасность граждан должна быть важнее, нежели устройство двадцати публичных гуляний.

** Статуи наших королей чаще всего окружены домами откупщиков. Даже после смерти окружают их мошенники!

С чувством большого удовлетворения заметил я, что с памятников наших королей исчезли фигуры закованных в цепи рабов,* [5] прежде лежавших у их подножья, и что более нет на них раболепных надписей; [7] хоть такой вид раболепства и наименее опасен, даже эти следы лжи и низкопоклонства постарались здесь тщательно уничтожить.

Мне сказали, что Бастилия [8] была полностью разрушена по повелению некоего государя, который, не почитая себя богом над людьми, страшился божьего суда над королями; что на месте сего ужасного здания, столь справедливо прозванного дворцом мщения и злопамятства королей, воздвигнут Храм милосердия; что ни один гражданин не исчезает из общества, прежде чем над ним не учиняется публичный суд; что народ уже и не помнит, что такое «секретное предписание об аресте», [9] и это выражение известно лишь тем неутомимым ученым, что стараются проникнуть в глубь темных и жестоких времен; что кто-то даже написал книгу под заглавием «Сравнение секретных предписаний и азиатских удавок». [10]

Незаметно мы прошли через Тюильри. [11] Этот королевский сад открыт для всех и потому показался мне еще прекраснее.** Никто не потребовал с меня платы за то, что я посидел там на скамейке. Мы вышли на площадь Людовика XV, [12] и мой провожатый, взяв меня под руку, с улыбкой сказал: «Должно быть, вы были свидетелем открытия этого конного памятника». [13]

— Да, я был тогда молод и так же любопытен, как и теперь.

— А знаете, ведь это настоящий шедевр, достойный нашего века, мы и теперь еще ежедневно любуемся им, и когда смотрим на дворец в перспективе, статуя эта представляется нам, особенно при заходящем солнце, словно в сиянии. Великолепные эти аллеи, удачно сходясь в одной точке, образуют нечто вроде кружала; тот, кто создал этот план, не был лишен вкуса; заслуга его в том, что он сумел предвидеть впечатление, которое предстояло произвести этой перспективе. Однако я где-то читал, будто находились в ваше время люди, столь же завистливые, сколь и невежественные, которые всячески хулили этот памятник вместо того, чтобы им восхищаться.*** Если б в наши дни нашелся человек, способный высказывать подобные глупости, все повернулись бы к нему спиной при первом же его слове.

Удивительная прогулка продолжалась и дальше; но слишком долго было бы описывать ее подробно. К тому же, вспоминая сон, всегда забываешь подробности. Помню, что на каждом углу мне встречался красивый фонтан, бивший свежей, прозрачной водой, которая широкой серебряной

* Людовик XIV как-то сказал, что из всех образов правления более всего ему по душе турецкий. [6] Нельзя было проявить большее высокомерие и в то же время большее невежество.

** Запрещение простому люду входить в этот сад кажется мне незаслуженным оскорблением, которое лишь усугубляется тем, что народ не видит в этом ничего для себя оскорбительного.

*** Только во Франции не в чести умение промолчать. Француза не так узнаешь по лицу и произношению, как по той легкости, с которой он высказывается и судит решительно обо всем. Он никогда не способен сказать: «В этом я ничего не смыслю».

струей стекала в раковину, служившую как бы чашей; один вид этой словно хрустальной влаги невольно возбуждал жажду; любой прохожий мог испить ее. Вода эта, стекая в никогда не иссякавший прозрачный ручей, обильно омывала мостовую.

— Все это сделано согласно проекту вашего г-на Депарсье,[14] члена Академии наук, мы лишь усовершенствовали сей проект. Как видите, все дома здесь обеспечены самым важным, самым необходимым для жизни — водой! Смотрите, какая чистота! Какой свежестью пропитан воздух! Взгляните на эти удобные, красивые здания. На них не видно тех злосчастных труб, что являли собой угрозу для проходящих. Крыши не имеют более старомодного ската, так что ветер уже не сбрасывает с них черепиц на головы прохожим.

Мы поднялись по светлой лестнице на верхний этаж одного из домов. Каким удовольствием было для меня, охотника до красивых видов и чистого воздуха, увидеть террасу, всю украшенную цветами в горшках и овитую благоухающими вьющимися растениями. Подобные же террасы были на крышах всех домов, так что крыши эти, находившиеся на одинаковом уровне, вместе составляли как бы один сплошной огромный сад; и если бы посмотреть на город с высоты какой-нибудь башни, он показался бы увенчанным цветами, плодами и зеленью.

Само собой разумеется, Городская больница[15] уже не расположена в центре города.

Если какому-нибудь чужеземцу или жителю другого города случится заболеть вдалеке от своей родины или семьи, мы уже не укладываем его в омерзительную постель, рядом с умирающим с одной стороны и мертвецом с другой, где он дышит смрадным дыханием смерти и где легкое недомогание превращается в жестокую болезнь. Мы разделили эту городскую больницу, разместив ее в двадцати отдельных домах, расположенных на самой окраине города в разных его концах. Таким образом, дурной воздух, исходивший прежде из сей пучины ужаса,* уже не представляет опасности для столицы. Да и больных уже приводит сюда не крайняя нищета. Приходя сюда, они не готовятся заранее к смерти. В больницу они обращаются не затем, чтобы обеспечить себе бесплатное погребение, а потому, что здесь им скорее и лучше, чем дома, помогут исцелиться. Нет уже здесь того ужасающего скопления больных, того возмущающего душу беспорядка, который превращал больницу скорее в обиталище возмездия, нежели в приют милосердия. Каждому больному

* Шесть тысяч несчастных больных свалены в палатах Городской больницы, где нет и намека на движение воздуха. Все нечистоты отсюда сливаются в рукав соседней реки, и эту-то воду, насыщенную всевозможными отбросами, пьет половина жителей города. В той части реки, что у набережной Пелетье, а также в части, расположенной между двумя мостами, множество красильщиков спускают трижды в неделю свои краски. Я видел однажды, как вода в реке оставалась черной в течение более шести часов. Свод у набережной Жевр — это настоящий очаг заразы. Вся эта часть города пьет вонючую воду и дышит ядовитым воздухом. Тех денег, что тратятся на фейерверки, достало бы, чтобы навсегда покончить с этим бедствием.

предоставляется отдельная постель, и он имеет возможность спокойно испустить дух, не посылая проклятий человечеству. Мы проверили счета прежней больницы. О позор! Открыты были преступления, кои кажутся невозможными в подлунном мире! Какие-то жестокосердные люди жирели за счет бедняков; свое благополучие они строили на страданиях своих ближних. Они заключили выгодную сделку со смертью... Я умолкаю. Времена беззакопий миновали, на больницы, сии убежища несчастных, всякий смотрит ныне почтительно, как на храм, более всех других угодный богу. Подобного рода чудовищные злоупотребления у нас наказуются, и бедным больным приходится теперь выносить лишь те обиды, что наносит природа: когда источником страдания является лишь она, нам некого уже винить.* Наши врачи милосердны и знают свое дело; они не произносят заранее смертных приговоров, наугад предписывая всем одни и те же снадобья; они дают себе труд осматривать каждого больного отдельно, и под пристальным и разумным их наблюдением здоровье постепенно возвращается к нему. Врачи эти принадлежат к числу наиболее уважаемых наших граждан. И может ли быть труд более прекрасный, более священный, более достойный чувствительного и добродетельного человека, чем труд того, кто укрепляет слабеющую нить столь хрупкой, столь быстролетной человеческой жизни, благодаря искусству врачевателя вновь обретающей прочность и длительность.

— А где же находится у вас Приют для бедных? [16]

— Приюта для бедных более не существует, так же как нет и Бисетра,** смирительного дома, где содержатся умалишенные, а лучше

---

* Однажды я медленно проходил по палатам Городской больницы в Париже. Есть ли место более подходящее для размышлений о человеке! Я видел бесчеловечную скаредность, прикрывающуюся именем общественной благотворительности. Я видел умирающих, лежавших в еще большей тесноте, чем им предстояло лежать в гробу; их предсмертные хрипы смешивались с дыханием злосчастных их сотоварищей, и это ускоряло их гибель. Я видел страдания и слезы, но они никого не трогали; смерть направо и налево опускала свою косу, ни у кого не исторгая даже слезинки жалости. Мне казалось, что я нахожусь на бойне, где забивают скот. Я видел людей, до такой степени очерствевших, столь привыкших к зрелищу страданий, что их удивляло мое сочувствие этим несчастным. Через два дня мне привелось быть в зале Оперы. Сколько денег потрачено на такой спектакль! Декорации, актеры, музыканты — все было пущено в ход, чтобы придать зрелищу побольше великолепия. Но что скажет потомство, узнав, что в одном и том же городе существовало два столь непохожих друг на друга места. Увы! Как могли одновременно эти два здания стоять на одной и той же земле! Разве одно не должно было исключить самое существование другого. С этого дня всякий раз, как я бываю в сей Королевской Академии музыки, меня невольно охватывает печаль. При первом же звуке скрипки перед взором моим возникают смертные ложа тех несчастных больных.

** Есть в Бисетре палата, называемая смирительной. Это образ самого ада. Шестьсот несчастных, тесно прижатых друг к другу, удрученных своей бедностью своей горестной судьбой, терзаемых укусами насекомых, а еще более жестоким отчаянием, живут в состоянии постоянно подавляемого бешенства. Это пытка Мезенция,[17] еще в тысячу раз умноженная. Должностные лица глухи к жалобам сих несчастных. Были случаи, когда они убивали стражников, врачей, священников, пришедших их исповедовать, преследуя одну лишь цель — выйти из этого жилища ужаса и найти успокоение на эшафоте. Правы те, кто утверждает, что предавать их

было бы сказать — сводимые с ума. Здоровое тело не нуждается в оттягивающих нарывах. Роскошь, подобно кислоте, разъедала самые здоровые члены тела нашего государства,[18] и оно сплошь покрыто было язвами. А вы вместо того, чтобы осторожно врачевать эти раны, еще растравляли их. Жестокостью вы мнили задушить преступность. Вы были бесчеловечны, ибо не умели создать хорошие законы.* Вам проще было терзать виновного и обездоленного, нежели предупреждать преступление и нищету. Ваша безмерная жестокость лишь ожесточала сердца преступников; вы дали отчаянию проникнуть в их души. И к чему все это привело? К слезам, крикам бешенства, проклятиям... Вы словно задались целью уподобить ваши смирительные дома той жуткой обители, которую вы нарекли адом и где безжалостные палачи умножали муки беззащитных, жалобно стенающих грешников, дабы злобно упиваться их стонами. Я долго мог бы говорить еще о сем предмете, но довольно. Скажу лишь одно — вы даже не сумели заставить нищих работать;[19] ваше правительство только и знало, что сажать их под замок, заставляя умирать с голода. И, однако, до нас дошли стенания тех несчастных, что умирали медленной смертью в одном из уголков вашего королевства; мы услыхали глухие их стоны; они проникли чрез толщу семи столетий, и одного этого примера столь гнусной жестокости достаточно, чтобы догадаться о тысяче других.

Я опустил глаза, мне стало стыдно: ведь я сам был свидетелем этих постыдных явлений, но мог лишь сокрушаться о них, ибо ничего другого не мог сделать.** Некоторое время я молчал, затем снова заговорил:

— Ах, не растравляйте ран моего сердца. Господь отплатил за злодеяния, причиненные тем несчастным; он покарал жестокосердных мучителей; вы знаете, что... Впрочем, поговорим о другом. Мне кажется, вы сохранили один из недостатков, которые свойственны были и нам: Париж, сдается мне, столь же густо населен, как и в мое время; доказано было тогда, что голова в три раза больше туловища.

смерти было бы менее жестоко, нежели обрекать на те муки, кои они там претерпевают. О жестокосердные правители, люди с каменным сердцем, недостойные имени человека, вы — больший позор для человечества, чем даже они! Никакие разбойники не могут сравниться с вами в жестокости. Так будьте же последовательны в своей жестокости, вершите свой суд не столь медлительно: велите сжечь живьем несчастное сие стадо, это освободит вас от необходимости зорко наблюдать за этими внушающими страх рабами. Вы появляетесь среди них лишь для того, чтобы еще усилить их рабство. Не проще ли было бы привязать каждому к ноге стофунтовое ядро и заставить их работать в поле. Но нет: существуют жертвы произвола, которых надобно подальше укрыть от посторонних взглядов. Все понятно.

* Да, да, правители города, ваше невежество, ваша леность, ваше легкомыслие — вот что доводит бедняка до отчаяния. Вы сажаете его в тюрьму за какой-то пустяк, вы помещаете его рядом с каким-нибудь злодеем, вы озлобляете, вы развращаете его душу, вы оставляете его в толпе других несчастных и забываете о нем; но он — он продолжает помнить о вашей несправедливости. И так как вы не соразмерили его преступление с наказанием, он станет подражать вам, и ему станет все равно.

** Я облегчил бы свое сердце и удовлетворил бы чувство справедливости, когда бы мог облечить сие насилие над человечеством, насилие, в которое трудно поверить; но, увы, оно все еще существует.

— Я рад сообщить вам, — отвечал мой собеседник, — что количество жителей королевства [20] с тех пор увеличилось вдвое, что все земли у нас засеваются и, следовательно, голова ныне находится в правильном соотношении с членами. Но по-прежнему прекрасный этот город дает Франции столько же великих мужей, искусных, полезных и даровитейших людей, сколько все остальные города вместе взятые.

— Позвольте, однако, спросить еще об одной, довольно немаловажной вещи. Где помещается у вас пороховой склад? По-прежнему чуть ли не в самом центре города? [21]

— Мы не настолько неосторожны; довольно существует на свете вулканов, зажигаемых рукой природы, зачем же нам создавать еще искусственные, кои в стократ их опаснее? *

Глава девятая

ПРОШЕНИЯ

Я заметил нескольких чиновников, носивших на груди особые отличительные знаки; они собирали у горожан жалобы, чтобы доложить о них градоначальникам. Все дела, входившие в ведение полиции, разбирались чрезвычайно быстро: к слабым относились справедливо,** и все благословляли правителей. Я стал превозносить столь мудрый и полезный порядок.

— Но, господа, честь открытия этой системы принадлежит не вам одним. Еще в мое время в городе начинало налаживаться хорошее управление. Внимание бдительной полиции уже распространялось на все слои общества и касалось всех вопросов. Особенно способствовал порядку один чиновник,[1] чье имя заслуживает того, чтобы и вы помянули его добрым словом; среди выпущенных им указов был превосходный указ о запрещении вешать всякие нелепые тяжелые вывески, которые только портили вид города и угрожали жизни прохожих; он усовершенствовал, а вернее сказать, создал в городе ламповое освещение; он ввел в действие превос-

* Почти в каждом городе, в самом центре его, расположены пороховые склады. Молния и тысячи других неожиданных причин, нам неизвестных, грозят что ни день вызвать там пожары. Тысячи ужасающих примеров (вещь поистине невероятная!) до сих пор не сумели образумить человечество. Быть может, те две тысячи пятьсот человек, что недавно оказались погребенными под развалинами в Брешии, заставят, наконец, правительство обратить внимание на бедствие, которое оно создает собственными руками и которого ему так просто было бы избежать.

** Когда министр совершает растрату или подвергает опасности монархию, когда генерал понапрасну проливает кровь королевских подданных и постыдно проигрывает битву, для них существует раз и навсегда установленная кара: им запрещают являться пред очи монарха; таким образом, преступления, губящие целый народ, наказуются так, словно это самый пустяшный проступок.

ходный план быстрого действия пожарных насосов и с его помощью спас немало горожан от пожаров, столь часто тогда возникавших.

— Да, — ответил мой собеседник, — этот чиновник был человеком неутомимым и искусным в отправлении своих обязанностей, как ни обширны они были; но полиция была тогда еще весьма несовершенна. Шпионаж был главным прибежищем этого слабого, мелочного, не уверенного в себе правления. Обычно шпионы более руководствовались злобным любопытством, нежели мыслью о всеобщей пользе. Эти хитростью вырванные у людей секреты нередко представлялись ими в ложном свете и только вводили полицию в заблуждение. К тому же сия армия доносчиков, которых соблазняли деньгами, являлась источником заразы, отравлявшей все общество.* Прощайте, о сладостные излияния сердца! Не стало дружеских бесед: ради осторожности приходилось быть неискренним. Напрасно устремлялась душа к мыслям о благе отечества — ей невозможно было отдаться сему порыву: предвидя западню, она печально замыкалась в себе, одинокая, ничем не согретая. Люди вынуждены были беспрестанно лгать — лицом, жестами, голосом. Ах, как мучительно было для человека возвышенных мыслей видеть, как изверги с улыбкой душат его отчизну, видеть это — и не сметь назвать их имена.**

Глава десятая

ЧЕЛОВЕК В МАСКЕ

— Но что это там, скажите на милость, за человек в маске? Как он спешит! Он словно спасается от кого-то.

— Это автор, написавший дурную книгу. Я имею в виду не недостатки стиля или остроумия: можно написать превосходную книгу, обладая лишь здравым смыслом.*** Это только значит, что в книге содер-

---

* Все эти ворохи нелепых, ничтожных предписаний, вся эта столь тщательно разработанная полицейская система внушает почтение лишь тому, кто никогда не размышлял о природе человеческого сердца. Эта бесполезная строгость рождает отвратительную зависимость одних от других, и узы эти весьма непрочны.

** У нас не было еще своего Ювенала. А есть ли век, более его заслуживающий? Ювенал не был себялюбивым сатириком, подобно льстецу Горацию или этому плоскому Буало.[1] То была душа мужественная, глубоко ненавидевшая порок, объявившая ему войну, преследуя его и под порфирой. Кто у нас осмелится взять на себя сей высокий долг, посвятить себя сему великодушному служению людям? У кого достанет мужества не разлучаться до конца своих дней с правдой и, уходя, сказать своему веку: оставляю тебе завещание, внушенное добродетелью; читай и красней от стыда.

*** Это неоспоримая истина, и иная проповедь деревенского кюре приносит гораздо большую пользу, чем умнейшая книга, начиненная всевозможными сентенциями и софизмами.

жатся опасные принципы, противоречащие здоровой нравственности, той всеобщей нравственности, которая открыта всем сердцам. В наказание за это он и носит маску, дабы сокрыть свой стыд, и сию маску будет носить до тех пор, пока не искупит своей вины, написав нечто более разумное и достойное. Каждый день его навещают два добродетельных гражданина; действуя мягкостью и убеждением, они оспаривают его ошибочные взгляды, выслушивают его возражения, отвечают на них, а как только им удается его разубедить, предлагают отречься от своих мыслей. Тогда он вновь обретет свое доброе имя, а раскаянием своим заслужит еще большую славу: ибо что может быть прекраснее, чем отречься от заблуждений * и в благородном порыве уверовать в истину?

— Но ведь прежде чем эта книга была напечатана, ее кто-то одобрил?

— Помилуйте, кто же смеет судить о книге прежде, чем это сделает публика? Кто может предугадать, какое влияние окажет та или иная мысль в тех или иных обстоятельствах? Каждый писатель самолично отвечает за то, что он пишет, и никогда не скрывает своего имени. Публика — вот кто выставляет его на позор, если он оскорбил те святые принципы, на коих зиждется поведение и честность людей; но в то же время именно она поддержит его, если он выскажет какую-нибудь новую истину, способную пресечь те или иные недостатки; словом, публика — единственный судья в такого рода случаях, и только к ее голосу и прислушиваются. Автор есть лицо общественное, и судьба его зависит от общественного мнения, а не от капризов какого-либо одного человека, который редко обладает достаточно верными и широкими взглядами, чтобы обнаружить, что именно в глазах всего народа будет достойно похвалы или осуждения. Не раз уже доказано было, что подлинной мерой гражданской свободы является свобода печати.** Нельзя нарушить одну, не уничтожив другую. Мысль должна быть высказана, наложить на нее узду — значит задушить ее в собственном святилище, а это преступление против человечества. Если моя мысль мне не принадлежит, что же тогда принадлежит мне?

— Но в мое время влиятельные особы ничего так не боялись, как пера хороших писателей. Их тщеславные, их преступные души содрогались от страха, когда справедливость осмеливалась выставлять напоказ поступки, которые они не стыдились совершать.*** Вместо того чтобы поддерживать сию общественную цензуру, которая, будучи хорошо управляема, могла бы стать самой надежной уздой для порока и преступле-

---

* Все доказуемо в теории, само заблуждение имеет свою геометрию.

** Это ясно, как геометрическая истина.

*** В драме, которая называется «Бракосочетание королевского сына», министр юстиции, придворный злодей, говорит[2] своему лакею по поводу писателей-философов: «Друг мой, это прескверные люди. Стоит допустить малейшую несправедливость, как они тотчас же ее замечают. Напрасно искусная маска скрывает наше подлинное лицо от самых проницательных глаз. Эти люди, проходя мимо нас, словно говорят: „Я вижу тебя насквозь“. Господа философы, надеюсь, мне удастся дать вам понять, что видеть насквозь такого человека, как я, весьма опасно. Не желаю я, чтобы меня видели насквозь».

ния, всякое сочинение пропускалось у нас как бы через сито,[3] у которого была столь мелкая сетка, что лучшие мысли в ней нередко застревали; вдохновенные порывы гения подвластны были жестоким ножницам, с помощью которых посредственность безжалостно укорачивала ему крылья.*

Все кругом засмеялись.

— Какое забавное зрелище, должно быть, представляли собой все эти люди, что с важным видом рассекали надвое мысли и взвешивали каждое слово, — сказал кто-то. — Еще удивительно, что вопреки всем этим препонам вы все же сумели создать что-то стоющее. Можно ли изящно танцевать, когда тебя обвивают тяжелые цепи?

— О, наши лучшие писатели, разумеется, старались сбросить их с себя. Страх расслабляет душу, тому же, кем движет любовь к человечеству, надобно быть гордым и смелым.

— У нас вы можете писать обо всем, что вам здесь не понравится, — продолжал он, — ибо нет у нас больше ни сита, ни ножниц, ни цепей; а чепухи у нас пишут мало, потому что скверные книги сами собой попадают туда, где им и место, — в выгребную яму. Правители наши выше всяких похвал, их не страшит просвещенное перо, опасаться его значило бы признать за собой какую-то вину. Между тем все их действия прямодушны и искренни. Мы ими не нахвалимся, и когда этого требуют интересы родины, каждый становится у нас в своем роде писателем, отнюдь не претендуя на это звание.

Глава одиннадцатая

НОВЫЕ ЗАВЕТЫ

— Как? Каждый у вас — писатель? О небо, что вы такое говорите? Да от этого способны накалиться и вспыхнуть, словно порох, стены города! Ведь этак все вы рискуете взлететь на воздух! Подумать только, целый народ — писатель!

— Да, но у писателей этих нет ни желчи, ни тщеславия, ни самомнения. Каждый человек на протяжении своей жизни в удобные для себя минуты записывает свои мысли, а достигнув определенного возраста, отбирает наиболее ценные из них. Незадолго до смерти он составляет из них книгу — кто потоньше, кто потолще, в зависимости от своего отношения к жизни и умения эти мысли выражать. Книга эта являет собой душу покойного. В день его погребения ее читают вслух, и это чтение служит надгробным словом. Потомки почтительно собирают воедино все мысли своих предков и размышляют над ними. Такие книги заменяют надгробные памятники. Мне думается, они большего стоят, чем ваши пышные

* Половину так называемых королевских цензоров составляют люди, которых нельзя назвать литераторами, даже плохими. О них можно сказать, что они просто умеют читать.

мавзолеи, испещренные пошлыми надписями, что продиктованы были тщеславием.

Мы считаем своим долгом предоставлять таким образом нашим потомкам живое описание наших жизней. Добрая память — единственное достояние, которое останется от нас на земле.* Потому-то и печемся мы о ней. Мы оставляем потомкам непреходящие примеры добродетели; за это они только больше будут уважать нас. Портреты и статуи сохраняют лишь телесный облик человека. Отчего не запечатлеть и душу его, и те благородные чувства, кои обуревали ее? Рассказывая о них в выражениях, подсказанных любовью, мы умножаем эти чувства. История наших мыслей, наших поступков служит назиданием для юного поколения. Отбирая лучшие из них и сравнивая их между собой, оно учится совершенствовать свои чувства и воззрения. Заметьте, однако, что самыми влиятельными писателями, что гениями своей эпохи всегда являются у нас те светочи мысли, которые приносят и пускают в оборот множество новых идей. Именно такой писатель дает первый толчок; и поскольку великодушное его сердце горит любовью к человечеству, все сердца отзываются на сей благородный, торжественный глас, обличающий деспотизм и суеверие.

— Господа, сделайте милость, позвольте мне все же выступить в защиту моего века, ведь что-то в нем было достойно и похвалы. Были же, кажется, и у нас люди добродетельные, люди, одаренные гением...

— Быть-то они были, но вы, жестокосердные, либо не признавали их, либо преследовали. Нам пришлось, дабы искупить вашу вину перед ними, воздать должное хотя бы оскорбленным их теням. Мы поставили их статуи посреди городской площади, чтобы и мы сами, и люди, приезжающие издалека, могли выражать им свою признательность. Каждая из фигур правой ногой попирает недостойное чело своего зоила [2] или тирана: например, котурн Корнеля стоит на голове Ришелье.** [3] Да понимаете ли вы, какие поразительные люди жили среди вас? Нас поражает та ненависть, которую питали к ним безрассудные и неутомимые их гонители, словно стремившиеся соразмерить собственную низость с той высотой, на которой парили эти орлы; но позорные их имена ныне обречены на вечное бесславие.

С этими словами он привел меня на какую-то площадь, где стояли памятники великим людям. Среди них я увидел Корнеля, Мольера, Лафонтена, Монтескье, Руссо,*** Бюффона, Мирабо и других.[5]

---

* Цицерон [1] часто вопрошал себя, что станут говорить о нем после его смерти. Человек, не придающий значения своей репутации, не станет заботиться о том, чтобы приобрести добрую славу.

** Мне очень хотелось бы, чтобы автор назвал тех, чьи головы будут попираться Руссо и Вольтером и всеми теми, кто связан с этими великими именами. Среди них, без сомнения, окажутся головы и в митрах, и без оных; [4] этим людям не поздоровится; но каждому свой черед.

*** Здесь идет речь об авторе «Эмиля», а не о том напыщенном пиите,[7] который только и умел, что расставлять слова и временами придавать им величавую торжественность, скрывая под ними пустоту своей души и холодность таланта.

— Так значит, все эти знаменитые писатели вам хорошо известны?

— Их имена знают у нас с детства; едва только дети начинают учиться, как мы вкладываем им в руки вашу знаменитую «Энциклопедию», заботливо нами исправленную.

— Да не может быть! Как? «Энциклопедия»[6] стала первым школьным учебником? О, какой же высоты, должно быть, достигли у вас знания! Как не терпится мне скорей приобщиться к ним. Просветите же меня, откройте мне свои кладези мудрости, дабы я немедленно мог насладиться всем тем богатством, что накоплено было за эти шесть славных столетий!

Глава двенадцатая

КОЛЛЕЖ ЧЕТЫРЕХ НАЦИЙ

— По-прежнему ли обучают несчастных детей греческому и латинскому, от которых в мои времена они умирали со скуки? Все так же ли заставляют их тратить десять самых прекрасных и цветущих лет своей жизни на поверхностное изучение двух мертвых языков, на которых им никогда не придется говорить?

— Мы лучше умеем использовать время. Греческий язык, разумеется, язык весьма почтенный, поскольку он древний; однако Гомер, Платон, Софокл существуют у нас в превосходных переводах,* хотя какие-то знаменитые педанты и уверяли, будто никому никогда не дано будет передать их красоты. Что до языка латинского, который, будучи языком более новым, не так прекрасен, как греческий, то он попросту умер естественной смертью.

— Не может быть!

— Французский язык повсюду взял верх.[4] Сначала сделаны были переводы столь совершенные, что не стало надобности обращаться к оригиналам; затем написаны были сочинения, достоинства которых затмили собою работы древних авторов.[5] Новые эти труды несравненно более нам полезны и интересны, более соответствуют нашим нравам, государственному устройству, уровню наших научных знаний и политических представлений, наконец нравственным нашим целям, о которых никогда не следует забывать. Древними языками, о которых мы только что говорили, владеют у нас лишь несколько ученых. Тита Ливия[6] читают с таким же трудом, как и Коран.

* Почему бы членам Королевской Академии надписей,[1] занимающимся рассуждениями о голове Анубиса, об Осирисе[2] и тысячей никому не нужных компиляций, не употребить свое время на переводы творений древних греков, раз они похваляются, что понимают их. У нас почти не знают Демосфена.[3] Это было бы полезнее, чем выяснять, какие булавки украшали головы римских женщин, какие ожерелья они носили и были ли застежки их платьев круглыми или овальными.

— Однако, судя по надписи на фронтоне, коллеж этот по-прежнему именуется Коллежем четырех наций.

— Да, мы сохранили это здание и даже его имя, но лишь для того, чтобы лучше его использовать. В этом коллеже четыре отделения, и преподаются там итальянский, английский, немецкий и испанский.[7] Черпая из сокровищниц сих живых языков, мы уже не нуждаемся в древних. Родина последнего — Испания, таившая в себе зародыш величия, который ничто не в силах было истребить, внезапно пробудилась под мощными толчками, которых невозможно было ни предвидеть, ни предсказать. Переворот был стремительным и плодотворным, ибо просвещение началось здесь сверху, в то время как в других государствах правители почти всегда коснели в невежестве. Глупость и педантство навеки изгнаны из этого коллежа, и дабы лучше научить произношению изучаемых языков, их преподают иностранцы. Здесь читают лучших писателей. Есть в этом и еще одно преимущество: по мере того как растет обмен мыслями, незаметно угасает и вражда между нациями. Народы поняли, что несхожесть в нравах и обычаях отнюдь не уничтожает тот всеобщий разум, который в равной мере проявляется повсюду, и что все думают почти одинаково о том, что было некогда предметом столь оживленных и долгих споров.

— Но что же делает Сорбонна, эта старшая дочь королей? [8]

— О, эта принцесса ныне всеми покинута. Сия старая дева, наслушавшись предсмертных вздохов непереносимо скучного и выродившегося языка, пыталась уверить нас, будто он нов, свеж и пленителен. Она пропускала периоды, калечила полустишия и притязала на то, будто тошнотворное, варварское наречие ее возрождает язык века Августа.[9] Наконец стало ясно, что она на то только и способна, что пищать пронзительным, фальшивым голоском да наводить сон на двор, на город, а главное — на своих учеников. Тогда указом Французской Академии [10] ей велено было предстать перед судом последней, дабы держать ответ, что полезного свершила она за те четыре столетия, что ее холили, возносили и содержали. Она попыталась было выступить в свою защиту на том смехотворном наречии, в котором древние римляне, конечно, не поняли бы ни звука. Что до французского языка, то на нем она не способна была произнести ни единого слова и не осмелилась говорить на нем со своими судьями.

Академия сжалилась над ее затруднительным положением и милостиво повелела ей молчать. Засим к ней проявили снисходительность и научили изъясняться на языке, которым говорила вся нация; с тех пор, потеряв свой античный убор, свою спесь и свою ферулу, Сорбонна занимается лишь тем, что старательно обучает своих учеников тому прекрасному языку, который что ни день совершенствует Французская Академия. Ставшая менее робкой и более решительной, чем прежде, Академия эта руководит ею, не слишком, впрочем, ее угнетая.

— А что сталось с Военной школой? [11]

— Ее постигла та же участь, что и прочие учебные заведения. Ей были свойственны все их пороки, не считая тех, что обусловливались

особым ее назначением. Муштровать солдат еще не значит воспитывать людей.

— Простите, если я злоупотребляю вашей добротой, но вы коснулись здесь слишком важного вопроса, чтобы я мог не остановиться на нем; в дни моей молодости только и было разговоров, что о воспитании. Каждый ученый считал долгом написать на эту тему книгу, и хорошо еще, если она оказывалась только скучной. Лучшая из этих книг [12] — самая доступная, самая разумная и в то же время самая глубокая — была сожжена рукой палача, и ее всячески поносили люди, которые поняли в ней не больше, чем лакей этого палача. Откройте же мне, сделайте милость, каким путем удалось вам воспитать людей?

— Людей воспитывает не столько учебное заведение, сколько мудрая и мягкая политика нашего правительства; но если говорить здесь только об образовании ума, то скажу вам, что, обучая детей азбуке, мы одновременно знакомим их с действиями алгебры. Наука эта проста и всегда полезна: овладеть ею не более сложно, чем научиться читать; изучение ее не представляет ровно никаких трудностей, и алгебраические формулы уже не кажутся простонародью волшебными заклинаниями.* Мы заметили, что эта наука приучает разум видеть вещи в точности такими, каковы они есть на самом деле, и что в применении к ремеслам подобная точность неоценима. Прежде детей обучали бесконечному множеству наук, которые совершенно не могут помочь им достигнуть счастья в жизни. Мы выбрали из них только те, кои способны внушить им верные и обоснованные понятия. Раньше всех без исключения учили двум мертвым языкам, которые, как тогда казалось, включали в себя все человеческие знания и не давали детям ни малейшего представления о людях, с которыми им предстояло жить. Мы довольствуемся тем, что обучаем их родному языку и даже позволяем себе менять это обучение в зависимости от степени дарования ученика, ибо нам надобны не грамматики, а люди, умеющие владеть словом. Стиль — это человек,[14] и тому, кто обладает сильным умом, следует говорить языком, присущим ему, весьма отличным от того набора слов, из которого заимствуют недалекие умы, обладающие лишь унылой способностью запоминания. Нашим детям преподается мало истории, ибо история есть позор человечества [15] и каждая страница ее кишит безумствами и преступлениями. Боже нас упаси представлять им все эти примеры честолюбия и разбоя. Педантствующие историки возвели королей в ранг богов. Мы обучаем наших детей более ясной логике и внушаем им более здравые понятия. Все эти сухие хронисты, эти истолкователи времен, все эти восторженные или бесстыжие писаки,

* Когда в Париже только еще появилось книгопечатание, кто-то задумал издать «Начала» Евклида;[13] но так как в этой книге, как известно, изображены окружности, прямоугольники, треугольники и всякие линии, некий работник типографа вообразил, будто это книга волшебных заклинаний, и испугался, что в то время, как он будет набирать ее, явится дьявол и унесет его с собой. Типографщик настаивал, тогда бедняга решил, что он хочет его погибели, разум его совсем помутился, он не слушал ничьих уговоров и спустя несколько дней скончался со страха.

которые первыми дрожали перед лицом своих кумиров, исчезли вместе с теми, кто воспевал и славил властителей мира.* Помилуйте! Время течет так быстро, неужто жертвовать досугом наших детей ради того, чтобы запечатлеть в их памяти имена и даты, бесчисленные факты и генеалогические древа? Как все это ничтожно по сравнению с тем обширным полем морали и физики, что простирается перед нашими глазами! Напрасно станут нас уверять, будто в истории содержатся примеры, кои могут послужить уроками для грядущих веков; это страшные, это губительные примеры: ** неизменно являя нам зрелище поистине рабской покорности и тщетных усилий свободы, гибнущей от руки нескольких людей, которые воздвигают новую тиранию на обломках старой, такой пример способен лишь преподать урок деспотизма, сделать его более сильным и грозным. Если и встречается порой в истории муж достойный и добродетельный, то его современники оказываются чудовищами, которые тут же губят его; такие картины попранной добродетели, хоть, разумеется, и соответствуют истине, представляют собой, однако, не менее опасный пример. Лишь зрелый человек может созерцать подобные картины, не бледнея, и даже ощущать тайную радость при мысли, что торжество злодеев преходяще, добродетель же бессмертна. Но от детей подобные картины следует удалять, им надобно свыкнуться с понятиями порядка и честности, дабы последние образовали, так сказать, субстанцию их душ. Мораль, которой мы их обучаем, это не отвлеченные пустые рассуждения. Мы учим их нравственности практической, которая применима к каждому их поступку, такой нравственности, которая говорит образами и заставляет душу ребенка открываться добру, учит его быть мужественным, способным жертвовать собственным самолюбием, — одним словом, быть великодушным.

Мы ни в грош не ставим метафизику,[17] сию туманную область, в которой каждый воздвигал свою систему — призрачную и всегда бесполезную. Именно здесь складывались все эти несовершенные представления о боге, именно здесь, без конца обсуждая его свойства, искажали его сущность и смущали человеческий разум, предлагая ему некую ускользающую, ненадежную посылку, которая всегда готова была толкнуть его в бездну сомнений. Лишь с помощью физики, этого ключа к природе, этой живой науки, основанной на опыте, учим мы детей понимать разумность и мудрость Творца, обнаруживая перед ними всю сложность сего дивного мира. Глубже постигая эту науку, они избавляются от бесчис-

* От Фарамона[16] до Генриха IV едва ли назовешь хотя бы двух королей, которые бы обнаружили, не говорю уж умение царствовать, но хотя бы тот здравый смысл, который требуется обыкновенному человеку, чтобы управлять собственным домом.

** Декорация в истории, правда, временами меняется, но чаще всего это приводит лишь к новым несчастьям, ибо за каждым королем влечется целая вереница бедствий. Всякий, всходя на престол, не считает себя королем, пока придерживается прежних установлений. Ему надобно уничтожить прежние порядки, во имя которых пролито было столько крови, и ввести новые; они противоречат прежним, но приносят столько же вреда, сколько приносили те.

ленных заблуждений; предрассудки отступают перед чистым светом знания, которым физика освещает все вокруг.

Когда юноша достигает у нас определенного возраста, мы позволяем ему познакомиться с поэзией. Наши поэты восторги вдохновения сочетают с мудростью. Они не принадлежат к тем, кто с помощью ритма и напевности слов насилует разум и невольно впадает в фальшь либо вычурность или развлекается тем, что возвеличивает карликов, выделывает всякие фокусы и потрясает разными погремушками. Они воспевают великие деяния, коими гордится человечество; своих героев они ищут там, где узрят мужество и добродетель. Фальшивые, продажные фанфары, что трубили славу великим мира сего, ныне вдребезги разбиты. В поэзии звучат лишь те искренние звуки, которым суждено звучать в веках, ибо они, если позволено так выразиться, перекликаются с голосами потомства. Воспитываясь на подобных примерах, наши дети получают верные представления о подлинном величии; и в их глазах грабли, ткацкий челнок и молот — предметы более значительные, нежели скипетр, корона и мантия.

Глава тринадцатая

ГДЕ ЖЕ СОРБОННА?

— А на каком языке ведут ныне свои диспуты господа доктора Сорбонны? Все так же ли они спесивы? По-прежнему ли носят длинные мантии и отороченные мехом шапочки?

— В Сорбонне никто больше не спорит, ибо с того времени, как там стали говорить по-французски, исчезло это племя ярых спорщиков, и, благодарение богу, под сводами ее уже не раздаются всякие варварские словеса, еще более бессмысленные, чем те суждения, которые они призваны были выражать. Они обнаружили, что скамьи, на коих восседали эти многоречивые доктора, были сколочены из особого дерева — стоило только сесть на такую скамью, как человек повреждался в рассудке и начинал с важным видом пести околесицу.

— О, почему не родился я в вашем веке! Сии презренные мастера аргументов отравили мне мои юные годы, ведь я долгое время считал себя дураком — только потому, что никак не мог понять их речей. А что же делается во дворце,[1] построенном тем кардиналом,* который с такой страстью писал дурные стихи и с таким хладнокровием посылал на плаху хороших людей?

* О жестокий Ришелье, презренный виновник всех наших бедствий, как ненавижу я тебя! Как отвратителен для моих ушей самый звук твоего имени! Лишив власти Людовика XIII, ты насадил во Франции деспотизм. С тех пор нация не совершила более ничего великого, ибо можно ли ожидать чего-нибудь от народа-раба!

— В многочисленных залах этого обширного здания ныне занимаются вещами, приносящими человечеству куда большую пользу. Там вскрывают трупы. В смертных останках ученые анатомы ищут средств уменьшить телесные страдания живых. Вместо того чтобы обсуждать всякого рода нелепые измышления, они пытаются отыскать скрытые причины наших недугов, и скальпель вскрывает бесчувственные тела лишь во имя блага грядущих поколений. Таковы наши доктора — они знамениты, пользуются всеобщим уважением и содержатся за счет государства. Хирургия ныне живет в мире с врачеванием,[2] и медицина перестала быть ареной борьбы.

— Но это же просто чудо! Немало говорилось о взаимной неприязни хорошеньких женщин, о зависти, с коей поэты относились к поэтам, о вражде среди художников; но все эти страсти не могли идти ни в какое сравнение с той ненавистью, какую в мое время питали друг к другу жрецы Эскулапа. Вражда их доходила до того, что, как выразился один шутник, лекаря иной раз готовы были всадить скальпель в своих соперников.

— Ныне все изменилось: лекарь и хирург у нас братья, а не соперники. Помогая друг другу, они совместными усилиями порой творят истинные чудеса. Лекарь не считает для себя зазорным самому выполнять свои назначения. Прописывая то или иное лекарство, он уже не поручает приготовить их своему подручному, чья небрежность или неопытность может сделать их смертоносными для больного: он самолично проверит и состав лекарства, и его количество и проследит за его приготовлением, ибо все это весьма важно и от этого зависит выздоровление. Больной уже не видит у своего изголовья трех представителей лекарского сословия, которые, вместо того чтобы сообща лечить его, пререкаются между собой и так и смотрят, не совершит ли соперник какой-нибудь оплошности, дабы потом посмеяться над ним. Медицина перестала быть причудливым соединением противоречащих друг другу принципов. Ослабевший желудок больного уже не становится ареной, где южные зелья борются с северными. Благодетельные соки трав, растущих в наших широтах и отобранных в соответствии с особенностями нашего организма, освобождают нас от мокроты, не разрывая нам внутренностей. Лекарское искусство считается у нас самым главным, ибо из него изгнаны некогда царившие в нем педантский дух и рутина, которые были не менее пагубны для человечества, чем жадность королей и жестокость их министров.

— Я очень рад узнать об этом. Мне нравятся такие лекари. Это уже не те корыстолюбивые, бесчеловечные шарлатаны,[3] которые либо лечили по старинке, либо производили жестокие опыты, лишь усугубляя страдания больных, которых в конечном счете таким образом безжалостно убивали. Да, кстати, до какого этажа они нынче поднимаются?

— Они поднимаются на любой этаж, где лежит больной, нуждающийся в их помощи.

— Вот это хорошо. А в мое время знаменитости не поднимались выше второго этажа. Подобно некоторым красивым женщинам, кои принимали

у себя только мужчин, носивших кружевные манжеты, эти врачи соглашались лечить лишь того, кто посылал за ними экипаж.

— Врач, который позволил бы себе проявить такую бесчеловечность, навлек бы на себя несмываемый позор. Всякий человек имеет у нас право звать к себе лекаря. Дело чести врача — заставить румянец вновь заиграть на щеках больного; а если при этом больной — правда, это случается редко — не в состоянии сполна заплатить ему за лечение, государство берет этот расход на себя. Каждый месяц мы производим подсчет, кто из больных умер, а кто выздоровел. И вслед за именем умершего всегда следует имя того врача, который его пользовал. Последний обязан тогда отчитаться в своих назначениях больному и объяснить, почему применил он к его болезни тот или иной курс лечения. Сие порой бывает тягостно; но слишком драгоценна для нас жизнь каждого человека, чтобы мы могли пренебречь каким-либо средством, могущим сохранить ее, и врачи сами заинтересованы в выполнении этого мудрого закона. Они упростили свое ремесло, объявив излишними некоторые познания, совершенно не нужные врачевателю. В ваше время ошибочно полагали, будто врачу необходимо держать в голове все науки на свете, что он обязан обладать глубокими познаниями в анатомии, химии, ботанике и математике. Каждая из этих наук требует от человека всей жизни, а между тем ваши врачи не считались хорошими врачами, если они не были вдобавок умниками и острословами. Нашим врачам вполне достаточно того, что они правильно умеют распознать болезнь, точно указать ее разновидность, назвать ее симптомы, а главное — разбираются в различных видах темпераментов и, в частности, способны определить, к какому из них принадлежит данный больной. Они не прописывают ему ни целебных вод, оказывающих якобы столь благотворное действие, ни тех таинственных снадобий, что изготовляют в тиши своих кабинетов. Они обходятся весьма небольшим количеством лекарств. Они убедились, что природа ведет себя совершенно одинаково, идет ли речь о произрастании растений, или о питании животных. Возьмем садовника, говорят они, его дело следить за тем, чтобы соки, то есть всеобщее жизненное начало, одинаково обращались во всех частях дерева. Все болезни его происходят от сгущения сей чудодейственной жидкости. Так и болезни, что терзают человеческий род, имеют причиной сгущение крови и соков; разжижайте их до естественного состояния, и течение их восстановится, а вместе с ним возвратится к человеку и здоровье. Коль скоро врач усвоил этот принцип, он уже не нуждается во множестве знаний, чтобы подтвердить его, ибо он и без этого очевиден. Универсальным средством от болезней мы считаем ароматические растения, богатые летучими солями, поскольку они обладают способностью разжижать сгустившуюся кровь: это самое драгоценное лекарство, которое предоставляет нам природа для сохранения здоровья. Мы применяем его от всех недугов и убедились, что оно всегда помогает.

Глава четырнадцатая

ДВОРЕЦ ПРИВИВОК[1]

— Скажите на милость, что за одинокое строение виднеется там среди деревьев?

— А это Дворец прививок, у которых в ваше время было столько противников, так же как у всех полезных нововведений, что вам предлагались. Вы, как видно, были изрядными упрямцами, ибо, несмотря на многочисленные и убедительные опыты, вас невозможно было убедить в том, что делалось ради вашей же пользы. Не будь нескольких дам, влюбленных в свою красоту, для которых потерять ее было пострашнее смерти, и нескольких государей, которым отнюдь не улыбалось передать свой скипетр в руки Плутона,[2] вам не видать бы этого счастливого открытия. После того, как его признали, дурнушки вынуждены были замолчать, а те, у кого не было царского венца, тоже стали выказывать желание подольше оставаться на сей земле. Рано или поздно истина всегда торжествует победу и овладевает самыми невосприимчивыми умами. Мы теперь делаем прививки так же, как их делали в ваше время в Китае, Турции, Англии. Мы не станем отвергать какое-либо средство исцеления на том лишь основании, что оно ново. У нас не принято с пеной у рта спорить для того только, чтобы выдвинуться и привлечь к себе внимание публики. Благодаря нашей предприимчивости и пытливости нам удалось сделать несколько замечательных открытий, о которых пока не время еще говорить. Внимательно исследуя свойства некоторых чудодейственных трав, которыми вы по неведению своему пренебрегали, мы научились излечивать воспаление легких, чахотку, водянку и прочие болезни, которые ваши лекарства, чье действие еще мало было вами изучено, обычно лишь усугубляли. Особое внимание обращено было на предупреждение этих болезней, и теперь каждый получил возможность сам следить за своим здоровьем. Мы уже не полагаемся всецело на лекаря, каким бы он ни был искусным врачевателем. Мы берем на себя труд изучить собственный организм, не ожидая, чтобы посторонний человек постиг его с первого взгляда. К тому же воздержанная жизнь, поистине являющаяся эликсиром долголетия, способствует созданию цветущих, крепких людей, чьи души столь же здоровы и чисты, как и их кровь.

Глава пятнадцатая

БОГОСЛОВИЕ И ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

— О счастливейшие из смертных! Выходит, у вас нет больше богословов! * И я не увижу здесь тех пухлых томов, что считались крае-

* Не нужно смешивать здесь моралистов и богословов. Моралисты — благодетели человеческого рода, богословы же — его позор и бедствие.

угольным камнем наших библиотек, эти тяжелые кирпичи, которые читал, должно быть, один лишь наборщик. Но все же богословие есть наука возвышенная и...

— Поскольку Верховное существо у нас принято любить безмолвно и не упоминать иначе, как вознося ему хвалу, и мы не вдаемся ни в какие споры об его атрибутах, кои непознаваемы, было раз навсегда решено ничего более не писать об этом возвышенном предмете, недоступном нашему разумению. Бога мы познаем душой, а душе не надобно посторонней помощи, дабы устремляться к нему.* Все богословские книги, равно как и книги по юриспруденции, хранятся у нас за железными решетками, в подвалах библиотеки; и если когда-нибудь нам случится вступить в войну с кем-либо из соседних народов, мы вместо того, чтобы направить на них пушки, просто пошлем им эти опасные книги. Мы сохраняем огнедышащие эти вулканы, дабы пустить их тогда в ход против наших врагов, которых незамедлительно приведем к гибели с помощью сих тончайших ядов, одновременно отравляющих ум и сердце.

— Можно обойтись без богословия, это я себе представляю, но как обходитесь вы без юриспруденции?

— У нас есть юриспруденция, но не похожая на вашу, уже устаревшую и весьма причудливую; на ней лежала еще печать рабства, в котором вы некогда пребывали. Вы заимствовали законы, не пригодные ни для ваших условий, ни для ваших нравов. Но просвещение постепенно овладевало почти всеми умами, и порочные нравы, что превращали святилище правосудия в разбойничий вертеп, были искоренены. Теперь кажется просто непостижимым, как могли эти чудовища в черных мантиях, грабившие вдов и сирот, столько времени безнаказанно совершать свои преступления. Как только решался прокурор спокойно гулять по городу, не боясь, что какая-либо из его жертв запустит в него камнем? Но нашлась управа на это сборище бездушных тварей, свирепых, словно волки, хитрых, словно лисицы, каркающих, словно вороны: их поразила рука вершеносца, подъявшего меч правосудия. Собственные их писари, которых они заставляли умирать с голоду и скуки, взбунтовавшись, первыми раскрыли их злодеяния. Фемида [1] произнесла свой приговор, и презренное племя было стерто с лица земли. Таков был трагический и страшный конец всех этих мошенников, которые, марая бумагу, разоряли целые семьи.

---

* Углубимся в себя, заглянем в свою душу, спросим ее, откуда взялись в ней чувства и мысли. И она обнаружит благодатную свою подвластность, она подтвердит нам существование высшего разума, чьей слабой эманацией является. В глубинах своих душа не может отречься от бога, ибо она — дочь его и являет собой образ его. Она не может не ощущать божественного своего происхождения. Это правда чувств, которая была свойственна всем народам. Человек чувствительный будет тронут зрелищем прекрасной природы и легко обнаружит в нем благодетельного бога, столь щедрого в своих милостях. Человек, лишенный чувствительности, останется чужд сему чувству восторга и благодарности. Первым атеистом был человек, чье сердце не знало любви.

— В мое время уверяли, будто без их содействия многим и вовсе было бы не добиться толку и в суде царили бы сплошное беззаконие и неразбериха.

— Не иначе, как это говорили те, кто наживался на гербовой бумаге.

— Но как же ведутся у вас судебные разбирательства? Как обходитесь вы без прокурора?

— О, как нельзя лучше. Мы сохранили сословие адвокатов, которые понимают все благородство и всю ответственность своего назначения. Став более бескорыстными, они пользуются у нас большим уважением, нежели прежде. Это они берут на себя труд ясно, а главное — коротко изложить суть дела своих подзащитных без всяких высоких слов и ораторских ухищрений. Вы не услышите более тех длинных, тягучих речей, начиненных всякими инвективами, что, возбуждая ответные инвективы, стоили жизни подзащитным. Человек дурной, чье дело неправо, не найдет защитника среди этих неподкупных людей, честью своей отвечающих за дело, которое они берутся защищать. Отказывая кому-нибудь в защите, они тем самым уже произносят ему приговор, и тому ничего не остается, как предстать перед судом без защитника и, дрожа, вымаливать прощение. Каждый человек может осуществить у нас свое исконное право самому защищать свои интересы. Никому не позволено у нас запутывать судебное дело — его пускают в производство с того момента, как оно поступает в суд, и самый большой срок, который предоставляется на его рассмотрение, если дело очень запутано, — один год. Но зато судьи уже не получают от своих клиентов «благодарностей», они устыдились в конце концов позорного права брать мзду, которая поначалу была весьма скромной,* но их стараниями выросла до неслыханных сумм. Они поняли, что этим сами же подают пример лихоимства и что в тот великий и страшный миг, когда священным именем правосудия объявляется приговор, всякий личный интерес должен умолкнуть.

— Я вижу, вы совершенно изменили наши законы.

— Ваши законы! Помилуйте, как могли вы называть законами то беспорядочное нагромождение противоречивших друг другу установлений, все эти обветшалые, не связанные между собой понятия, все эти нелепые заимствования? Как могли вы придерживаться сего варварского свода, в котором не было никакой стройности мысли и который являл собой одну лишь омерзительную мешанину, где, словно в тине, увязал самый терпеливый ум. Появились люди, у которых хватило ума, любви к ближним и мужества, чтобы задумать полную переделку законов и перелить их бесформенную массу в нечто стройное и соразмерное во всех его частях. Наши короли со всем вниманием отнеслись к этому обширному проекту, в котором заинтересованы были тысячи людей. Было признано, что изменение законодательства есть дело первостепенной важности.

---

* Тогда эта благодарность сводилась к нескольким коробкам конфет или пастилы. Ныне же коробки надобно наполнять золотыми монетами. Вот до какого лакомства охочи теперь почтенные сенаторы, радеющие о благе отчизны.

Имена Ликургов, Солонов[2] и тех, кто шел по их стопам, более всего достойны уважения. Новый свет воссиял нам с далекого Севера,[3] и словно для того, чтобы смирить нашу гордыню, важный сей переворот начат был женщиной.* С той поры правосудие заговорило голосом природы — верховной законодательницы, матери добродетелей и всего, что прекрасно на земле: основанные на разуме и человечности предписания ее были мудры, ясны, отчетливы и немногочисленны. Они предусматривали все основные случаи и как бы закрепляли их законом. Частные случаи естественно вырастали из них, подобно ветвям налитого соками ствола дерева; и справедливость, более мудрая, нежели сама юриспруденция, стала подходить ко всем событиям с точки зрения житейской честности. Новые законы с особенной осторожностью отнеслись к пролитию человеческой крови; у нас наказание соответствует преступлению. Мы уничтожили и ваши коварные допросы, достойные суда инквизиции, и ваши ужасные пытки, рассчитанные на каннибалов. Мы уже не приговариваем к смертной казни за воровство, ибо бесчеловечно и несправедливо убивать того, кто сам не убивал. Все золото мира не стоит жизни человека; такого рода преступников мы наказываем лишением свободы. Мы редко проливаем кровь, но уж если вынуждены пролить ее ради устрашения злодеев, то обставляем это со всей торжественностью. Так, мы не помилуем министра,** злоупотребившего доверием своего государя и обратившего против народа вверенную ему власть. Но преступник не томится у нас в темнице: наказание немедленно следует за преступлением; и ежели возникает малейшее сомнение в его виновности, мы предпочтем лучше помиловать его, нежели подвергнуться риску долго держать в тюрьме невиновного. Преступник, которого мы лишаем свободы, содержится в тюрьме совершенно гласно. Всякий имеет право лицезреть его, ибо он должен служить красноречивым примером неусыпной бдительности правосудия. Над решеткой, за которой он содержится, всегда имеется надпись, в коей сообщается причина его пребывания в тюрьме. Мы уже не запираем людей в могильной тьме — это бесплодное наказание более страшно, нежели сама смерть! Позор наказания он несет при дневном свете. Каждый гражданин знает, за что такой-то приговорен к тюрьме, а такой-то к общественным работам. Но ежели человек, будучи трижды подвергнут каре, все же не исправился, его клеймят железом (при этом клеймо ставится не на плече, а на лбу) и навсегда изгоняют из страны.

---

* В Париже тогда было тайно сожжено полное издание «Наказа» Екатерины II.[4] У меня сохранился один экземпляр, случайно спасенный от огня.

** Недурную комедию можно было бы написать на основании послужных списков наших министров! Один оказался в министерстве благодаря нескольким любовным стишкам; другой, поначалу ведавший фонарями, начинает управлять кораблями и серьезно полагает, будто корабли делаются точно так же, как фонари; третий, чей отец все еще продолжает орудовать аршином, вершит финансами и т. п. Право, кажется, будто кто-то задался целью поставить управлять делами людей, которые ничего в них не смыслят.

— Скажите, как обстоит у вас дело с секретными предписаниями, с этим столь быстрым и удобным способом расправы, что так на руку был мщению спесивцев?

— Разумеется, вы в шутку задали этот вопрос, — сурово ответствовал мой проводник, — иначе он был бы оскорблением и для государя, и для всей нации, и для меня. И вопрос этот, и предписания* ныне ушли в прошлое, они позорят лишь страницы истории, повествующие о вашем времени.

Глава шестнадцатая

КАЗНЬ ПРЕСТУПНИКА

Вдруг частые удары колокола неприятно поразили мой слух — мрачный и печальный этот звон, казалось, возвещал о бедствии и смерти. Слышался бой барабана — то медленно обходила улицы городская стража, возглашая тревогу, и зловещие эти звуки, отзываясь в каждом сердце, поселяли в нем глубокий ужас. Я увидел, как горожане с горестным видом выбегают из своих домов, переговариваются с соседями, вздымают руки к небу, плачут, — словом, проявляют все признаки глубокого отчаяния. Я спросил одного из них, по какому случаю этот погребальный звон и что за несчастье произошло в городе.

— Произошло самое страшное из всех возможных несчастий, — ответил он, рыдая. — Наши судьи оказались вынужденными приговорить к смертной казни одного из наших сограждан. Он не достоин более жизни, ибо обагрил руки кровью брата своего. Уже более тридцати лет не случалось у нас подобного злодеяния; преступнику надлежит умереть до наступления ночи. О, как горько я плакал, узнав, до какого исступления может довести человека слепое чувство мести! Знаете ли вы о преступлении, которое совершено было позавчера вечером? О горе! Мало того, что мы потеряли достойного гражданина, приходится теперь предавать смерти еще и второго...

---

* Человека внезапно вырывают из общества, из семьи и круга друзей. Листок бумаги поражает его, словно удар невидимой молнии. Приказ об изгнании или аресте и заключении в тюрьму дается от имени короля и не имеет никаких иных оснований, кроме изъявления его воли. Он ничем не подтвержден, кроме подписи его министров. Интенданты и епископы имеют в своем распоряжении целые пачки таких предписаний; им надобно лишь вписать сюда имя того, кого они желают погубить: для этого оставлено свободное место. Мы знаем несчастных, которые так и состарились в тюрьмах, забытые своими преследователями. И никто так и не сообщил государю об их вине, их судьбе, о самом их существовании. Нужно, чтобы парламенты королевства дружно восстали против этого странного злоупотребления властью, никак не отраженного в наших законах. Борьба против него явилась бы делом всей нации, и таким образом у деспотизма отнято было бы самое страшное его орудие.

Он рыдал... Послушайте же повесть о сем печальном событии, вызывающем всеобщую скорбь.

— Один из наших сограждан, обладавший сангвиническим темпераментом, от природы крайне вспыльчивый, хоть, впрочем, не лишенный и добродетелей, страстно любил некую девушку, которая уже совсем было согласилась выйти за него замуж. У нее был столь же кроткий характер, сколь горяч был характер ее избранника. Она льстила себя надеждой, что сумеет смягчить его нрав, но прорывавшиеся в нем временами вспышки гнева (как ни старался он сдерживать их) заставили ее устрашиться грустных последствий, к которым может привести союз со столь необузданным человеком.

По нашим законам всякая женщина может выходить замуж по своему усмотрению. И вот, боясь оказаться несчастной в замужестве, девушка решилась отдать свою руку другому, более подходящему ей по характеру. Радостные огни их свадьбы зажгли бешеную злобу в сердце этого неистового человека, с младенческих лет не умевшего умерять своих чувств. Он послал счастливому сопернику несколько вызовов на поединок, но тот пренебрег ими, ибо настоящее мужество состоит в том, чтобы оставить оскорбление без последствий, а не в том, чтобы, поддавшись гневу, соглашаться на деяние, нелепое с точки зрения разума и запрещенное нашими законами. И вот позавчера вечером за городом, на лесной опушке, сей ослепленный ревностью человек подстерег соперника и вновь вызвал его, когда же тот отказался с ним драться, схватил дубину и уложил несчастного на месте. Совершив это страшное дело, сей варвар посмел вернуться к нам; но печать злодеяния уже лежала на челе его. Едва его увидев, мы тотчас же догадались, что он сделал что-то недоброе. Еще не зная, что именно случилось, мы поняли, что он преступник. А вскоре мы увидели нескольких граждан, которые, обливаясь слезами, медленно несли к трону правосудия окровавленный труп, словно взывавший к возмездию.

В четырнадцать лет нас впервые знакомят с законами нашей отчизны. Каждый обязан переписать их собственноручно,* и каждый приносит присягу в том, что свято будет выполнять их. Законы эти предписывают нам осведомлять правосудие о всех случаях нарушения общественного порядка, но преследуется по этим законам только тот, кто причинил обществу действительный ущерб. Каждые десять лет мы возобновляем священную эту присягу, и любой из нас, не будучи доносчиком, стоит на страже законов, бдительно следя за их исполнением.

Вчера к народу обратились с увещевательным письмом,[1] которое у нас служит целям чисто гражданским. Каждый, кто вздумал бы промолчать

* Невозможно постигнуть, почему самые важные наши законы, равно гражданские и уголовные, остаются совершенно неизвестными большей части нации. Так легко было бы придать им назидательный характер; но к ним прибегают лишь для того, чтобы покарать, и никогда не пользуются ими, чтобы призвать гражданина к добродетели. Священный свод законов написан сухим, варварским языком и пылится в канцеляриях судов. Разве не стоило бы изложить его в красноречивых выражениях и таким образом сделать драгоценным для народа.

о том, что знает, покрыл бы себя позором. Этим-то путем и открылось неожиданно для всех убийство. Нужно быть закоренелым злодеем, чтобы хладнокровно отрицать совершенное преступление. От такого рода чудовищ наша нация давно очистилась, только в истории прошлых веков мы с ужасом еще читаем о них.

Пойдем со мной, поспешим на глас правосудия, сзывающий весь народ, дабы он стал свидетелем его грозного приговора. Ныне день торжества правосудия, и каким бы скорбным он ни был, мы не можем не чувствовать удовлетворения. Вы уже не увидите несчастного, полгода проведшего в темной камере, который с глазами, ослепленными светом солнца, влачит к возведенному посреди небольшой площади эшафоту свое тело, истерзанное пытками еще более ужасными, чем та казнь, что его ожидает.* В ваше время тайный приговор иногда приводился в исполнение среди ночной тишины под окошками какого-нибудь горожанина, который в ужасе вдруг просыпался от горестных воплей осужденного на казнь, не понимая, поразил ли несчастного топор палача, или нож убийцы. У нас не существует пыток, от коих содрогается сама природа; мы чтим человечество даже в тех представителях, что преступили его законы. В ваше же время казалось, будто главное состоит в том, чтобы человек был убит, и эти трагические сцены, как ни были они ужасны, переставали производить впечатление — так деловито они происходили и так часто повторялись.

У нас преступника не станут влачить силой к эшафоту, унижая и роняя этим достоинство Правосудия, его даже не закуют в цепи. И в самом деле, к чему отягчать его руки железом,, когда он идет на смерть добровольно! Правосудие может приговорить человека к лишению жизни, однако ему не дано налагать на человека знаки рабства. Вы увидите, что осужденный будет идти свободно, в окружении нескольких солдат, которые станут сопровождать его лишь затем, чтобы сдерживать толпу. Нет опасности, что он вторично покроет себя позором, попытавшись бежать от страшного гласа, призывающего его. Да и куда ему бежать? Какая страна, какой народ захочет принять в свое лоно убийцу? ** Как стереть

---

* Горе государству, которое в своих карательных законах проявляет утонченную изобретательность. Неужто смерть — недостаточное наказание, и возможно ли, чтобы человек старался что-то еще прибавить к ее мукам? А разве не это делает судья, допрашивающий какого-нибудь несчастного с помощью дыбы и не спеша сокрушающий его под тяжестью все возрастающих, все более страшных мучений, судья, который столь изобретателен в своей жестокости, что останавливает смерть в то время, как та совсем уже готова смилостивиться, избавив его жертву от мук. Все это возмущает чувство человечности. Но чтобы окончательно убедиться в бесполезности подобного рода мер, прочитайте превосходный «Трактат о преступлениях и наказаниях»;[2] бьюсь об заклад, никто после этого не сможет сказать что-либо разумное в защиту сего варварского закона.

** Говорят, будто в Европе наведен твердый порядок, а между тем человек, совершивший в Париже убийство или злостно объявивший себя банкротом, может отправиться в Лондон, в Мадрид, в Лиссабон, в Вену и спокойно вкушать там плоды своего преступления. В наше время то и дело заключаются всякие легкомысленные соглашения. Нельзя ли договориться, чтобы убийца нигде не мог найти себе убе-

ему ту страшную печать, которой рука Всевышнего клеймит чело убийцы? Муки раскаяния запечатлены на нем неизгладимыми письменами; глаза людей, привыкших лицезреть добродетель, без труда распознают лицо преступления. И, наконец, как сможет несчастный свободно дышать под тяжелым бременем, коим отягчено его сердце!

Мы вышли на обширную площадь, простиравшуюся перед ступенями Дворца правосудия. Широкая каменная трибуна, являющая собой подобие амфитеатра, возвышалась напротив входа в зал Суда. Именно здесь собирался Сенат для рассмотрения общественных дел в присутствии всех граждан. Важные вопросы, касающиеся интересов отчизны, государственные деятели предпочитали обсуждать перед лицом народа. Столь многолюдное собрание внушало им мысли, достойные того высокого дела, которое было на них возложено. Смерть человека явилась для государства тяжким бедствием. Судьи постарались сделать все, чтобы придать судебной церемонии ту торжественность, ту значительность, коих она заслуживала. С одной стороны трибуны толпилось сословие адвокатов, готовых защитить невинного и молчать о виновном. С другой стороны прелат, окруженный священниками, обнажив голову, среди всеобщего безмолвия взывал к милосердию божию в назидание народу, заполнявшему площадь.*

Появился преступник. Он шел в окровавленной рубашке и бил себя в грудь, проявляя все признаки искреннего раскаяния. Но на лице его не было того ужасающего уныния, которое не к лицу мужчине, ибо мужчина должен уметь расставаться с плотью, если это нужно, в особенности же когда он заслужил смерть. Его заставили подойти к какой-то огромной клетке, где, как мне объяснили, лежал труп убитого им чело-

---

жища? Разве не в интересах всех государств, всего человечества преследовать его? Но государи охотнее приходят к согласию, когда речь идет о преследовании иезуитов.[3]

* Наше правосудие внушает не страх, а отвращение: что может быть более отталкивающего, более возмутительного, чем зрелище человека, который, сняв с головы своей шляпу с каймой и положив на эшафот свой меч, в шелковом камзоле или обшитом галунами платье взбирается туда по лестнице и непристойно суетится вокруг несчастного, удушая его. Почему не одеть палача в подобающую одежду, такую, которая внушала бы трепет? К чему приводит такая холодная жестокость? Законы теряют свое величие, казнь перестает вызывать ужас. У судьи еще более нарядный парик, чем у палача. Может быть, все дело тут в моем впечатлении? Я содрогался, присутствуя при этом зрелище, но не от преступления казнимого, а от ужасающего хладнокровия тех, кто окружал его. Был среди них лишь один, в ком было еще что-то человеческое, — это тот великодушный человек, что призывал несчастного примириться с Верховным существом и помогал ему испить смертную чашу. Да разве мы стремимся лишь к тому, чтобы убивать людей? Разве не обладаем мы искусством пугать воображение, не оскорбляя при этом человечность? О вы, легкомысленные и жестокосердные люди, научитесь же, наконец, быть подлинными судьями. Сумейте предотвратить преступления, выполняя законы, думайте о человеке. У меня нет сил касаться здесь утонченных пыток, которым подвергали нескольких преступников, удостоенных, так сказать, особой казни. О, позор моей родине! Долее всех других устремлены были на эту страшную сцену взоры представительниц именно того пола, который, казалось бы, самой природой предназначен для сострадания. Задернем занавес. Что говорить с теми, кто не понимает меня?

века. Преступника подвели к самой решетке этой клетки; но вид убитого разбудил в его сердце столь сильные угрызения совести, что ему позволили отойти от нее. Он приблизился к своим судьям и преклонил колени, но для того лишь, чтобы поцеловать священную книгу Закона. Тогда, открыв книгу, ему вслух, громко прочитали статью об убийцах, после чего поднесли книгу к его глазам, дабы он сам мог прочитать эту статью. Снова он упал на колени и покаялся в своей вине. Председатель Сената, поднявшись на возвышение, громким, торжественным голосом прочитал приговор суда. Все советники, так же как и все адвокаты, сели на свои места в знак того, что никто из них не собирается взять на себя его защиту.

После того как председатель Сената окончил чтение, он протянул преступнику руку, поднял его и сказал: «Вам ничего не остается, как мужественно умереть, дабы быть прощенным богом и людьми. Мы не питаем к вам чувства злобы; мы вас жалеем. Память ваша не будет нам ненавистна. Подчинитесь добровольно закону, смиритесь перед благодетельно-строгим его приговором. Взгляните на слезы, что льются из наших глаз: они говорят вам о том, что как только будет приведен в исполнение смертный приговор, гнев в наших сердцах сменится любовью. Смерть менее страшна, чем позор; вы избегнете его, согласясь умереть. Вы вольны еще выбирать, и, если хотите, мы сохраним вам жизнь, но жить вы будете в бесчестьи, окруженный всеобщей ненавистью. Как прежде, будете вы видеть солнце, но каждый день оно станет напоминать вам, что вы лишили одного из ближних своих яркого, ласкового его света. И солнечный свет станет вам не мил; ибо одно презрение к убийце будете вы читать в глазах наших. Неотступно будут преследовать вас тяжкие угрызения совести, вечный стыд за то, что вы не покорились справедливому закону, осудившему вас. Согласитесь же с обществом и сами произнесите себе приговор! *

Преступник кивнул головой в знак того, что осуждает себя на смерть.** Он приготовился принять ее мужественно и даже с достоинством, которое в момент прощания с жизнью столь возвышает человека.*** И тогда с ним перестали обращаться как с преступником. Подошли священники

---

* Те, кто занимает место, дающее им какую-то власть над людьми, должны страшиться действовать лишь в соответствии с буквой закона. Они должны видеть в преступниках несчастных людей, в той или иной мере потерявших рассудок. Поэтому надобно, чтобы тот, кто имеет с ними дело, всегда помнил, что имеет дело с себе подобными, вследствие неизвестных нам причин заблудившимися и попавшими на дурную дорогу. Надобно, чтобы строгий судья, торжественно возглашающий приговор преступнику, жалел, что не может избавить его от казни. Устрашать преступность и втайне щадить виновного — вот из чего должно исходить уголовное право.

** Благодетельная совесть, быстрый и справедливый судья, никогда не угасай в душе моей! Наставляй меня, напоминай, что за малейшее зло, которое я причиняю людям, мне будет отплачено тем же и что, нанося вред другому, я тем самым наношу вред себе.

*** При виде преступника, со стойкостью переносившего пытки, Агесилай[4] воскликнул: «Ах, какой скверный человек! Так некстати проявлять добродетель...».

и стали вкруг него. Прелат дал ему поцелуй умиротворения и, совлекши с него окровавленную рубашку, облек его в белую тунику, знак воссоединения его с людьми. Друзья и родные бросились к нему и заключили в свои объятия. И все эти ласки, и эта белая туника, символ того, что родина прощает ему вину, казалось, утешали его. Знаки дружбы, которые ему расточались, смягчали страх его перед последними минутами. Отдаваясь ласкам друзей, он словно забывал о смерти. И вот выступил вперед прелат и обратился к народу с пламенной и трогательной речью о пагубности страстей. Говорил он так проникновенно, так искренно, речь его была так прекрасна, что от восторга и ужаса замерли все сердца. Каждый мысленно обещал себе отныне неустанно проверять себя, чтобы подавлять в душе своей те семена злопамятства, что, незаметно зрея в нас, могут привести к подобной безудержности чувств.

Тем временем один из членов Сената был отправлен к государю, дабы тот скрепил смертный приговор собственноручной подписью. Человек мог быть здесь казнен лишь по воле того, кто один имеет власть над жизнью и смертью всех граждан. Сей добрый отец народа готов был бы оставить несчастному жизнь,* но он пожертвовал в этот час заветными желаниями своего сердца ради необходимости поддержать правосудие и явить народу устрашающий пример.

Посланный возвратился. И тотчас же вновь послышался погребальный звон всех колоколов города, вновь скорбно застучали барабаны, сопровождаемые громкими стенаниями многочисленной толпы; казалось, будто всеобщее бедствие постигло город. Родные и друзья несчастного, обреченного на смерть, прощаясь с ним, в последний раз обняли его. Прелат громко воззвал к милосердию Верховного существа, и весь народ как один человек возгласил вслед за ним, простирая руки к небесам: «Великий боже, прими его в лоно свое! Милосердный боже, прости ему, как мы ему простили!». И единодушная сия мольба поднималась ввысь, смягчая гнев господен.

Его подвели к решетке, о которой я упомянул выше, он шел медленно, по-прежнему окруженный своими близкими. Тогда выступили вперед шестеро стрелков. У каждого из них на голове была траурная повязка. Председатель суда высоко вверх поднял книгу Закона. Это был сигнал. Раздались выстрелы, и душа несчастного отлетела.**

Труп его подняли; поскольку смертью своей он полностью искупил совершенное им преступление, он вновь становился таким же гражданином, как и все, Его имя, перед тем отовсюду вычеркнутое, вписали теперь в общий список, рядом с именами всех тех, кто в этот день скон-

---

* Я очень досадую, что наши короли отказались от этого древнего и мудрого обычая; они подписывают столько бумаг; почему же отказались они от самой царственной из привилегий монарха?

** Не раз мне случалось присутствовать при спорах, следует ли считать палача бесчестным человеком. Я всегда боялся, как бы кто-нибудь не высказался в его защиту, и никогда не мог вести дружбу с теми, кто склонен считать его таким же гражданином, как все остальные. Может быть, я и неправ, но таковы мои чувства.

чался. Народ этот не был столь низок и жестокосерд, чтобы преследовать человека до самой могилы и распространять на целую ни в чем не повинную семью вину одного из ее членов; ему не доставляло удовольствия без всяких оснований позорить граждан, полезных отчизне, и делать их несчастными ради жестокого наслаждения видеть их унижение.*

Его труп унесли для сожжения вместе с трупами тех сограждан его, кои уплатили накануне этого дня неизбежную дань природе. Его родным не пришлось испытывать иного горя, кроме горя, причиненного утратой близкого друга. А вечером того же дня король назначил на только что освободившуюся почетную должность брата преступника. Все одобрили его выбор, одновременно и справедливый, и гуманный.

Растроганный и умиленный всем этим, сказал я своему собеседнику:

— О! Каким уважением окружен у вас человек! Смерть одного гражданина ввергает в печаль всех его соотечественников!

— Это потому, — отвечал он мне, — что законы наши мудры и человечны: они более стремятся исправлять, нежели наказывать. Чтобы наказание устрашало, надобно, чтобы оно было не чем-то обычным, а событием, вызывающим ужас. Мы стараемся предотвратить преступления: виновные в каком-либо проступке содержатся у нас в одиночестве, в особых помещениях, и при них находятся люди, которые внушают им чувство раскаяния и мало-помалу смягчают их ожесточившиеся сердца, постепенно раскрывая их для чистых радостей добродетели, кои доступны даже самому развращенному человеку. Какой врач оставит больного при первом приступе жестокой лихорадки умирать без помощи? Почему же не поступать так же с теми, кто преступил закон, но еще способен исправиться? Мало найдется сердец, столь очерствевших, чтобы при настойчивости невозможно было их исправить; а немного крови, пролитой с достаточным основанием, обеспечивает нам спокойствие и благополучие. В ваше время карательные законы целиком были составлены в пользу богатых и обрушивались на голову бедняка. Золото стало всеобщим кумиром. Собственность была окружена законами, виселицами, и тирания с мечом в руке владычествовала над жизнью, потом и кровью бедняка; она не делала разницы в мере преступления, ибо малейшее нарушение закона каралось так же, как тягчайшее злодеяние. К чему это привело? Чем больше писалось законов, тем больше становилось преступлений, и нарушители сделались столь же жестокими, как и их судьи. Так, в своем стремлении уравнять членов общества законодатели до того натягивали узду, что довели их до судорог. Вместо того чтобы сдерживать, узда эта стала орудием истязания, и человечество, опечалившись, стало испускать горестные крики, слишком поздно уразумев, что пытки палачей никогда никого не способны научить добродетели.**

---

* Гнусный, достойный презрения предрассудок, смешивающий все понятия о справедливости, противоречащий разуму, достойный лишь злобного или глупого народа!

** Если мы начнем размышлять над тем, насколько обосновано право карать людей смертью, которое присвоило себе человеческое общество, мы испугаемся,

Глава семнадцатая,

не столь отдаленная от нас, как это кажется

Долго беседовали мы на эту важную тему; но так как сей вопрос глубоко трогал нас и мы, разгорячившись, уже готовы были впасть в ту чрезмерность чувств, при которой человек теряет спокойствие, необходимое для трезвых мыслей, я внезапно прервал наш разговор, переведя его, как вы увидите далее, на другой предмет.

— Скажите, пожалуйста, — спросил я, — кто нынче торжествует победу — молинисты или янсенисты? [1] — На этот вопрос мой ученый собеседник отозвался громким смехом. Никакого другого ответа я от него не дождался. — Ответьте же мне, сделайте милость, — сказал я. — Вот тут прежде обретались капуцины, здесь кордельеры, а там дальше — кармелиты; [2] что сталось со всеми этими пустосвятами, с их сандалиями, бородами и бичами?

— Мы ныне уже не откармливаем за счет государства толпу болванов, изнывающих от скуки и наводящих ее на других, тех самых, что давали дурацкий обет никогда не быть мужчинами [3] и порывали с теми, кто ими оставался. Впрочем, мы пришли к выводу, что они скорее достойны были жалости, нежели осуждения. В самом нежном возрасте их заставляли вступать на поприще, о котором они не имели понятия,[4] так что виноваты были те законы, что позволяли этим детям располагать собственной свободой, всей ценности которой они неспособны были еще постигнуть. Эти отшельники, чье уединенное обиталище торжественно возвышалось посреди городской суеты, постепенно начали понимать все прелести жизни в обществе и мало-помалу стали приобщаться к ней. Наблюдая живущих в согласии братьев, счастливых отцов, мирные семьи, они стали сожалеть о том, что подобное счастье им недоступно; они при-

---

сколь незаметна черта, отделяющая правосудие от несправедливости. И сколько бы тогда ни приводилось доводов, все эти рассуждения лишь еще больше сбивают с толку. Надобно вернуться к единственному естественному закону, который куда более, чем все наши установления, чтит жизнь каждого человека, — к закону возмездия, ибо он наиболее сообразен с велениями разума. В тех только складывающихся государствах, что еще близки к природе, почти нет преступлений, караемых смертью. В случае убийства смертная казнь не вызывает сомнений, ибо защищаться от убийц нас призывает сама природа; но когда речь идет о краже, в полной мере выступает вся жестокость подобной кары, ибо это непомерное наказание за пустяшную вину, и мнение какого-то одного миллиона людей, поклоняющихся золоту, не может сделать значительным то, что ничтожно по своему существу. Вы скажете, что между мною и вором существует договор, согласно которому он согласился принять смерть, если украдет то, что мне принадлежит; но никто не правомочен заключать подобный договор, ибо он несправедлив, жесток и неразумен; несправедлив, потому что никто не имеет права распоряжаться своей жизнью; жесток, потому что заключен не на равных условиях; неразумен, потому что гораздо целесообразнее, чтобы остались жить два человека, чем чтобы лишь один из них пользовался исключительными или избыточными благами жизни.

Замечание это извлечено из превосходного романа под названием «Векфилдский священник».[5]

нялись втайне вздыхать, вспоминая о роковой минуте, заставившей их отречься от радостей жизни, и, проклиная друг друга, словно каторжники, закованные в цепи,* призывали тот час, когда откроются перед ними двери их тюрьмы. И этот час пробил: цепи спали с них сами собой, без всяких усилий, ибо для этого настал срок. Так спелый плод отрывается от ветки, стоит лишь слегка встряхнуть дерево.** Толпами стали они выходить из монастырей, веселые, довольные, и из рабов вновь становились людьми. Эти дюжие монахи,*** казалось, воплощавшие в себе здоровый дух молодости мира, с румянцем во всю щеку, с лицами, сияющими любовью и радостью, взяли себе в жены тех воркующих голубок, тех чистых дев, что томились под монашеским покрывалом, вздыхая о более сладостной и менее святой жизни. **** Они с примерным рвением выполняли свои супружеские обязанности, и целомудренные их лона производили на свет отпрысков, достойных столь прекрасного брачного союза. И счастливые их мужья, не менее ликующие, чем они, уже не столь рьяно добивались права быть причисленными после смерти к лику святых; они были просто добрыми отцами, добрыми гражданами, но я тем не менее твердо верю, что, оставив этот мир, они попали все же в рай, хоть и не провели ради этого всю свою жизнь в аду. Надобно, правда, сказать, что преобразо-

* Во всех этих монастырях, битком набитых людьми, постоянно идет тайная междоусобная война. Это клубок змей, пожирающих друг друга в темноте. Монах — животное злое и бездушное. Его снедает тщеславное желание выдвинуться в своем кругу; у него достаточно времени, чтобы взлелеять эти честолюбивые замыслы, в честолюбии его есть нечто зловещее. Едва удается ему достигнуть власти, как тотчас же проявляются в нем свойственные ему жестокость и безжалостность.

** В отношении общественного устройства не требуется никакого взрыва. Самые большие перемены, и притом неотвратимые, производят время и разум.

*** Лютер,[5] со столь пылким красноречием метавший молнии против монашеских обетов, утверждал, что выполнять закон воздержания так же мало возможно, как и отречься от своего пола.

**** Какой это жестокий предрассудок — собирать в освященной религией тюрьме так много красивых молодых девушек,[6] таящих в себе все пылкие желания, доступные их полу, которые еще усугубляются постоянным затворничеством и непрекращающейся душевной борьбой. Чтобы понять, какие страдания раздирают сердце такой девушки, надо поставить себя на ее место. Робкая и доверчивая, она была обманута, сбита с толку и в своем восторженном воодушевлении долгое время верила, будто все ее мысли будут всецело поглощены богом и религией. Но в разгар благочестивых молитв природа неожиданно пробуждает в ее сердце незнакомые ей доселе силы, и те властно подчиняют ее себе. Огненные их стрелы истощают ее чувства, она вся пылает в своем уединении; она пытается бороться, но стойкости ее нанесен удар: краснея от стыда, она жаждет любви. Она оглядывается и видит, что она одна, кругом нее непреодолимые преграды, а между тем все ее существо неудержимо влечется к какому-то воображаемому избраннику, которого воспламененное ее воображение наделяет все новыми чарами. С тех пор она не знает ни минуты покоя. Она была рождена, чтобы быть счастливой матерью; ее навечно сделали пленницей и приговорили быть всю жизнь несчастной и бесплодной.[7] И тогда она понимает, что закон обманул ее, что не бог отнял у нее свободу, что религия, которая безвозвратно завладела ею, противна природе и разуму. Но чем могут помочь ей слезы и жалобы? Заглушаемые ее рыдания теряются в тишине ночей. Пылающий яд, что бродит в ее жилах, разрушает ее красоту, отравляет кровь и быстро клонит к могиле. Она мечтает о смерти и сама готовит себе могилу, где обретет, наконец, вечное успокоение.

вания эти в то время весьма поразили римского епископа, но его вскоре заставили заняться собственными делами, и весьма серьезными.

— Кого это вы называете римским епископом? [8]

— Папу, употребляя ваши понятия; но, как я уже говорил, мы изменили многие старинные названия. У нас никто уже не поймет, что такое каноникат, буллы, бенефиции,[9] епископства, приносящие огромные доходы.* Мы уже не целуем туфлю наместнику некоего апостола,[10] которому его учитель являл одни лишь примеры смирения, а поскольку сей апостол и словом, и примером своим проповедовал бедность, мы перестали посылать столь необходимое государству чистейшее золото за индульгенции,[11] на которые сей добрый волшебник отнюдь не скупился. Все это поначалу доставило ему некоторое огорчение, ведь никто не любит терять свои права, даже когда они незаконны; однако спустя какое-то время он уразумел, что настоящее его поприще — это небо, что земные дела — не его забота, словом, что все деньги мира — одна лишь суета сует, как и вообще все, что существует под солнцем. Время, чья невидимая рука незаметно разрушает самые высокие и гордые башни, превратило в развалины и сей величественный и вызывающий изумление памятник человеческого легковерия.** Он рухнул незаметно, не произведя никакого шума; вся сила его зиждилась на общественном мнении; измепилось мнение, и он превратился в дым. Так после грозного пожара видим мы лишь легкий дымок там, где еще недавно бушевало пламя. Ныне этой частью Италии [13] правит государь, действительно способный править, и древний Рим вновь узрел в своих стенах Цезарей. Под этим словом разумею я Титов и Марков Аврелиев,[14] а не чудовищ в человеческом обличьи.[15] Эта прекрасная страна возродилась с тех пор, как очистилась от всей той праздной нечисти, что в ваше время прозябала в нищете. Ныне она заняла свое место среди прочих государств, у нее живое, выразительное лицо, а ведь более семнадцати столетий была она туго стянута свивальником нелепых суеверий, не позволявшим ей ни дышать, ни говорить.

Глава восемнадцатая

ПРОВОДНИКИ МИРА

— Продолжайте же, любезный мой наставник! Так вы, значит, утверждаете, что сей переворот свершился мирным образом и прошел как нельзя более удачно?

---

* Не могу спокойно видеть, как князья церкви, окруженные всей возможной роскошью, презрительно улыбаются, взирая на народные бедствия; и они еще смеют говорить о нравственности и религии в тех пошлых посланиях, что пишутся по их велению слугами церкви, с бесстыжей наглостью пренебрегая в них здравым смыслом.

** У турок непогрешимость муфтия распространяется даже на события истории. В царствование Амурата он ухитрялся объявлять еретиком всякого, кто усомнится в том, что султан пойдет походом на Венгрию.[12]

— Переворот этот свершила философия. Она действует бесшумно, как и природа, и тем более верно, что действует незаметно.

— Но я вынужден задать вам трудный вопрос. Ведь нужна же религия...

— О, разумеется, — горячо ответил он. — Где тот неблагодарный, что останется равнодушным перед лицом чудес творения, под сияющим сводом небес? Мы поклоняемся Верховному существу, но поклонение это не сопряжено более ни с какими смутами, ни с какими распрями. У нас мало священнослужителей; но все они — люди мудрые, просвещенные и терпимые; они не преследуют инакомыслящих и за это еще более любимы и уважаемы. У них одна забота — простирать чистые свои руки к престолу отца всего живого; по примеру преблагого господа, они любят людей. Их поступки, так же как и речи, исполнены мира и согласия. Потому-то, повторяю, они так всеми любимы, а святой прелат относится к остальным пастырям, как к братьям, как к равным себе. Место пастыря предоставляется у нас лишь тем, кто достиг сорока лет, ибо только тогда угасают в нас бурные страсти и разум, столь поздно просыпающийся в человеке, приобретает над ним умиротворяющую власть. Примерное их поведение являет собой самый высокий образец человеческой добродетели. Это они утешают удрученных горем, это они открывают несчастным доброго бога, который, неусыпно охраняя их, взирает на тяжкие их борения, дабы когда-нибудь вознаградить их за все. Они отыскивают тех, кто стыдливо скрывает свою нищету, и оказывают им помощь, не заставляя при этом краснеть от унижения. Они примиряют враждующие умы успокаивающим словом любви. Самые гордые недруги бросаются при них друг к другу в объятия, и вражда исчезает из умиленных их сердец. Словом, они делают все то, что и должны делать люди, берущие на себя смелость говорить именем Предвечного.

— Священники, о которых вы рассказываете, очень мне по душе, — ответил я на это, — но неужто же не сохранилось средь вас людей, занятых только тем, чтобы с утра до вечера гнусавить молитвы, псалмы и песнопения. Разве никто не стремится более прослыть праведником? Как же так? Кого же причисляют ныне к святым? [1]

— К святым? Вы, как видно, имеете в виду тех, кто стремится к высшему совершенству, кто побеждает в себе человеческие слабости? Да, среди нас есть подобные праведники; но они отнюдь не прозябают в одиночестве и безвестности, они не видят заслуги в том, чтобы соблюдать посты, бормотать молитвы на скверной латыни и оставаться немыми и глухими всю свою жизнь; силу и стойкость своей души они проявляют на глазах у всех. Да будет вам известно, что они добровольно берут на себя именно те работы, которые остальным кажутся непосильными или вызывают отвращение; добрые дела и служение людям, полагают они, более, нежели молитва, угодны богу. Надобно ли вычистить колодец, выгребную яму, вывезти нечистоты, выполнить самую грубую, самую неприятную или же опасную работу, например привести в действие насос во время пожара, пробраться по горящим балкам, броситься в воду, чтобы спасти

жизнь несчастному утопающему, и т. п., — эти великодушные мученики ради общественного блага тотчас же горячо отзываются и мужественно берутся за дело, влекомые одной великой и благородной мыслью — быть полезными своим согражданам и уберечь их от страданий. Они считают это своим долгом и эти обязанности выполняют с такой готовностью и радостью, как если бы речь шла о занятиях самых приятных и увлекательных; они все делают ради человечества, ради отчизны и никогда ничего — ради собственной выгоды. Одни неотступно сидят у постели больных, ухаживая за ними, другие, спустившись в каменоломни, выламывают и дробят каменья; то рабочие, то землекопы, то носильщики, они кажутся невольниками, согнувшимися под ярмом тирана. Однако милосердные эти души, служа себе подобным, движимы одним лишь желанием — угодить Всевышнему. Равнодушные к претерпеваемым невзгодам, они надеются, что их вознаградит бог, ибо, отказываясь от радостей жизни, делают это не из ханжества, не из каприза, а ради реальной пользы. Нет нужды говорить, что в течение всей своей жизни, да и после смерти они пользуются глубоким нашим уважением, и поскольку никакое выражение признательности не может быть их достойно, мы предоставляем оплатить сей неоплатный наш долг Преблагому, твердо веря, что один он способен воздать им полной мерой за неоценимые их услуги. Вот каковы те святые, коих мы чтим уже за одно то, что они совершенствуют собой человечество, составляя его гордость. Никаких чудес, кроме тех, о которых я только что рассказал вам, они не совершают. Мученики христианства, без сомнения, имели свои достоинства. Конечно же, это было прекрасно — противостоять тиранам, истязателям душ, предпочесть самую страшную смерть отречению от истины, что постиг сердцем и разумом; но есть ли что благороднее, чем посвятить всю жизнь свою беспрерывному тяжкому труду, быть неустанным благодетелем страждущего, стенающего человечества, осушать слезы плачущим,* останавливать и предотвращать пролитие малейшей капли крови; эти поразительные люди не выставляют свой образ жизни напоказ, предлагая его в качестве примера; они не кичатся своим героизмом, не унижают себя стремлением прославиться и, главное, не осуждают недостатки своих ближних, но все старание употребляют на то, чтобы те с их помощью могли вести более удобную и приятную жизнь. Когда же их благородные души воссоединяются с тем Совершенным существом, чьей эманацией они являются,

* В прошлом веке один советник парламента[2] роздал все свое имущество бедным, и так как у него ничего более не осталось, он повсюду выпрашивал для них подаяния. Однажды он встречает на улице одного откупщика, заговаривает с ним и идет вслед за ним, повторяя: «Помогите моим бедным, помогите им!». Откупщик отказывается, отвечая, как принято отвечать в этих случаях: «Ничем не могу помочь им, сударь, ничем не могу». Советник не отстает от него, уговаривает, настаивает, идет за ним до его особняка, поднимается с ним по лестнице в его дом, снова и снова принимается его умолять и доходит до самого его кабинета, продолжая просить у него для своих бедных. Потеряв терпение, жестокосердный миллионер дал ему пощечину. — «Ну, хорошо, — сказал советник, — это мне; а что дадите вы моим бедным?».

мы не облекаем их трупы в скверный металл,[3] а пишем историю их жизни и пытаемся подражать ей хотя бы в малом.

— Чем дальше, тем больше вижу я разительных перемен!

— Вы увидите немало и других. Да мы просто не поверили бы всему тому, что писалось про ваше время, если бы этого не засвидетельствовали чуть ли не два десятка писателей. Подумать только! Священнослужители были суетны, коварны, нетерпимы; какие-то презренные твари ненавидели и преследовали друг друга на протяжении всего того короткого отрезка времени, который был отпущен им для жизни, лишь по той причине, что придерживались разных мнений о никому не нужных тонкостях и вещах, постигнуть кои невозможно; ничтожные людишки имели наглость пытаться предугадывать замыслы божьи, приноравливая их к ничтожным вожделениям своего тщеславия. Я где-то читал, будто именно те, кто был наименее сострадателен, а следовательно, и наименее благочестив, другим проповедовали милосердие и любовь к богу; будто невероятно увеличилось тогда число людей, носивших рясу — залог привольной и беспечной жизни, и, наконец, будто все они жили в рождающем соблазны безбрачии.* Еще там пишут, будто церкви ваши были похожи на торжище, где одинаково оскорблены бывали и зрение и обоняние, и ваши богослужения скорее предназначались для развлечения, нежели для вознесения молитв... Но я слышу священную трубу, чьи благочестивые звуки возвещают час молитвы. Идемте со мной, познакомьтесь с нашей религией, пойдем в соседний храм и возблагодарим Создателя за счастье видеть, как встает его солнце.

Глава девятнадцатая

ХРАМ

Мы свернули на какую-то улицу, и я увидел красивую площадь, на которой стоял храм, увенчанный великолепным куполом. Здание это имело форму ротонды и поддерживалось рядом колонн. У него было четыре портала, и на фронтоне каждого написано было: «Храм божий». Время успело наложить свою печать на его стены, но это придавало ему лишь большее величие. Подойдя к дверям храма, я с удивлением прочел на них начертанное большими буквами следующее четверостишие:

О Высшем существе напрасны рассужденья.
Воздав ему хвалу, смиренно помолчим.
Его безмерна мощь — и разум наш в смятеньи:
Чтобы постичь его, быть надо им самим.[1]

* Каким позором для государства является эта толпа церковнослужителей, не скрывающих, что для них не существует никаких других женщин, кроме жен их ближних.

— О! На сей раз, — шепотом сказал я своему спутнику, — вы не станете утверждать, будто эти строки написаны в вашем веке.

— Вашему они скорее могут служить укором, — ответил он мне, — ибо вашим богословам надлежало бы следовать этому совету. Но строчки эти, словно исходящие из уст самого бога, остались затерянными среди других стихов, которым вы не придали значения. А между тем, я не знаю строк прекраснее с точки зрения их смысла и полагаю, что здесь им самое место.

Мы пошли вслед за толпой, которая спокойно и скромно вливалась в храм. У всех были сосредоточенные лица. Каждый, войдя, направлялся к стоявшим рядами небольшим скамейкам и садился — мужчины отдельно от женщин. Алтарь помещался в самой середине. Он ничем не был украшен, и каждый мог видеть священника, курившего ладаном. Когда он возглашал слова священного гимна, все присутствовавшие хором их подхватывали. Это негромкое, стройное пение выражало весь благоговейный трепет, что наполнял их сердца; они казались проникнутыми величием божьим. Не было здесь никаких статуй, никаких аллегорических фигур, никаких изображений.* Лишь священное имя бога, множество раз повторенное на нескольких языках, начертано было на всех стенах. Все возвещало здесь единого бога, и всякие ненужные украшения были тщательно отсюда изгнаны: в божьем храме наконец-то царил один только бог.

Когда я поднимал глаза ввысь, взору моему представало открытое небо, ибо купол заканчивался наверху не каменной кладкой, а прозрачными стеклами. Ясное, безмятежное небо говорило о благоволении Творца; покрытое темными тучами, исторгающими потоки дождя, оно заставляло вспомнить о горестях жизни, о том, что земля всего лишь юдоль печали, лишь место изгнания человека. Раскаты грома напоминали, сколь грозен бог, когда он разгневан, а умиротворение, которое разливается в воздухе после сверкания грозовых молний, подсказывало, что мстительную руку можно обезоружить смирением. Если же сверху проникало дыхание весны, донося до молящихся свежий аромат вновь расцветающей жизни, оно внушало им утешительную истину о беспредельности божьего милосердия. Так времена года и явления природы, чей голос столь красноречив для того, кто умеет ему внимать, говорили с этими чувствительными людьми и открывали им властелина природы во всех его проявлениях.**

Не слышно было никаких неподобающих в таком месте звуков. Даже детские голоса не выделялись в этом торжественном, стройном хоре мо-

---

* Протестанты правы. Все эти произведения рук человеческих лишь приучают народ к идолопоклонству. Дабы возвестить присутствие невидимого бога, надобно, чтобы в храме не было ничего, кроме бога.

** Дикарь, что бродит по лесам, созерцая небо и природу, чувствами своими, так сказать, познающий того единственного господина, которого он признает над собою, более религиозен, нежели монах-картезианец,[2] что безвыходно сидит в своей келье и имеет дело лишь с призраками, порожденными его разгоряченным воображением.

лящихся. Никакой мирской, никакой развлекательной музыки.[3] Звуки органа (игравшего отнюдь не громко) сопровождали пение этого огромного, многолюдного собрания, и казалось, будто это голоса небожителей, присоединившиеся к общему молению. Никакой грубый привратник, никакой докучливый собиратель пожертвований не нарушал молитвенной сосредоточенности собравшихся здесь людей. Все были охвачены глубоким, благоговейным трепетом; многие были простерты ниц. И средь этой тишины, этого всеобщего молитвенного экстаза я вдруг почувствовал какой-то священный ужас — мне показалось, будто сам бог сошел сюда, в этот храм, и незримо присутствует среди нас.

У дверей стояли кружки для пожертвований, но расположены они были в неосвещенных проходах. Люди эти умели творить добро так, чтобы никто этого не замечал. Словом, во время богослужения здесь благоговейно хранили тишину, и оттого святость сего места, сочетаемая с мыслью о Верховном существе, производила на все сердца глубокое и благотворное действие.

Проповедь, с которой священник обратился к своей пастве, была проста, естественна и убеждала более своим содержанием, нежели красотами стиля. О боге он говорил, дабы внушить любовь к нему; о людях — дабы призвать к человеколюбию, к доброте, к терпению. Он не старался обращаться к рассудку там, где надобно заставить говорить сердце. Это был отец, беседовавший с детьми своими о том пути, который им следует избрать. И слова его тем более убеждали, что эти поучения исходили из уст безупречно честного человека. Я не скучал, слушая его проповедь, ибо в ней не было ни высокопарных слов, ни пространных описаний, ни изысканных риторических фигур, а главное — не было тех набранных из разных поэтов цитат, от которых проза обычно становится только холоднее.*

— Вот таким образом, — сказал мне мой вожатый, — принято у нас каждое утро собираться на публичную молитву. Она длится час, а в остальное время дня двери этого здания закрыты. У нас нет религиозных праздников, но есть праздники гражданские, которые позволяют народу отдохнуть от трудов, не впадая в распутство. Ни одного дня не должен человек оставаться праздным:[4] следуя за природой, которая никогда не останавливается в своей деятельности, он должен чувствовать себя виноватым, если прекращает свою. Отдых — это отнюдь не праздность. Бездействие есть реальный вред, причиняемый отчизне, и прекращение ра-

---

* Главное, что не нравится мне в наших проповедниках, — это то, что у них нет никаких четких и постоянных принципов в отношении нравственности. Свои идеи они черпают не из собственного сердца, а из того текста Священного писания, который служит им темой проповеди: сегодня они разумны и умеренны; назавтра сумасбродны и нетерпимы. Они произносят слова — и только; им нет дела до того, что слова эти противоречат друг другу, лишь бы были выполнены все три условия канонического построения проповеди. Я слышал одного проповедника, который заимствовал свои мысли из «Энциклопедии» и при этом метал громы против энциклопедистов.

боты в сущности означает смерть. Время молитвы у нас строго определено; его вполне достаточно, чтобы вознести свое сердце к богу. Долгие богослужения лишь рождают отвращение и равнодушие. Никакие тайные проповеди не имеют столь благотворного действия, как те, в коих ревностная вера проявляется всенародно. Послушайте же слова молитвы, которая принята у нас, — произнося их, каждый размышляет над ними:

«Единственный и предвечный! Разумный творец сей обширной вселенной! Ты по доброте своей дозволил человеку созерцать ее; ты наградил сие слабое создание бесценным даром — размышлять о великом и прекрасном творении своем. Так не дай же ему, подобно дикому животному, пройти по земле, не осознав твое всемогущество и мудрость твою. Мы восхищаемся великими твоими творениями; мы благословляем царственную твою руку! Мы любим тебя как господина, но любим и как отца всего сущего. Да, ты так же добр, как и велик. Все говорит нам об этом, и прежде всего — наше сердце. Пусть всяк воздаст тебе честь по-своему, в меру нежности и пылкости своего сердца; мы никому не ставим преград в выражении любви к тебе. Ты говоришь с нами не иначе как торжественным голосом природы. Наш обряд состоит в одном — мы поклоняемся тебе, благословляем имя твое и взываем к тебе, сетуя на то, что мы слабы, ничтожны, слепы и нуждаемся в твоей поддержке.

Если мы заблуждаемся и какой-либо другой, древний или новый обряд более угоден тебе, нежели наш, благоволи открыть нам глаза, просвети наш разум: мы будем послушны твоим велениям. Но если тебе довольно тех слабых знаков преданности, кои мы воздаем тебе за величие дел твоих и за поистине отцовскую заботу твою о нас, ниспошли нам твердость духа, дабы мы неколебимы были в чувствах благоговения, что одушевляет нас. Охранитель рода человеческого! Ты, объемлющий его весь единым взглядом, сделай так, чтобы чувство милосердия воцарилось в сердцах всех обитателей сей земли, чтобы они возлюбили друг друга, как братья, и вознесли к тебе хвалебное песнопение — выражение любви и благодарности! Мы не смеем в наших молитвах ставить пределы отпущенной нам жизни. Покинем ли мы сию землю, или пребудем на ней долее, нам не скрыться от глаз твоих. Об одном лишь мы молим тебя: ниспошли нам силы, дабы поступки наши соответствовали неведомой нам воле твоей. Мы покорны, безропотны и послушны твоим велениям, но после смерти — легкой ли, трудной ли будет наша кончина — будь милосерден, допусти нас к себе, о вечный источник благодати. Сердца наши жаждут приникнуть к тебе. Да покинем мы сию смертную нашу оболочку, да приникнем к лону твоему. Мы судим о величии твоем по тому, что видим; мы хотели бы увидеть больше. Слишком много сделал ты для человека, чтобы мысли его не обрели смелости; потому-то и возносит он к тебе столь пламенные мольбы, что он — творение твое и чувствует себя рожденным для твоих благодеяний».

— Но, сударь, — сказал я ему, — позвольте мне вам сказать, ваша религия немного напоминает ту, которую исповедовали ветхозаветные

патриархи,[5] кои чтили бога и возносили ему молитвы на вершинах гор.

— Вот именно; вы совершенно правы. Наша религия — это религия Еноха, Илии, Адама. Она-то по крайней мере самая древняя из всех. С религией ведь дело обстоит так же, как и с законом: чем проще, тем лучше. Нужно поклоняться богу, уважать своего ближнего, прислушиваться к своей совести, этому судье, который всегда бодрствует внутри нас, и никогда не заглушать в себе этот тайный небесный голос — все прочее лишь лицемерие, ложь и обман. Наши священники не утверждают, что их в отличие от прочих вдохновляет бог; они объявляют себя равными нам; они честно признаются, что, как и мы, блуждают в потемках; они лишь идут за той светящейся точкой, которую соблаговолил указать нам господь, и указывают на нее братьям своим, отнюдь не повелевая ими и не ставя себя выше их. Нравственная чистота и отсутствие нелепых доктрин — вот верное средство против безбожия, фанатизма и суеверия. Мы нашли его, это средство, и возносим благодарность тому, кто является творцом всего благого.

— Вы поклоняетесь богу, но допускаете ли вы бессмертие души? Что думаете вы о сей великой и непознанной тайне? Все философы тщились проникнуть в нее. И мудрец, и безумец сказали о ней свое слово. Самые разнообразные, самые поэтические теории возводились по поводу сего пресловутого предмета. Особенно, кажется, воспламенил он воображение законодателей. Что думаете об этом вы?

— Достаточно иметь глаза для того, чтобы любить бога, — отвечал он мне, — достаточно заглянуть в самого себя, и мы убедимся, что есть в нас нечто, что живет, чувствует, мыслит, желает, принимает решения. Мы полагаем, что душа наша отлична от материи, что она разумна по самой природе своей. Мы мало философствуем на сей счет: мы предпочитаем попросту верить во все то, что возвышает человеческую природу. Милее всех теорий нам та, что наиболее возвеличивает человека, и мы не в состоянии поверить, чтобы идеи, прославляющие создание божье, могли быть ложны. Принять наиболее возвеличивающую человека точку зрения — не значит заблуждаться, это значит попасть в настоящую цель. Неверие — не более как слабость, и смелость мысли составляет веру существа разумного. Зачем должны мы прозябать в ничтожестве, в то время как чувствуем крылья, способные вознести нас к богу, и ничто не противоречит этой благородной смелости? Если вообразить, что мы заблуждаемся, это означало бы, что человек придумал более совершенный порядок вещей, нежели существующий, и, следовательно, могущество Всевышнего — чуть было не сказал: доброта его — имеет предел. Мы полагаем, что все души равны по сути своей, но различны по своим качествам. Душа человека и душа животного в равной степени нематериальны, но первая на шаг больше, нежели вторая, приблизилась к совершенству; таково теперешнее ее состояние, хотя оно и изменяемо. Еще мы полагаем, что все звезды и все планеты обитаемы, но ничто из того, что мы видим, что мы предполагаем на одной планете, не повторяется на другой. Это беспредельное богатство, эта бесконечная цепь разнообразных миров,[6]

этот лучезарный круг планет, должно быть, входил в обширный план мироздания. Так вот, нам кажется, что эти солнца, эти столь прекрасные, столь великие, столь непохожие друг на друга миры все приуготовлены были для человека: они пересекаются, они согласуются между собой и все подчинены один другому. Человеческая душа поднимается во все эти миры, постепенно восходя к ним словно по лучезарной лестнице, с каждой ступенью приближающей ее к высшему совершенству. В этом своем путешествии она ничего не забывает из того, что узрела и что постигла прежде: она сберегает запас своих знаний — ценнейшее из своих сокровищ — и повсюду носит его с собой. Устремившись к какому-либо великому открытию, душа эта минует миры, населенные теми, кто остался ступенью ниже: она поднимается ввысь посредством обретенных представлений и навыков. Душа Ньютона собственным усердием своим вознеслась к тем мирам, чье тяготение он измерил. Неверно было бы полагать, будто могучий сей гений погасило дыхание смерти. Подобная гибель была бы еще более прискорбна и более непостижима, нежели гибель материальной вселенной. Нелепо также утверждать, будто она может быть уравнена с душой человека невежественного или глупого. В самом деле, зачем было бы человеку совершенствовать свою душу, когда б не надобно было ей стремиться ввысь — путем ли размышлений, или упражнения своих талантов; какой-то внутренний голос, не внемля никаким возражениям, нашептывает ему: «Напряги все свои способности, презри смерть; от тебя одной зависит победить ее и продолжить свою жизнь, жизнь же твоя — мысль». Что же до душ низменных, погрязших в тине преступления или лености, то они возвращаются к отправной своей точке или спускаются еще ниже. И надолго прикованы они к унылым берегам бездуховности и, склоняясь к вещественному, являют собой породу косных и грубых людей; и в то время как души возвышенные устремляются к божественному немеркнущему свету, эти души погружаются во мрак, где едва брезжит им слабый луч бытия. Иной монарх после своей смерти превращается в крота, иной министр — в ядовитую змею, прозябающую в смрадных болотах; между тем как сочинитель, которого он презирал, а вернее сказать, и знать не хотел, обрел славное место средь умов, любезных человечеству. Еще Пифагор заметил сие равенство душ; он понял их переселение из одного тела в другое,[7] но у него души вращались по одной и той же орбите, никогда не выходя за пределы своей планеты. Наш метемпсихоз более обоснован доводами разума и более возвышен, нежели прежний. Смерть открывает великодушным умам, кои в своем поведении руководствуются мыслию о благоденствии своих ближних, сияющий путь славы. Что думаете вы обо всем этом?

— Я восхищен вашей системой. Она не противоречит ни всемогуществу, ни благости Творца. И поступательное движение, и восхождение в различные миры, кои суть дело рук его, и созерцание других планет — все, мнится мне, соответствует величию властителя, предоставляющего свои владения взору тех, кто рожден их созерцать.

— Да, брат мой, — продолжал он восторженным голосом, — какой за-

хватывающий интерес являют собой эти вновь открытые светила, эти души, которые, встречая на своем пути миллионы доселе неведомых им явлений, все более обогащаются и, беспрерывно совершенствуясь, становятся все возвышеннее по мере того, как приближаются к Верховному существу, все полнее познавая его, любя его все более сознательной любовью, все более погружаясь в океан его величия. Возрадуйся, о человек! Ты можешь развиваться не иначе как переходя от одних чудес к другим; всегда ждет тебя впереди какое-нибудь дивное зрелище; великая надежда питает тебя — тебе предстоит обозреть и познать всю безграничную природу, прежде чем слиться с богом, ее сотворившим.

— Но что же станется со злодеями? — вскричал я. — Что ждет тех, кто нарушал закон природы, кто закрывал свое сердце состраданию, кто казнил невинных, кто, царствуя, помышлял лишь о себе? Мне чужды ненависть и мщение, но я собственными руками создал бы ад для тех жестоких душ, что заставляли кровь мою кипеть от негодования при виде страданий, на которые обрекали они слабого и достойного.

— Мы сами еще слишком слабы и слишком подвластны страстям, чтобы предсказывать, какой каре угодно будет господу их подвергнуть; но нет сомнений — злодей почувствует тяжелую руку правосудия. Прочь с глаз его всяк, кто коварен, кто жесток, кто равнодушен к страданиям ближнего своего! Никогда душе Сократа или Марка Аврелия не встретится душа Нерона: бесконечное расстояние всегда будет разделять их. Только это смеем мы утверждать. Но не нам устанавливать тяжесть гирь, что уравновесят чаши весов вечности. Мы верим, что те, кто при всех своих проступках все же не окончательно утратил способность понимать людей, чье сердце не вовсе очерствело, и даже короли, не мнившие себя богами, смогут очиститься от своей вины, в течение долгих лет совершенствуя свою природу... Они опустятся на планеты, где физическое страдание послужит им благодетельным бичом, под ударами которого они почувствуют свою слабость, потребность в милосердии — и позабудут о своей гордыне. Если они смирятся под карающей их рукой, если под воздействием разума научатся подчиняться, если уразумеют, как далеко им до того состояния, которого могли бы они достигнуть, если станут прилагать некоторые усилия к тому, чтобы его обрести, тогда срок их странствия будет бесконечно сокращен; они умрут во цвете лет; их станут оплакивать; а они, радуясь, что расстаются с этим печальным краем, будут скорбеть о тех, кому суждено еще оставаться после них на мрачной планете, которую они покидают. Таким образом, тот, кто страшится смерти, не знает, чего страшится. Этот страх есть плод его невежества, и невежество это — первая кара за его преступления.

Может случиться и так, что у наиболее виновных будет отнято драгоценное чувство свободы. Их не станут уничтожать, ибо идея небытия внушает нам отвращение; нет небытия перед лицом созидающего, охраняющего бога, всем воздающего по их заслугам. Пусть не надеются злодеи, что они смогут укрыться в небытии; всюду будет следить за ними

всевластное, недреманное, непогрешимое око. Вновь и вновь будут они ввергаться в рабство и страдание. Но один только бог знает час их кары или прощения.

Глава двадцатая

ПРЕЛАТ

— А вот вам и живой святой. Это вон тот человек в простом лиловом одеянии, что идет, опираясь на палку. Этот человек, в походке и взгляде которого нет ни кичливости, ни притворной скромности, — наш прелат.

— Как? Он ходит пешком?

— Да, по примеру первого из апостолов.[1] Правда, ему не так давно подарили носилки, но пользуется он ими лишь при крайней необходимости. Свои доходы он тратит почти целиком на помощь бедным; оказывая благодеяние бедняку, он не осведомляется предварительно, каких догматов тот придерживается; он помогает каждому, кто несчастен, ему достаточно того, что это — человек. Он чужд упрямства, он не требует подчинения, он не фанатик, не гонитель. Взгляд его всегда ясен, ибо отражает добрую, умиротворенную душу человека, не знающего иной страсти, кроме страсти делать добро. Он часто говорит тем, кого встречает: «Друзья мои, милосердие, как учит святой Павел, должно предшествовать вере. Помогайте ближним своим, этим вы исполните закон божий. Укажите ближнему на его заблуждения, но без высокомерия, без злобы. Никого не преследуйте за его верования и бойтесь мнить себя в глубине души вашей лучше того, кто согрешил, ибо завтра, быть может, вы будете более грешны, нежели он. Поучайте только собственным примером. Не объявляйте врагом вашим всякого, кто мыслит иначе, чем вы. Фанатизм в жестокой своей нетерпимости уже причинил слишком много зла, надо опасаться его и не допускать даже малейших его проявлений. Первоначально чудовище это льстит человеческой гордыне и словно возвышает душу того, кто поддался ему; но очень скоро оно начинает пускать в ход хитрость, коварство, жестокость, попирает добродетели и становится самым страшным бичом человечества».

— А кто, скажите, — спросил я, — тот почтенный на вид человек, что остановил его и дружески с ним беседует?

— Это один из достойнейших людей страны, глава Сената. Он ведет нашего патриарха к себе в дом, чтобы вместе с ним пообедать. Во время их скромной, короткой трапезы они будут беседовать о бедняке, о вдовице, о сироте и о мерах, могущих облегчить их страдания. Именно это является предметом их общей заботы и их усердия; никогда не предаются они бессмысленным спорам о тех восходящих к далекой древности смехотворных прерогативах, которыми, словно дети, тешились почтенные люди вашего века.

Глава двадцать первая

ПРИЧАЩЕНИЕ ТАЙН ДВУХ БЕСКОНЕЧНЫХ МИРОВ

— Но что это там за юноша, окруженный сочувственной толпой? Сколько ликования в каждом его движении! Как светится его чело! Что у него за радость? Откуда он идет?

— Этот юноша только что причастился, — с серьезным видом ответил мне мой вожатый. — У нас немного обрядов, но есть один, соответствующий тому, который у вас назывался первым причастием. Мы очень пристально следим за каждым молодым человеком, внимательно присматриваясь к его вкусам, его характеру, его поведению. И едва замечаем, что он ищет уединенных уголков и предается там размышлениям, что он подъемлет растроганный взор свой к небесному своду и в немом восторге созерцает голубую завесу небес, словно ожидая, что она сейчас раскроется перед ним, мы понимаем, что медлить больше нельзя; это значит, что разум юноши созрел и он уже способен воспринять картину чудес творения. Тогда мы выбираем такую ночь, когда небо безоблачно и на нем видны все звезды в полном их блеске. Юношу вместе с его родителями и друзьями приводят в нашу обсерваторию. И тут мы внезапно приближаем к его глазам телескоп * и заставляем проплыть перед его взором Марс, Сатурн, Юпитер, все эти небесные тела, в строгом порядке движущиеся в пространстве: мы, так сказать, открываем ему бездну бесконечного. Все эти сверкающие светила чредой проходят перед изумленными его очами. И тогда какой-нибудь почтенный пастырь говорит ему внушительным и торжественным голосом: «Юноша! Ты видишь пред собою бога вселенной, явившегося тебе среди творений своих. Возлюби Создателя, чей блеск и величие запечатлены на поверхности послушных его законам светил. Созерцая все эти чудеса, им содеянные, ты постигнешь, сколь щедро может он вознаградить сердце, что вознесется к нему.** Помни, что среди величественных творений божьих че-

---

* Телескоп являет собой нравственное оружие, подрывающее основы всякого суеверия, изгоняющее призраки, что внушали страх людскому роду. Наш разум сильно расширился соразмерно тому бесконечному пространству, которое открыл он нашим глазам.

** Монтескье где-то говорит,[1] что картины ада мы рисуем во всех подробностях, но когда речь заходит о вечном блаженстве, не знаешь, что и обещать достойным его людям. Подобная мысль — заблуждение сего выдающегося ума, который склонен был иной раз и ошибаться. Пусть каждый, кто способен чувствовать, призадумается о том, как много живых и тонких наслаждений дарит ему разум; насколько превосходят они те, коими обязан он чувственности. Да и самое наше тело — что такое оно без души? Как часто погружаемся мы в некую сладостную летаргию, предоставив возбужденному нашему воображению витать, где ему вздумается, принося нам разнообразные утонченные услады, столь непохожие на материальные удовольствия. Почему бы всемогущему Создателю не продлить, не углубить блаженное это состояние? Восторг, что наполняет душу человека добродетельного, размышляющего о возвышенном, не есть ли предчувствие тех радостей, что ожидают его, когда он беспрепятственно сможет созерцать все обширное мироздание в целом?

ловек, наделенный способностью видеть и понимать их, занимает первое место и, будучи детищем бога, должен быть достойным сего высокого звания!».

Вслед за тем картина меняется: приносят микроскоп, и юноше открывается новый мир, еще более дивный, более удивительный, нежели первый. Эти впервые представшие его глазам живые точки, которые в непостижимой малости своей движутся и наделены такими же точно органами, что и колоссы земли, являют ему еще одну примету мудрости Творца.

И пастырь продолжает свою речь:

«Слабые создания, предназначенные жить меж двух бесконечных миров, чувствующие со всех сторон свою подвластность величью божьему, возблагодарим же в молчании ту руку, что, воспламенив такое множество светил, вложила жизнь и чувствования также и в тела бесконечно малые. Нет сомнения, что глаза, предусмотревшие тончайшее строение сердца, нервов и жил мельчайшей твари, способны проникнуть в самые глубокие тайники человеческого сердца. Нет такой затаенной мысли, которая могла бы остаться скрытой от всепроникающего этого взгляда, для коего нет разницы между Млечным путем и хоботком мухи. Пусть же все мысли наши будут достойны бога, видящего их возникновение и следящего за их течением. Сколько раз на протяжении дня может душа устремляться к богу, ища силы в лоне его! Увы! Славить имя его и возносить ему мысленно благодарственные молитвы — это лучшее, на что можем мы употребить свою жизнь!».[2]

Юноша взволнован, поражен, он находится под двумя этими впечатлениями, полученными почти одновременно, он плачет от восторга, он не может насытить пылкую свою любознательность, все более разгорающуюся по мере того, как перед ним открывается на каждом шагу в обоих мирах нечто новое. Слова его полны восхищения, это нескончаемый гимн Создателю. Сердце его учащенно бьется от изумления и священного трепета. Понимаете ли вы, как пламенно, как искренне поклоняется он в эти минуты творцу всего живого? Как чувствует всем существом своим его присутствие? Как расширяет, как возвеличивает телескоп все его мысли, делая их достойными обитателя этой удивительной вселенной! Чуждым становятся ему земное тщеславие и те мелкие распри, кои оно порождает; нежная любовь ко всем людям охватывает его, ибо всех людей одинаково одушевляет дыхание жизни. Он ощущает свою кровную связь со всем тем, к чему прикоснулась рука Творца.* Отныне единственное его стремление — бесконечно черпать из этой небесной сокровищницы чудес. Он чувствует себя менее ничтожным после того, как ему посчастливилось лицезреть сии великие творения. Он говорит себе: «Бог явил мне себя. Я видел Сатурн, Сириус, созвездия Млечного пути.

* Кто-то вздумал высмеивать одного святого,[3] который говорил: «Пасись, агнец, брат мой, прыгайте от радости, рыбки, сестры мои». Святой этот стоил большего, нежели его собратья; он был истинным философом.

Я чувствую себя выше с тех пор, как бог соблаговолил протянуть некую нить между своим величием и моим ничтожеством. О, как же я счастлив, что мне дарованы жизнь и разум! Какое блаженство ожидает человека добродетельного! О великий боже, сделай так, чтобы я вечно тебе поклонялся, вечно тебя любил!». Несколько раз возвращается он в обсерваторию, стремясь сильнее проникнуться высокими этими чувствами. И с этого дня его причисляют к мыслящим существам; однако все, что открылось ему, он держит в строгой тайне, дабы оставить до времени в неведении тех, кто по возрасту еще неспособен познать все эти чудеса. Сколь поучительное зрелище — эти толпы любящих бога людей, что собираются в день восхваления Создателя на башне обсерватории; преклонив колени, припав к телескопам, мысленно предавшись молитве, они устремляют свои глаза и души к тому, кто сотворил сии дивные чудеса.* В этот день у нас поются особые гимны, сочиненные на понятном всем языке лучшими писателями нации; гимны эти знает у нас каждый, в них воспевается мудрость и милосердие божьи. Нам кажется непостижимым, как мог целый народ обращаться к богу на языке, которого не понимал;[4] народ этот либо был очень глуп, либо его толкал на это пагубный фанатизм. Случается, что такой юноша, поддавшись благоговейному порыву, высказывает перед собранием чувства, которые переполняют его сердце,** и тогда восторг его передается всем, даже самым холодным сердцам. Пламенной любовью проникнуто каждое их слово. И кажется тогда, будто сам Предвечный спустился к нам и внимательно слушает детей своих, превозносящих его священные деяния и высокое его милосердие. В эти радостные дни наши физики, наши астрономы спешат объявить нам о своих замечательных открытиях; провозвестники бога, они заставляют нас постигать его в предметах, что кажутся нам неодушевленными: все проникнуто богом, — говорят они нам, — бог во всем обнаруживает себя.*** Поэтому мы сомневаемся, чтобы во всем нашем королевстве нашелся хотя бы один атеист.**** Не то чтобы кто-нибудь страшился обнару-

* Если бы завтра перст Предвечного начертал на небе огненными письменами: «Смертные, преклонитесь перед богом вашим!», — кто не упал бы на колени, кто не преклонился бы перед ним? Так неужто же, безрассудный смертный, тебе надобно, чтобы при этом бог изъяснялся с тобой на французском, китайском или арабском языке? Что такое бесчисленные звезды, рассеянные в пространстве, как не священные письмена, внятные каждому и зримо возвещающие о боге, который обнаруживает себя в них.

** Если юноша одержим какой-либо благородной идеей, пусть даже опасной или ложной, лучше не разубеждать его: оставьте его в покое, он исправится и без вас; желая помочь ему, вы рискуете убить его душу.

*** У древних поклонение божеству выражалось в празднествах, плясках и пирах, и во всем этом мало было исповедания веры, божество не было для них неким таинственным существом, мечущим молнии: оно являло им себя, оно удостаивало их своего общения. Они полагали, что лучше воздавать ему честь празднествами, нежели печалью и слезами. Законодатель, хорошо знакомый с сердцем человеческим, всегда будет вести его к добродетели дорогой радостей.

**** Это атеист должен доказывать, что понятие бога противоречит логике и существование его невозможно: представлять свои доводы надлежит тому, кто отрицает.

жить свое неверие; подобного человека мы сочли бы достойным жалости, и единственным наказанием ему был бы позор; мы просто изгнали бы из своей среды того, кто бы осмелился открыто выказывать себя врагом столь осязаемой, спасительной и утешительной правды.* Однако мы прежде заставили бы его прилежно изучать на опытах физику; невозможно представить себе, чтобы он после этого мог оспаривать те очевидные доводы, которые откроются ему в ходе углубленного изучения сей науки. Она сумела обнаружить такие удивительные связи между явлениями, связи, столь отдаленные и оказавшиеся столь простыми, с тех пор как мы их познали; она является кладезем такого множества чудес, прежде безвестно покоившихся в ее лоне, а ныне доступных каждому; наконец, природа так изучена ею в малейших своих элементах, что на того, кто попытался бы отрицать существование разумного творца,** стали бы смотреть не только как на безумца, но и как на существо порочное, и вся нация в этом случае облачилась бы в траур в знак глубокой своей скорби. Никто в нашем городе, благодарение богу, не страдает презренной манией бахвалиться нелепыми суждениями, противоречащими всеобщему мнению людей, а потому в этом важном вопросе все мы единодушны; теперь вам нетрудно будет понять,*** что высокие принципы нравственности сами собой вытекают из сей неколебимой основы. В ваш век полагали, будто невозможно дать народу религию, основанную на одном разуме; это было серьезной ошибкой. Некоторые ваши философы оскорбляли человеческую природу этим ложным суждением. А между тем не так трудно постигнуть идею бога, свободную от всякой оскверняющей ее примеси. Полезно повторить это снова: «Бога постигают душой». Неужели ложь более присуща человеку, нежели правда? Вам достаточно было изгнать лицемеров, торговавших священными понятиями и притязавших быть посредниками между богом и человеком; люди эти насаждали предрассудки еще более подлые, чем те деньги, которые за это получали. Но в конце концов идолопоклонство, это чудовищное порождение древности, дружно поддержанное художниками, скульпторами и поэтами ради слепоты и несчастья человечества, пало под победоносными нашими ударами. Существование извечного единого бога, Разумного существа — вот основа нашей религии. Вселенной нужно одно только солнце. Нужна лишь одна животворная идея, чтобы просветить человеческий разум. Все эти ненужные, искусственные подпорки, которые стремились подставлять разуму, лишь губили его; порой (не будем этого отрицать) они давали ему силу, которую иной раз неспо-

* Когда мне говорят о тех китайских мандаринах,[5] которые, будучи атеистами, проповедовали высокие нравственные начала и целиком посвящали себя общественному благу, я не пытаюсь опровергать историю; но это представляется мне чем-то совершенно невероятным.

** Ощущение присутствия — у всех и у каждого в отдельности — милосердного и щедрого бога возвышает для нас природу и наполняет все вокруг чем-то живым и одухотворенным; этого не в силах сделать лишенное надежды безверие.

*** «Я страшусь бога, — говорил некто, — а после бога страшусь лишь того, кто не страшится его».

собно придать лицезрение голой истины; но то было словно опьянение, которое становилось опасным. Религиозный дух породил фанатизм; появилось желание предписывать — кому надлежит поклоняться, это оскорбляло самую прекрасную привилегию свободы человека и привело к справедливому возмущению. Нам отвратительна такого рода тирания, мы ничего не требуем от бесчувственного сердца; но найдется ли сердце, способное отринуть те трогательные и светлые чувствования, которые предлагают ему для его же счастья. Клеветать на разум, представляя его в виде неверного и обманчивого вожатого, — значит оскорблять Бесконечно-совершенное существо. Всем этим искусственным религиям, выдуманным священниками, мы противопоставляем божественный Закон, одинаково внятный во всех концах земли. То, что религии эти ложны, доказывается пагубными последствиями, к коим они ведут; это башня, которая кренится набок и которую постоянно надобно подпирать. Естественная религия — это здание незыблемое: * не раздоры несет она, а мир и равенство. Обманщики, осмеливавшиеся вещать от имени бога, делая его глашатаем собственных страстей, самые черные поступки выдавали за добродетели; но, прославляя жестокосердного бога, эти жалкие люди склоняли к неверию чувствительные сердца, которые предпочитали отвратиться от мстительного бога, нежели являть его миру столь устрашающим.** Мы, напротив, устремляем сердца наши к благости Творца, столь явно обнаруживающейся во всем. Земные призраки, преходящие невзгоды, одолевающие нас в этом мире, страдания, смерть — нам не страшны: все это, конечно, необходимо, все это ниспосылается нам для нашей пользы, ради наивысшего нашего блаженства. Знаниям нашим положен предел. Не можем мы знать того, что ведомо богу. Пусть даже исчезнет вселенная! Какие бы ни произошли в ней перемены, мы всегда окажемся в лоне божьем.

---

* Естественная религия — такая простая и чистая — говорит на языке, внятном всем народам; она понятна всякому чувствующему существу; она не окружена призраками и тайнами; она — вечно живая; неизгладимыми письменами запечатлена она в сердце каждого; велениям ее не угрожают ни перемены, претерпеваемые землей, ни ущерб, что наносит время, ни причуды, свойственные тем или иным вероучениям. Всякий добродетельный человек является ее священнослужителем. Она направлена против заблуждений и пороков. Вселенная — вот храм ее, Творец — единственное божество, коему возносятся молитвы. Это говорилось уже множество раз,[6] но полезно повторить. Да, единственная религия, в коей нуждается человек, — это нравственность; он религиозен, если разумен; он добродетелен, если приносит пользу другим. Заглядывая в глубины своего сердца, всякий человек узнает, что должен делать он для себя самого и что должен делать для других.

** Подавляя людей постоянным страхом, затемняя их разум, бо́льшая часть законодателей делала их рабами, льстя себя надеждой, что вечно будет держать их под ярмом. Христианское представление об аде есть бесспорно кощунство, оскорбляющее доброту и справедливость божьи. Зло всегда производит на человека более разительное впечатление, нежели добро. Так, бог жестокий более поражает воображение, чем добрый бог. Вот почему во всех религиях мира преобладают мрачные краски. Они склоняют смертных к печали и скорби. Имя божье беспрестанно возобновляет в их душах страх. Сыновняя доверчивость, почтительная надежда куда лучше прославляли бы Всеблагого.

Глава двадцать вторая

УДИВИТЕЛЬНЫЙ ПАМЯТНИК

Я вышел из храма. Меня повели на расположенную неподалеку площадь, дабы я мог как следует рассмотреть недавно сооруженный здесь памятник. Он был из мрамора. Он возбудил во мне любопытство и желание глубже проникнуть в смысл символических фигур, которыми был окружен. Мне не захотели объяснить, что они означают, предоставив честь и удовольствие догадываться об этом самому.

Одна из фигур, особо выделявшаяся среди других, прежде всего привлекла мои взоры. По спокойно-величавому ее челу, по благородной осанке, по атрибутам согласия и мира, которые она держала, я догадался, что она изображает любовь к человечеству. У ног ее скульпторы расположили фигуры коленопреклоненных женщин, чьи позы выражали скорбь и раскаяние. Увы! Смысл этого символа нетрудно было разгадать — женщины эти олицетворяли собой нации, умоляющие простить им те тяжелые раны, кои на протяжении более двадцати веков они наносили человечеству!

Франция на коленях молила простить ей страшную Варфоломеевскую ночь, бесчеловечную отмену Нантского эдикта, преследование мудрецов, родившихся на ее земле;[1] как могла она, с ее нежным челом, совершать столь черные преступления!

Англия, отрекаясь от своего изуверства, от обеих своих роз,[2] — и белой и красной, — протягивала руки к философии и клялась не проливать никакой иной крови, кроме крови тиранов.* Голландия проклинала секты Гомара и Арминия и казнь достойного Барневельта.[3] Германия, поникнув горделивой главой, со стыдом вспоминала историю своих внутренних раздоров, свою неистовую ярость и богословские страсти,[4] столь не вяжущиеся с природной ее холодностью. Польша с негодованием отвращала взор от презренных конфедератов,[5] которые в мое время терзали ее землю и возрождали жестокость крестовых походов. Испания, еще более преступная,[6] чем ее сестры, стенала, вспоминая о тридцати пяти миллионах трупов, которыми покрыла она новый континент, о множестве истребленных ею племен, жалкие остатки которых прятались в чащах лесов и расселинах скал, о том, что это она приучила животных, куда менее кровожадных, чем люди, лакать человеческую кровь.**[7] Но как ни стенала она, как ни молила простить ее — ей не было прощения; медленная пытка, коей подвергала она стольких несчастных, осужденных на работы в золотых рудниках, оставалась для пее вечным укором и вечным обвинением.*** Скульптор изобразил рядом с ней нескольких

* Слово свое она сдержала.

** Какую книгу можно было бы написать о европейцах в Новом Свете![8]

*** Когда я думаю об этих несчастных, связанных с природой одним лишь страданием, заживо погребенных в недрах земли, тоскующих о солнце, которое они имели несчастье видеть, но уже никогда больше не увидят, о тех, чей каждый вздох

искалеченных рабов, которые, обратив к ней глаза свои, кричали о мщении: я невольно содрогнулся от ужаса, мне почудилось, будто я слышу их крики.* Фигура Испании была из белого мрамора с кровавыми прожилками, и этот страшный цвет был неистребим, как и память о ее злодеяниях.

В некотором отдалении от других стояла Италия, принесшая миру столько бед,[9] первоисточник неистовств, осквернявших собой оба Света. Распростертая ниц, она, казалось, не осмеливалась подойти ближе, чтобы вымолить себе прощение. Ноги ее попирали горящий факел — символ отлучения от церкви. Я хотел было разглядеть ее черты, но недавно ударившая сюда молния совершенно изуродовала ее лицо, и, приблизившись, я увидел, что оно все почернело от небесного огня.

Среди этих униженных, смиренных женщин возвышалась женская фигура с открытым пленительным лицом, олицетворяющая счастливое человечество. Я обратил внимание, что скульптор придал ей черты той свободной и мужественной нации, что разбила оковы, в которых она томилась по воле своих тиранов.[10] Шляпа великого Телля[11] украшала ее голову, и это была самая достойная корона, которая когда-либо венчала чело монарха.** Она улыбалась сестре своей, священной философии, а та, простирая к небу свои белые, незапятнанные руки, отвечала ей взглядом, исполненным любви.

Я уже покидал площадь, когда заметил с правой стороны стоявшую на великолепном пьедестале фигуру негра — с непокрытой головой, протянутой рукой, гордым взором и благородной осанкой. Вокруг него валялись обломки двадцати скипетров. У его ног высечена была надпись: «Мстителю Нового Света».

Радостный крик удивления вырвался из груди моей.

— Да, — ответили мне так же радостно, — природа, наконец, произвела на свет того необыкновенного, бессмертного человека, которому суждено было освободить мир от самой длительной, самой гнусной и

сопровождается стоном, ибо они знают, что им суждено выйти из ужасающего этого мрака лишь для того, чтобы погрузиться в вечный мрак смерти, — все существо мое содрогается, и мне мнится, будто это я живу в той могиле, где живут они, вместе с ними дышу копотью факелов, освещающих страшное их жилище... Золото, кумир сей земли, предстает мне тогда в истинном его свете, и я чувствую, что в этот металл, источник стольких злодейств, Провидение, как видно, вложило и наказание за те бесчисленные страдания, которые он приносит еще до того, как его извлекают на белый свет.

* Двадцать миллионов человек было уничтожено несколькими испанцами, в то время как в самой Испании едва насчитывается семь миллионов душ!

** Когда бы Платон вновь вернулся в этот мир, он, без сомнения, с восторгом обратил бы свои взоры на швейцарские республики. Швейцарцы превзошли всех других в том, что составляет главную сущность республик, — каждая сохраняет свою свободу, не посягая на свободу других. Прямодушие, чистосердечие, трудолюбие, то дружеское отношение к другим нациям, подобного которому не знает история; сила и смелость, воспитываемые в условиях полного мира, вопреки разнице религий, — вот что должно было бы служить образцом всем народам и заставить их устыдиться своих безумств.

оскорбляющей человечность тирании. Его ум, мужество, терпение, твердость и жажда справедливой мести были вознаграждены: он разбил цепи, сковывавшие его соплеменников. Эти тысячи рабов, томившихся под тяжким игом, казалось, лишь ждали его призыва, чтобы все как один стать героями. Бурный поток, опрокидывающий все плотины, разящая молния — менее сокрушительны и менее стремительны, чем были они. В один и тот же миг полилась кровь всех их тиранов: французы, испанцы, англичане, голландцы, португальцы — все они стали жертвами ножа, яда или огня. Земля Америки жадно впитывала эту кровь, которой давно уже алкала, и кости некогда злодейски умерщвленных здесь людей, казалось, шевелились в ней, содрогаясь от радости. Туземцы вновь получили извечные свои права, ибо права эти дарованы им самой природой. Этот героический мститель освободил Новый Свет, для которого он стал божеством, а Старый Свет чествует и высоко чтит его. Он явился, подобно грозе, нависшей над преступным городом, которому суждено быть испепеленным небесным огнем; он был словно ангел смерти,[12] коему праведный бог вручил меч правосудия: он показал на примере, что рано или поздно жестокость бывает наказана и что Провидение всегда хранит в запасе отважные души, которых оно посылает на землю, дабы восстановить равновесие, нарушенное несправедливым, необузданным властолюбием тиранов.*

Глава двадцать третья

ХЛЕБ, ВИНО И ПРОЧЕЕ

Я был так очарован своим проводником, что все время боялся, как бы он не покинул меня. Наступило время обеда. Поскольку мы находились далеко от той части города, где был мой дом, а все знакомые мои умерли, я стал искать глазами вывеску какого-нибудь трактирщика, чтобы пригласить своего спутника пообедать со мной и хотя бы таким способом отблагодарить его за любезность. Но я прошел несколько улиц и, к удивлению своему, так и не встретил ни одной подходящей вывески.

— Куда же подевались, — воскликнул я, — все эти трактирщики, харчевники, виноторговцы, что населяли некогда этот большой город и, занимаясь одним и тем же делом, разделялись на самостоятельные, вечно

---

* Герой этот пощадит, без сомнения, тех великодушных квакеров,[13] которые только что даровали своим неграм свободу: незабвенное время, которое вызвало у меня слезы умиления и радости и заставит меня возненавидеть тех христиан, что не захотят следовать их примеру.

соперничающие друг с другом корпорации.* Прежде от них отбоя не было на каждом перекрестке.

— Это было еще одно мошенничество, с которым мирился ваш век. У вас допускалась чреватая опасностью подделка вин, губившая здоровье обитателей этого города. Бедняки, — другими словами, три четверти населения Парижа, — не имевшие возможности выписывать дорогостоящие натуральные вина, стремясь после трудового дня утолить жажду и восстановить свои иссякающие силы, находили медленную смерть, ежедневно употребляя этот коварный напиток,[3] пагубного действия коего не замечали. Здоровье их расстраивалось, все внутренности постепенно высыхали...

— Что вы хотите? Ввозные пошлины были столь велики, что намного превышали стоимость продуктов. Можно было подумать, будто вина запрещены законом или будто французская земля принадлежит Англии. Но никому дела не было до того, что целый город может быть отравлен, лишь бы повышался из года в год доход откупщика.** Ради утоления его ненасытной жадности с помощью гербовой бумаги разорялись семьи и непомерно росли цены на вино; а поскольку от этой скрытой отравы умирали не вельможи, их нимало не трогало, что погибает чернь, как называли они трудящуюся часть нации.

— Возможно ли, чтобы у вас умышленно отвращали взоры от этого душегубства, бывшего столь гибельным для общества. Как! В вашем городе открыто продавали отраву, а городские власти бездействовали? О, какой жестокий народ! У нас подобный обман считается уголовным преступлением и отравитель приговаривается к смерти; поэтому и удалось нам начисто вывести у себя гнусных вымогателей, кои портят все,

* Тот, кто крутит вертел, не должен стелить скатерть, а тот, кто стелит скатерть, не должен крутить вертел. Любопытнейший предмет исследования — уставы корпораций,[1] существующих в славном городе Париже. Парламент заседает в течение многих часов, решая важный вопрос о правах харчевника На днях рассматривалось дело, единственное в своем роде. Союз парижских книготорговцев заявил, что таланты Корнелей, Монтескье и проч. — это его достояние, и все, что производит мыслящий мозг, принадлежит книготорговцам; человеческие знания, изложенные на бумаге, являют собой предмет, коим торговать надлежит якобы им одним, и автор книги отныне сможет извлекать из нее лишь тот доход, который им угодно будет ему пожаловать. Эти нелепые притязания были обнародованы в одной брошюре. Г-н Ленге, человек красноречивый, образованный и весьма даровитый, изрядно потешается в ней над глупыми книготорговцами;[2] но, само собой, эти ядовитые насмешки прежде всего относятся к злосчастному торговому законодательству Франции.

** Один крестьянин навьючил на своего осла две одинаковые корзины. Корзины эти до самого верха были наполнены яблоками. Хоть ноша и была тяжела, бедный осел покорно шел вперед. Неподалеку от деревни крестьянин увидел яблони, покрытые спелыми плодами. «Раз несешь те, снесешь как-нибудь еще и эти», — сказал он и взвалил на осла новый груз. Хозяин был жесток, осел терпелив. Он напрягал последние силы. Вдруг хозяин заметил на дороге еще одно яблоко: «Ну, — воскликнул он, — от одного-то тебя не убудет». Бедный осел ничего не мог на это ответить, но, изнемогши, он упал и издох под своей поклажей.

А вот и мораль: крестьянин — это государь, осел же — народ. Но это кроткий народ-осел; он не так неучтив, чтобы падать на землю. Он будет умирать стоя.

до чего только касаются. Вино привозят на городской рынок без всяких примесей, в естественном своем виде. И теперь всякий парижский житель, беден он или богат, выпивает стакан целительного вина за здоровье любимого им короля, который любовь своих подданных ценит не меньше, чем их уважение.

— А дорог ли у вас хлеб?

— Он почти всегда остается в одной и той же цене,* потому что мы благоразумно устроили общественные амбары, всегда заполненные на случай голода, и не продаем неосмотрительно свое зерно за границу с тем, чтобы через месяц вновь покупать его втридорога. У нас интересы хлебопашца и потребителя уравновешены,[4] и тот и другой получают свою долю. Вывоз хлеба у нас не запрещен, ведь он приносит большую пользу, однако ему положены разумные пределы. За этим следит честный и просвещенный человек, который велит закрыть порты, как только равновесие грозит поколебаться.** К тому же наше королевство перерезано каналами, которые обеспечивают свободное движение судов; нам удалось соединить Сону с Мозелем и Луарой и создать таким образом новый путь между обоими морями, который куда удобнее, нежели прежний. Торговцы перевозят свои товары из Амстердама в Нант, из Руана в Марсель. Мы прорыли Провансальский канал, его ведь так не хватало в этом прекрасном крае, обласканном горячими лучами солнца. Тщетно в ваше время один ревностный гражданин[5] предлагал вам свои знания и дерзновение... Двадцать лет сей достойный человек вынужден был томиться от безделья, между тем как никуда не годным работникам платились огромные деньги. К тому же земли наши так прекрасно возделываются, положение хлебопашца стало столь почетным, в наших деревнях царят такой порядок и свобода, что если бы какой-нибудь влиятельный вельможа вздумал злоупотребить своим положением и завладеть каким-нибудь откупом, правосудие — а у нас оно диктует законы дворцам — обуздало бы его предприимчивость. Правосудие уже не является у нас пустым словом, как это было в ваш век; своим мечом оно разит любую преступную голову, и это пример, призванный устрашить скорее вельмож, нежели народ. Ибо первые стократ более склонны к воровству, грабежам и всякого рода лихоимству.

---

* Лучший способ сократить число преступлений — это сделать народ зажиточным и довольным. Три четверти злодеяний рождаются из нищеты; в народе, средь которого царит изобилие, нет ни воров, ни убийц. Добрые нравы зависят от доброго достатка — вот первое правило, которое надлежит усвоить королю.

** Мы высказываем наипрекраснейшие соображения. Мы производим расчеты, мы пишем, мы упиваемся нашими политическими идеями — и никогда еще не делали мы такого великого множества ошибок. Чувство, без сомнения, было бы нам гораздо более верным вожатым. Постоянно все взвешивая, мы стали бездушными скептиками. Не рассудок, а сердце всегда лежит в основе великих и славных деяний. Генрих IV был лучшим из королей — и не благодаря обширности знаний, но потому что всем сердцем любил людей. Сердце подсказывало ему, как сделать их счастливыми. Несчастен век, лишь холодно рассуждающий о счастье.

— Прошу вас, остановимся подробнее на этом важном вопросе. Вы, по-видимому, придерживаетесь мудрого правила ссыпать зерно в амбары; это превосходная мера; нет более надежного способа предотвратить общественное бедствие. Мой век в этом отношении совершал огромные ошибки; он превосходно умел считать, но при этом никогда не принимал в расчет устрашающее число злоупотреблений. Писатели, движимые благими намерениями, бездоказательно предполагали, что все должно идти наилучшим образом. О! Сколько было споров по поводу пресловутого закона об экспорте,* и как же голодал народ во время этих горячих споров!

---

* Этот пресловутый закон,[6] который должен был споспешествовать народному благоденствию, привел только к голоду: он наложил руку на снопы обильнейших урожаев, он заставил бедняков умирать голодной смертью у дверей ломящихся от зерна амбаров. Неизвестное дотоле нравственное бедствие поразило нацию: собственная почва ее перестала ей принадлежать; развращенность нравов явила себя в самом ужасающем своем виде. Человек выказал себя жесточайшим врагом человека. Страшный пример — и столь же гибельный, как и самый голод. Сам закон освятил собой сию исключительную бесчеловечность. Я верю, что сочинители, бывшие виновниками этого закона, были людьми глубоко человечными; быть может, настанет день, и он окажется полезным; но эти сочинители должны вечно казниться, что, сами того не желая, стали причиной смерти многих тысяч людей и страданий тех, кого смерть пощадила. Они слишком поторопились; все сумели они охватить взором, кроме человеческой жадности, разгоревшейся при виде этой опасной приманки. «Они, — выразительно говорит г-н Ленге, — вложили в руки торговли насос, с помощью коего выкачиваются соки из народа».[7] Общественный ропот должен взять верх над «Эфемеридами».[8] Слышатся стенания и крики; следовательно, для нынешнего времени такой порядок дурен. Какое нам дело, что причина зла в местных условиях: надобно было предугадать их, предвидеть, предупредить, уяснить себе, что тех, кто нуждается в самом необходимом, не следует отдавать во власть случайного хода событий; что в обширном королевстве столь необычное новшество произведет потрясение, которое несомненно окажется пагубным для беднейшей части его населения. А экономисты между тем были уверены в обратном. Им следует признаться в том, что их ввело в заблуждение желание всеобщего блага; что они недостаточно обдумали свое предприятие, что они рассматривали его отдельно от всего прочего, в то время как в вопросах политических все соприкасается между собой. Недостаточно уметь считать, надобно обладать государственным умом; надобно уметь принимать в расчет то, что может быть изменено, искажено, изуродовано человеческими страстями; надобно уметь предвидеть, какое воздействие окажет поведение богатых на бедную часть нации. Экономисты же рассматривали вопрос лишь под тремя углами зрения, позабыв о наиболее важном — об интересах трудящихся людей, составляющих три четверти нации. Их поденная плата отнюдь не повысилась, а жадный откупщик стал еще более их притеснять; они вынуждены работать вдвое больше, чтобы заглушить крики голодных детей своих. Дороговизна хлеба стала определять собой стоимость других продуктов, и каждый человек оказался наполовину менее богатым. Таким образом, закон этот явился не более как обманчивой личиной, позволившей откупщикам свободно осуществлять самое жестокое свое господство; его обратили против родины, чье благоденствие он призван был составить. Плачьте же, сочинители! И хотя вы следовали великодушным порывам своих сердец, преисполненных любовью к родине, уразумейте, как пагубно сказалось то, что вы не знали свой век, не знали людей и предложили им совершить благодеяние, которое они превратили во зло. Именно вы обязаны теперь облегчить муки больного, убиваемого сим лечением, спасти его, если это в ваших силах: hic labor, hoc opus.[9]

— Возблагодарите Провидение, которое охраняло это королевство, — иначе вам пришлось бы питаться одной травой с лугов. Но оно пожалело и простило вас, ибо вы не ведали, что творили. Сколь добрые уроки извлекли мы из ваших заблуждений! Существует занятие, обязательное у нас почти для всех граждан, — это земледелие в широком смысле слова. Женщины, как существа более слабые и предназначенные для домашних забот, никогда не трудятся на самой земле; их руки ткут шерсть, полотно и т. д. Мужчины посовестились бы обременять их каким-либо тяжким занятием. Три дела в особой у нас чести: родить ребенка, засеять поле, построить дом. Поэтому труд поселянина у нас не тягостен. Вы не увидите в полях поденщиков, надрывающихся от зари до зари, работающих целыми днями под палящим солнцем и к вечеру падающих от усталости, тщетно моля уделить им хоть малую толику тех богатств, кои создаются благодаря им. Было ли что-нибудь страшнее и тягостнее, нежели судьба тех подначальных земледельцев, которые ничего не видели в своей жизни, кроме нескончаемого труда, чей короткий век наполнен был лишь жалобными стенаниями! Уж легче рабство, чем эта вековечная борьба против презренных тиранов, являвшихся опустошать их очаги, облагая податями самых неимущих! Это приниженное состояние притупляло в них даже чувство отчаяния, и крестьянин, угнетенный, бесправный в жалкой доле своей, прокладывая борозду, низко клонился головой к земле и, казалось, ничем не отличался от своего быка.[10]

А наши плодородные поля оглашаются веселым пением. Каждый отец семейства распевает песни радости. Работают у нас в меру, и стоит только работе кончиться, как начинается веселье. Перерывы на отдых заставляют еще усерднее трудиться; они заполнены играми и плясками. Когда-то в поисках удовольствий отправлялись в города — ныне их находят в селениях; здесь видишь одни довольные, улыбающиеся лица. Труд не является, как прежде, чем-то отталкивающим, отвратительным, ибо он уже не кажется уделом рабов. Ласковый голос призывает людей к выполнению долга, и работа их спорится, становится легкой, даже приятной. Наконец, поскольку у нас нет более множества бездельников, кои, подобно застойным сокам, затрудняли обращение крови в теле нации, и с леностью покончено, каждый имеет у нас возможность наслаждаться сладостными часами досуга, и ни один класс людей не оказывается придавленным оттого, что ему приходится тащить на себе другой. Таким образом, поскольку, как вы понимаете, у нас нет ни монахов, ни священников, ни бесчисленных слуг, ни бесполезных лакеев, ни людей, изготовляющих предметы нелепой роскоши, мы за несколько часов успеваем произвести значительно больше, чем это требуется для удовлетворения нужд общества; эти несколько часов дают нам превосходные продукты, притом всякого рода; излишек их мы сбываем за границей, а в обмен получаем новые товары. Взгляните на наши рынки, заваленные всем, что необходимо для жизни, — овощами, фруктами, рыбой, птицей. Богачи не морят у нас голодом тех, кто беден. Мы не страшимся, что нам чего-то не хватит! Нам чужда ненасытная жадность, когда покупается в три раза

больше того, что можно употребить: к расточительству у нас относятся с отвращением. В те годы, когда природа бывает к нам неблагосклонна, недород не уносит уже тысячи человеческих жизней — тогда открываются амбары; таким образом человеческое предвидение противостоит непогоде и бешенству стихий. Желудки наиболее трудолюбивых людей уже не наполняются скудным, сухим, скверно приготовленным постным кушаньем. Богачи не отделяют для себя самую тонкую муку, оставляя другим одни отруби: такой нелепый, оскорбительный поступок был бы сочтен постыдным преступлением. Если бы до нас дошел слух о том, что кто-то страдает от голода, мы все почувствовали бы себя словно виноватыми в этом и вся нация выплакала бы себе глаза. Таким образом, последний бедняк не испытывает у нас ни малейшего беспокойства при мысли о завтрашнем дне. Страшный призрак голода не заставляет его вскакивать с одра, на котором ему удалось вкусить несколько минут успокоительного сна. Проснувшись поутру, он не смотрит с тоской на первые лучи солнца. Утоляя свой голод, он не страшится того, что вместе с пищей в его желудок попадет отрава. Те, кто владеет богатством, употребляют его на различного рода новые и полезные опыты, кои позволяют углубить какую-либо науку, довести до совершенства какое-либо ремесло, они возводят величественные здания, они увековечивают себя славными начинаниями. Их состояние не растрачивается на сладострастном ложе любовниц или у тех губительных столов, где мечут игральные кости, — оно принимает форму, оно превращается в вещественный образ, на который с почтением взирают восхищенные сограждане. Вот почему стрелы зависти не долетают до их владений: люди благословляют щедрые руки, которые, блюдя то, что даровано Провидением, выполнили его предначертания, соорудив сии благодетельные общественные строения. Но вспомним о богачах вашего века — содержимое сточных канав и то кажется менее мерзостным, чем их души; в руках их было золото, но низость жила в их сердцах: составив нечто вроде заговора против бедняков, они безжалостно пользовались трудом, стараниями, усилиями великого множества измученных, несчастных людей, что работали в поте лица своего, вечно преследуемые страхом пред будущим, сулившим им лишь одинокую старость. И подобное насилие основано было на праве. Тогдашние законы лишь освящали сей грабеж. Подобно пламени пожара, охватывающего соседние постройки, богачи завладевали всем, что граничило с их землями, но стоило украсть у кого-нибудь из них одно лишь яблоко, как они поднимали оглушительный крик — искупить столь тяжкое преступление можно было только смертью...

Что было мне отвечать на это? Я понурил голову и продолжал идти, погрузившись в раздумье.

— Вас ожидают и другие предметы для размышления, — сказал мне мой проводник. — Заметьте (поскольку глаза ваши устремлены вниз, на землю), что у нас по улицам не течет кровь животных, напоминая о бойне.[11] Воздух не пропитан запахом трупов, который в ваше время возбуждал такое множество болезней. Чистота есть наиболее ясная при-

мета общественного порядка и гармонии — она-то и царит у нас во всем городе. Из соображений чистоплотности и, осмелюсь сказать, нравственности мы вынесли бойни за пределы города. Если уж мы осуждены природой питаться мясом животных, то по крайней мере мы позволяем себе не видеть, как их убивают. Убоем скота у нас занимаются те иностранцы, которые вынуждены были покинуть свою родину; они защищены нашим законом, но не числятся гражданами нашей страны. Никто из нас не занимается этим жестоким, кровавым ремеслом, ибо мы опасаемся, как бы оно невольно не заставило наших братьев утратить естественное чувство сострадания, а ведь жалость, как вы знаете, есть самое прекрасное чувство, коим одарила нас природа.*

Глава двадцать четвертая

ПРИНЦ — ХОЗЯИН ХАРЧЕВНИ

— Вы хотите пообедать, — сказал мне мой проводник, — прогулка пробудила у вас аппетит. Ну что ж, зайдем в эту харчевню.

Я попятился.

— Да вы шутите, — сказал я ему, — посмотрите, вот въездные ворота, вот герб со щитом. Не иначе как здесь живет какой-нибудь принц.

— Вы совершенно правы! Это добрый принц, у которого всегда накрыто три стола — один для него и его семьи, другой для чужестранцев, третий для бедняков.

— И много в городе подобных столов?

— Да, у всех принцев.

— Но этим, должно быть, пользуется множество прихлебателей и бездельников?

— Отнюдь; ибо как только какой-либо человек — если только он не чужеземец — повадится ходить сюда каждый день, его тотчас же замечают городские блюстители нравов и, дознавшись о его способностях, подыскивают ему подходящее занятие. Но если оказывается, что этот человек способен лишь есть, его выдворяют из города, подобно тому как в пчелиной республике из улья выгоняют всех тех пчел, которые ничего не умеют, кроме как питаться из общей кладовой.

* Банья [12] не едят ничего такого, что было прежде живым, они боятся убить мельчайшее насекомое, они бросают в реку рис и бобы, чтобы накормить рыб, и сыплют на землю зерно, чтобы напитать птиц. Встретив человека, идущего на охоту или рыбную ловлю, они настоятельно просят его отказаться от этого намерения; если он остается глух к их мольбам, они предлагают ему деньги за его ружье или сеть, если же он не соглашается на это, они мутят воду, дабы распугать рыбу, и начинают изо всех сил кричать, дабы обратить в бегство зверей и птиц («История путешествий»).

— У вас, значит, существуют блюстители нравов?

— Да, хотя их следовало бы называть иначе; это наставники, несущие повсюду свет разума; действуя то красноречием, то лаской, то хитростью, они исцеляют строптивые или мятежные умы. Эти накрытые столы предназначены для стариков, для выздоравливающих, для беременных женщин, сирот и чужестранцев. Они садятся за них не стыдясь, без всяких колебаний. Здесь вкушают они здоровую, сытную, легкую пищу. Сей человеколюбивый принц не предлагает их взорам роскошного убранства, столь же восхищающего, сколь и вызывающего негодование; он не заставляет работать триста человек ради того, чтобы накормить обедом двенадцать; он не устраивает на своем столе некоего подобия театральной декорации; он не почитает за честь того, чего ему следовало бы стыдиться, — бессмысленного изобилия еды;[1] во время обеда он помнит, что у него всего один желудок и нечего уподоблять его некоему древнему божеству, принося ему жертвы в виде сотни различных блюд, которыми он все равно не в состоянии насладиться.*

Продолжая беседовать, мы прошли через два двора и вступили в обширный зал; зал этот был предназначен для чужестранцев. Вдоль всего помещения тянулся длинный стол, на котором кое-где уже стояли приготовленные приборы. Ввиду моего преклонного возраста для меня тотчас же принесли кресло. Мне подали очень вкусный суп, овощи, немного дичи и фрукты; все было сервировано просто и очень скромно.**

— Но это же замечательно, — вскричал я, — кормить тех, кто голоден; можно ли найти лучшее применение богатству? Подобный взгляд на вещи, кажется мне, куда благороднее и достойнее особы высокого ранга, нежели...

Обед прошел в полном спокойствии и порядке; вкусные кушанья дополнялись пристойной и оживленной беседой. Вошел принц; свои распоряжения он отдавал самым благородным и доброжелательным тоном. Он подошел ко мне и начал расспрашивать о моем веке, требуя, чтобы я отвечал ему откровенно.

— Ах, — сказал я ему, — ваши далекие предки не были столь щедры и великодушны, как вы. Все свои дни они проводили в пирах и охоте.***

---

* Какой человек, взглянув на картинку, изображающую Гаргантюа, чей отверстый рот, огромный, словно печь, заглатывает за одну трапезу тысячу двести фунтов хлеба, двадцать быков, сто баранов, шестьсот цыплят, полторы тысячи зайцев, две тысячи перепелов, сорок пять бочек вина, шесть тысяч персиков и т. д., и т. д., и т. д., не воскликнет: сей огромный рот — точь-в-точь рот какого-нибудь короля.

** Я видел однажды, как король, приехавший к принцу, шел через большой двор, который был полон бедняков, жалобно взывавших к нему: «Хлеба, дайте нам хлеба!». Ничего не отвечая им, король и принц прошли через двор и сели за трапезу, на которую было потрачено около миллиона франков.

*** Охоту следует считать развлечением недостойным и низменным. Убивать животных нам приходится по необходимости, и нет занятия более печального. Я с каждым разом все внимательнее читаю то, что написали об охоте Монтень, Руссо[2] и другие философы. Мне очень по душе добрые индусы, с почтением относящиеся даже к крови животных. Тот род удовольствия, которое избирает себе человек, всегда отражает его природу. А разве не внушает ужас удовольствие,

Когда они убивали зайцев, то делали это от безделья, а отнюдь не для того, чтобы накормить тех, чьим посевам вредили эти прожорливые грызуны. Мысли их никогда не возносились ни к чему высокому, они не думали о чьей-либо пользе. Они тратили миллионы на собак, лакеев, лошадей и льстецов. Словом, они просто были царедворцами и не думали о пользе отечества.

При этих моих словах все присутствующие в удивлении воздели руки к небу: им трудно было поверить, что я говорю правду.

— Но в истории, — говорили они, — нет об этом ни слова. Напротив...

— Ах, — отвечал я, — историки еще более виновны, чем принцы.

Глава двадцать пятая

ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ

После обеда мне предложили посмотреть театральный спектакль. Я всегда любил театр и не перестану любить его через тысячу лет, если еще буду жив. Сердце мое билось от радости. Что будут играть? Какой окажется пьеса, которая у сего народа считается образцовой? Предстоит ли мне увидеть одеянья персов, греков, римлян или же одежду французов? Будут ли в ней свергать ничтожного тирана или же вонзят кинжал в неосмотрительного простофилю? Увижу ли я какой-нибудь заговор, или же чью-то тень, под раскаты грома выходящую из могилы?

— Господа, есть ли у вас хотя бы хорошие актеры? Во все времена они встречались столь же редко, как и великие поэты.

— Разумеется, есть. Они весьма усердно учатся, беря себе в наставники лучших авторов, дабы никогда не нарушать смехотворнейшими нелепостями смысла того, что произносят. Они сговорчивы и при этом не столь невежественны, как актеры вашего века. У вас, говорят, трудно было найти порядочного актера или актрису, большинство было достойно лишь бульварных подмостков. В вашей столице, соперничавшей с Римом и Афинами, был всего один-единственный убогий, жалкий, маленький театр; к тому же им прескверно управляли. Какой-нибудь актер, неизвестно за какие заслуги получавший огромное жалованье, осмеливался

которое получает тот, кто заставляет падать окровавленной взлетевшую куропатку, убивать у своих ног зайцев, бежать вслед за двадцатью лающими собаками, видеть, как они разрывают несчастного зверя! Он слаб, он ни в чем не повинен, он весь дрожит от страха. Вольный житель лесов, он погибает от укусов своих врагов, и вот появляется человек и пронзает ему сердце стрелой; сей варвар улыбается от удовольствия, глядя на залитую кровью красивую шкурку, на слезы, струящиеся из его глаз. Подобная забава свойственна душам, лишенным природной жалости, и охота есть не что иное, как равнодушие, всегда готовое обернуться жестокостью.

задирать нос перед талантом,* вынужденным отдавать ему свой шедевр. У этих людей хватало бесстыдства отвергать лучшие театральные пиесы или же играть их спустя рукава, в то время как пиесы, которые вызывали их восторги, заранее были обречены на неодобрение публики и провал. Словом, публика уже не страдает от актерских распрей, столь обычных некогда в их презренном и грязном балагане.[1] У нас четыре театральных залы, расположенных в четырех главных кварталах города. Содержит их правительство, ибо театр превращен у нас в общедоступную школу, где учат нравственности и воспитывают вкус. Мы хорошо поняли, какое влияние способен оказать гений на чувствительные души.** Он самым удивительным образом воздействует на своих современников, не прилагая усилий, не прибегая к принуждению. Именно великим поэтам доверены, так сказать, сердца их сограждан; они изменяют эти сердца по собственному усмотрению. Сколь виновны они, когда произносят опасные суждения! Но нет границ нашей благодарности, когда случается им поразить порок, когда они служат человечности! Наши драматические авторы преследуют одну лишь цель — совершенствовать природу человека; все они стремятся возвысить его душу, укрепить ее, сделать ее мужественной и независимой. Добрые граждане с усердием посещают эти шедевры, вызывающие волнение и интерес, поддерживающие в сердцах их те спасительные чувства, что располагают к состраданию, главному признаку истинного величия.***

---

* Во Франции — монархическое правительство, в театре же порядки республиканские. От этого отнюдь не выигрывает драматическое искусство: осмелюсь даже утверждать, что всякая пиеса, полезная нации, непременно запрещается правительством. Господа сочинители, пишите свои трагедии на античные сюжеты; от вас требуют побасенок, а не картин, способных растрогать народ и просветить его; усыпляйте нас старинными сказками для детей и не касайтесь современных событий, а главное — ныне живущих людей.

** На ярмарочных и уличных представлениях народу показывают нелепые, грубые пиесы, полные всяких непристойностей, а между тем совсем нетрудно было бы играть для них небольшие занимательные, поучительные пиесы, доступные, однако, их пониманию. Но тем, кто управляет народом, безразлично, что тело его отравляют в трактирах негодным вином из оловянной посуды, а душу развращают на ярмарках гнусными фарсами.[2] Ежели он станет точно следовать тем урокам воровства, которые преподносятся ему у Николе[3] в качестве остроумных проказ, тут, пожалуй, недалеко и до виселицы. Существует даже полицейский указ, недвусмысленно приговаривающий народ к шутовским зрелищам, — согласно этому указу уличным актерам воспрещается произносить с подмостков какие-либо здравые суждения, и все это — дабы не нарушать столь почитаемых привилегий королевских актеров. И подобное распоряжение обнародовано в 1767 году, в наш просвещенный век! Сколько презрения к бедному люду![4] Как пренебрегают его образованием! Как боятся, что в душу его проникнет несколько лучей познания! Зато какой строгой критике подвергается каждое полустишие,[5] которое должно произноситься на французской сцене.

*** Какую силу, какую выразительность, какое влияние обрел бы наш театр, когда бы правительство, вместо того чтобы видеть в нем прибежище праздных людей, рассматривало бы его как школу, в коей обучаются добродетелям и гражданским доблестям.[6] Но что делали наши лучшие таланты? Они черпали свои сюжеты у греков, римлян, персов и т. п. Они представляли нам чужеземные, вернее сказать — вымышленные нравы: сладкогласные поэты, они были лживыми художниками и

Мы вышли на красивую площадь, в середине которой возвышалось величественное здание, украшенное несколькими аллегорическими фигурами. Направо — Талия, срывающая маску с порока и перстом указующая на безобразный его лик. Налево — Мельпомена,[8] вооруженная кинжалом, коим она рассекает грудь тирана, раскрывая взорам его сердце, пожираемое змеями.

Сцена представляла собой полукружие,[9] выдвинутое вперед таким образом, чтобы все зрители удобно были расположены по отношению к ней. Каждый зритель сидел на своем месте; я вспомнил, как утомительно бывало в мое время смотреть театральное представление, и подумал, что народ этот более разумен и более заботится об удобствах граждан. Здесь не проявляли наглой алчности, впуская в залу больше людей, нежели она на самом деле способна вместить; всегда оставались свободные места для чужестранцев. Собрание было блистательным, женщины одеты со вкусом, однако наряды их были пристойными.

Представление начали с музыки, позаботясь согласовать ее характер с общим тоном пиесы, которую намеревались играть.

— Это что же, опера? — спросил я. — Какой превосходный музыкальный пассаж.

— У нас научились соединять, не смешивая их, оба вида театральных представлений, — вернее, мы воскресили давний союз, существовавший между поэзией и музыкой у древних.[10] Во время антрактов исполняются выразительные мелодии, рисующие чувство и располагающие душу насладиться тем, что будет в дальнейшем изображено на сцене. Мы не признаем музыки изнеживающей, причудливой, шумной или ничего не выражающей. Ваша опера представляла собой престранную, пренелепую смесь.[11] Мы позаимствовали из нее то, что было в ней лучшего. Музыку, которая игралась в ваше время, невозможно было защитить от справедливых нареканий здравомыслящих и тонко чувствующих людей,* но ныне...

Не успел он закончить этих слов, как подняли занавес. Сцена представляла собой Тулузу. Я увидел ее Капитолий, ее капитулов,[12] ее судей и палачей, фанатическую ее толпу. Появилось семейство несчастного Каласа;[13] оно исторгло у меня слезы. Седовласый старец предстал во всей своей спокойной твердости, доброте и самоотвержении. Я видел, как злой рок все более сгущает вокруг его невинного чела кажущиеся доказательства преступления. Пуще всего восхитила меня правда, которой дышала эта пиеса. Автор поостерегся исказить сей трогательный сюжет неправдоподобием и скукой наших рифмованных строк.[14] Он проследил весь ход сего жестокого события и лишь старался душой уловить то, что рождалось горестным положением каждой из жертв, или, вернее, заимство-

---

рисовали картины воображаемые; их герои, их напыщенные стихи, единообразие их красок, их пять актов — все это загубило драматическое искусство, чье единственное предназначение — точно и просто живописать современные нам, нынешние нравы.[7]

* Опера есть зрелище вредоносное, и однако нет представлений, более излюбленных правительством. Вообще это единственный вид представлений, который его интересует.

вал их язык, ибо всякое искусство в том и состоит, чтобы точно повторить крик, который вырывается у природы. По окончании этой трагедии зрители стали показывать на меня пальцами: «Вот современник тех горестных событий, — говорили они друг другу. — Он слышал крики, которые сей Давид[15] исторгал у необузданной черни! Он был свидетелем яростных воплей этого нелепого фанатизма!». И я завернулся в свой плащ, закрыл руками лицо и устыдился своего века.

Назавтра было объявлено представление трагедии «Кромвель, или Смерть Карла Первого»,*[16] и все присутствовавшие выразили чрезвычайную радость по поводу этого объявления. Мне сказали, что пиеса эта — настоящий шедевр, что никогда еще судьбы королей и народов не были представлены с такой силой, столь правдиво и красноречиво. Кромвель был мстителем, героем, достойным носить скипетр, который он вырвал из вероломной и преступной по отношению к государству руки; ни один король, склонный к несправедливости, не мог читать эту драму без того, чтобы бледность не покрыла высокомерное его чело.

Второй пиесой давали «Охоту Генриха IV».[17] Имя этого монарха всегда было обожаемо народом, лучшие короли не смогли затмить память о нем. Следя за представлением сей пиесы, я отнюдь не находил, чтобы автор ее умалил в Генрихе IV героя, выставив напоказ человеческие его черты; никогда победитель Лиги[18] не представал мне столь великим, как в те минуты, когда, желая избавить своих хозяев от хлопот, он победоносной своей рукой нес груду тарелок. Народ горячо бил в ладоши, ибо, рукоплеща доброму сердцу и великодушию сего монарха, он как бы награждал рукоплесканиями и нынешнего своего короля.

Я вышел из театра весьма довольный.

— Но ведь это превосходные актеры, — сказал я своему спутнику, — они играют с такой душой, они в самом деле испытывают те чувства, которые изображают, они способны их выразить, в них нет никакой принужденности, никакой напыщенности, ничего фальшивого, преувеличенного. Наперсники и те играют хорошо. Право же, здесь есть чему поучиться: актер, добросовестно играющий роль наперсника!

— Все дело в том, — отвечал он мне, — что на сцене, как и в жизни государства, каждый у нас считает своим долгом отменно выполнять свои обязанности. Каким бы скромным делом ни занимался у нас человек, занятие это приносит ему славу, как только он в нем отличится. Декламация считается у нас весьма важным искусством, правительство придает ему большое значение. Мы унаследовали ваши шедевры и, играя их на сцене, достигли совершенства, которое вас поразит. Мы считаем за честь передать все, что начертал в них гений. О, может ли быть искусство прекраснее, чем то, которое живописует, которое передает все оттенки чувств с помощью взгляда, голоса и жеста. Какое сладостное, какое трогающее

---

* О чем вы думаете, трагические поэты? Перед вами такой сюжет, а вы мне болтаете о персах и греках. Вы предлагаете мне зарифмованные побасенки. Изобразите-ка мне лучше Кромвеля!

душу согласие, какую выразительность обретает сие искусство, когда оно просто!

— Я вижу, вы сумели побороть немало предрассудков. Сдается мне, актеров уже не презирают?

— Их перестали презирать с того времени, как они обрели нравственность. Есть предрассудки опасные, но есть и полезные. В ваши времена, вероятно, необходимо было обуздать опасные склонности и соблазны, что влекли молодежь к ремеслу, коему сопутствовала распущенность нравов.[19] Но с тех пор все изменилось. Разумный устав, заставивший актеров вернуться к добродетели, открыл им путь к почестям, и ныне они причислены к гражданам государства. Не так давно наш прелат попросил короля пожаловать вышитую шапку одному актеру, который особо его растрогал.

— Как! Неужто ваш почтенный прелат посещает театр?

— А почему бы ему туда не ходить? Ведь театр стал школой, где воспитывают чувства, где обучают нравственности и добродетели. В книгах пишут, будто в ваше время пастырь всех христиан наслаждался в божьем храме пением несчастных, коих нарочно лишили их мужских признаков, дабы они пели женскими голосами.[20] Нам никогда не приходилось слушать подобное пение, оскорблявшее одновременно слух и чувство. Как могли люди получать удовольствие от сего душераздирающего пения? Куда более достойно, я полагаю, смотреть восхитительную трагедию «Магомет»,[21] где обнажается сердце тщеславного злодея и все ужасы фанатизма представлены с такой силой, что заставляют содрогнуться простолюдина или не слишком просвещенного человека, который проявлял бы подобные наклонности. Да вот, взгляните, пастырь квартала возвращается из театра, окруженный своими прихожанами, с которыми он обсуждает трагедию о Каласе. Он воспитывает в них вкус, он просвещает их разум, он полон презрения к фанатизму, и когда он вспоминает о злобной ненависти, которая, подобно заразной болезни, в течение двенадцати веков терзала половину Европы, он благодарит небо за то, что родился позднее. Иногда мы наслаждаемся еще одним родом представлений, о котором в ваше время не имели понятия: мы возродили искусство пантомимы,[22] столь любимое древними. Как щедро одарила человека природа и сколькими средствами выражения снабдила сие мыслящее существо, дабы позволить ему передавать бесчисленное множество его чувствований! Все выразительно у мимов: они столь же красноречиво станут разговаривать с вами при помощи пальцев рук, как вы говорите языком. Некогда Гиппократ утверждал, что один только большой палец человека раскрывает нам созидающего бога. Наши искусные мимы доказывают, с какой мудростью действовал бог, создавая человеческое лицо!

— О, мне просто нечего вам сказать: вы достигли совершенства!

— Ну, что вы! Нам многое еще предстоит усовершенствовать. Мы вышли из того варварского состояния, в которое были погружены вы; сначала просвещение озарило лишь немногих, вся же нация продолжала пребывать в детстве. Но мало-помалу умы стали развиваться. Нам оста-

ется сделать больше, нежели мы сделали, мы пока лишь на полпути. Терпение и покорность делают многое, но я опасаюсь, что полное совершенство в этом мире — вещь недостижимая. И все же, стремясь к совершенству, мы, я полагаю, сумеем сделать жизнь хотя бы терпимой.

Глава двадцать шестая

ФОНАРИ

Покидая театр, мы не жалели о проведенных там часах. Вышли мы из него без всякой давки, ибо выходов было много и все они были удобны. Я видел, что улицы превосходно освещены. Фонари прикреплены были к стене и расположены таким образом, чтобы на улице не оставалось ни одного неосвещенного места; но они и не ослепляли вас с помощью металлических зеркал, столь пагубных для зрения; оптики здесь не поставляли пациентов окулистам.[1] Здесь уже не встречались те непотребные девицы,[2] с грубо нарумяненными лицами, с бесстыдными взорами и разнузданными жестами, которые, стоя у края сточных канав, наглым тоном предлагали вам удовольствия, столь же незамысловатые, сколь и низменные. Все эти дома терпимости, куда мужчины шли, краснея перед самими собой, где они унижали свою природу, втаптывали ее в грязь, здесь были запрещены. Ибо никакое упорядочение порока не способно преградить ему путь: один порок рождает другой; увы, ничто так не доказано, как эта печальная истина.*

Я увидел стражников, которые следили за порядком и не позволяли нарушать покой граждан в часы их отдыха.

— Вот единственный род солдат, в которых мы нуждаемся, — сказал мой спутник. — Нам уже не приходится содержать в мирное время разорительную армию. Эти сторожевые псы, которых вы некогда откармливали, чтобы в нужный момент они бросались на чужих, чуть было не сожрали хозяйского сына. Но факел войны, наконец-то погашенный, никогда не зажжется вновь. Правители соблаговолили прислушаться к го-

---

* Город, в котором много распутных женщин, — это несчастный город. Юноши истощаются или гибнут, предаваясь низменным, греховным наслаждениям, а когда такой молодой распутник женится, он уже совершенно обессилен и не способен оплодотворить молодую супругу; обманутая в своих ожиданиях, она горестно томится рядом с ним. Они

Подобны факелам, кладбищенским огням,
Что светят мертвецам, их прах не согревая.[3]

Кампанелла.

лосу философа.* Движимые собственным интересом — сим живейшим из побудителей, они после стольких веков ошибок и заблуждений открыли сердце свое разуму. Они обратились к тем своим обязанностям, кои подсказывала им забота о безопасности и спокойствии народов, они стали видеть свою славу лишь в том, чтобы хорошо управлять собственной страной, предпочитая способствовать благополучию небольшого числа подданных, нежели тешить свое честолюбие господством над ограбленными странами, населенными людьми, чьи сердца всегда переполнены ненавистью к завоевателю. Договорившись между собой, короли определили своим владениям точные границы, и именно те, на которые как бы указала сама природа, отделив одно государство от другого морями, лесами или горами. Они уразумели, что чем менее протяженность королевства, тем лучше можно и управлять им. Мудрецы всех народов, собравшись вместе, составили общий договор, который принят был единодушно, и те принципы, кои один безнравственный человек в век железа и распутства назвал несбыточными мечтами честного человека,[7] претворены были в жизнь людьми просвещенными и добросердечными. Равным образом исчезли и пагубные перегородки, разделявшие людей по их верованиям. Каждый у нас относится к другому, как к брату. Будь он индус или китаец, но, ступив на нашу землю, он становится нашим соотечественником. Мы приучаем наших детей к мысли, что все люди вселенной — единая семья, живущая под бдительным оком всеобщего нашего отца. Такой взгляд на вещи, как видно, предпочтительнее всех остальных, ибо он распространился всюду с поразительной быстротой. Замечательные книги, написанные великими людьми, явились факелами, кои помогли зажечь тысячи других. Умножая свои знания, люди научились любить и уважать друг друга. С англичанами, ближайшими нашими соседями, нас связы-

---

* Карл XII[4] находится в руках бездарных правителей. Он вступает на престол; он в том возрасте, когда все воспринимается чувством и первые впечатления кажутся непреложными истинами. Ему одинаково милы все идеи, ибо он не знает, какую предпочесть. В этом опасном состоянии, неискушенный, обуреваемый жаждой деятельности, он читает Квинта Курция;[5] ему предстает образ короля-воителя, которого сей автор превозносит и выставляет в качестве примера; юноша берет его за образец. Кроме войны, он не видит поприща, которое принесло бы ему славу. Он вооружает армию, он отправляется в поход. Несколько военных удач утверждают в нем эту страсть, льстящую его тщеславию. Он разоряет деревни, разрушает города, опустошает провинции и государства, низвергает правителей. Он увековечивает свое безумие и свое тщеславие. А представим себе, что ему с детских лет внушали бы, что королю надобно думать лишь о покое и пользе своих подданных, что истинная слава — это их любовь к нему; что мирный монарх, пекущийся о законодательстве и развитии ремесел, вполне стоит монарха-завоевателя. Наконец, предположим, что ему внушили правильное понятие о том молчаливом договоре, который народы вынуждены были заключить с королями;[6] что образ завоевателя предстал бы пред ним опозоренным слезами современников и осуждением потомков, и тогда эта врожденная любовь к славе обернулась бы к предметам более полезным; он употребил бы свой ум, свои знания на то, чтобы усовершенствовать свое государство, дать ему счастье; он не разграбил бы Польшу, он управлял бы Швецией. Так, одна-единственная ложная идея, попавшая в голову монарха, уводит сего монарха от истинных его выгод и составляет несчастье целой части света.

вают ныне теснейшие узы: два благородных этих народа забыли о взаимной ненависти,[8] бывшей не более как бессмысленным отражением личных распрей их государей. В наших науках, в наших ремеслах, да и во всем остальном мы тесно связаны между собой, и это в равной степени полезно для обеих сторон. Например, чувствительные англичанки как нельзя более подошли французам, которым присуще некоторое легкомыслие, а наши француженки поразительно смягчили меланхолический нрав англичан. Это разумное смешение наций стало плодотворным источником многих удобств и удовольствий, рождая новые идеи, которые легко воспринимаются и успешно проводятся в жизнь. И всеми этими великими переменами мы обязаны книгопечатанию,* просветившему людей.

Я чуть не подпрыгнул от радости и бросился обнимать того, кто сообщал мне столь утешительные вещи!

— О небо, — вскричал я радостно, — наконец-то люди достойны поднять к тебе глаза свои, они уразумели наконец, что подлинная их сила в сплочении. Теперь я умру спокойно, ибо воочию увидел то, о чем так страстно мечтал. Как сладостно покидать сей мир, видя вкруг себя одних лишь счастливых людей, которые в едином порыве, словно братья, устремлены вперед, дабы после долгих блужданий предстать перед Творцом.

Глава двадцать седьмая

ПОХОРОННАЯ ПРОЦЕССИЯ

Вдруг я увидел похоронные дроги, украшенные пальмовыми ветвями. На гроб накинут был белый покров. Впереди шествовали музыканты со своими инструментами. Рядом с дрогами шагали какие-то люди в небесно-голубой одежде с ветками лавра в руках.

— Что это за колесница? — спросил я.

— Это колесница победителей, — ответствовали мне. — Мы рассматриваем как победителей тех, кто покинул сию жизнь, восторжествовав над человеческой суетностью, тех счастливцев, коим уготовлено место рядом с Верховным существом, создателем всего благого; они становятся для нас священными; их с почестями провожают к тому месту, где будет их вечное жилище. Над ними поются гимны, выражающие презрение к смерти.

---

* Оно может сослужить еще другую службу. Книгопечатание станет надежной уздой для деспотизма, ибо будет предавать гласности малейшее его злодеяние, ничего не оставляя в тайне, ибо оно увековечит все ошибки и даже слабости королей. Любая их несправедливость, будучи обнародованной, сможет стать известной во всех концах света, рождая возмущение свободолюбивых и чувствительных душ. Друг добродетели должен преклониться перед сим изобретением, злодей же пусть содрогнется при виде печатного станка, который далеко вокруг разнесет весть об его преступлениях.

Вместо скорбных лиц, что некогда сопровождали ваши катафалки,[1] вы видите на этих лицах выражение радости. Именно так относимся мы к смерти. Никто у нас не горюет над бездыханными останками. Оплакивают себя, не их. Мы благословляем руку Господа, забравшего их из этого мира. Все мы подвластны неумолимому закону природы. Почему же не принять с готовностью это вечное успокоение, которое способно лишь улучшить наше существование? * В трех милях от города мертвые эти тела будут превращены в пепел.[2] Смертные останки у нас сжигаются в особых печах, в коих постоянно поддерживается на этот случай огонь. Два князя и один принц покоятся в этом гробу вместе с простыми гражданами. После смерти все различия между людьми у нас исчезают, и мы возвращаемся к тому равенству, которое установила природа для детей своих. Сей мудрый обычай ослабляет в сердцах народа страх перед смертью и в то же время не позволяет возноситься великим мира сего. Великими делают их лишь добродетели, высокие же звания, почет, богатство — все это стирает смерть. Та подверженная гниению материя, которую они являют собой, — это уже не они, пепел их смешивается с пеплом им подобных, и мы не связываем с этой тленной оболочкой никакого представления о человеке. У нас не существует никаких эпитафий, никаких мавзолеев — всего этого суетного, ребяческого обмана.** Даже кончина королей уж не наполняет притворной скорбью их обширные дворцы; им не льстят после их смерти, как не льстили при жизни. Сходя в могилу, они не вцепляются закостеневшими пальцами в наши богатства, дабы еще что-то урвать из них напоследок; они умирают, не разоряя при этом целые города.*** Во избежание всякого рода ошибок ни один покойник не может быть вынесен из своего дома, прежде чем смерть его не будет подтверждена особым инспектором. Этот инспектор, человек опытный и облеченный полномочиями, удостоверяет в особой бумаге пол и возраст покойного, а также от какой болезни он скончался. Здесь же записывается имя врача, который его пользовал. Если в рукописной книге, которую каждый, как я уже говорил вам, оставляет после себя, обнаруживается какая-либо действительно здравая или высокая мысль, ее

---

* Тот, кто чрезмерно страшится смерти, — если только он не просто баба — уж наверняка скверный человек.

** Будь благословенна, о смерть! Ты поражаешь тиранов, ты очищаешь от них мир, ты обуздываешь их жестокость и спесь. Это ты превращаешь в прах тех, кто был окружен лестью и с презрением взирал на остальных людей; тираны умирают, и мы с облегчением вздыхаем. Не будь тебя, муки наши длились бы вечно. О смерть, ты, коей страшатся жестокие счастливцы, ты, вселяющая ужас в преступные их сердца, ты, единственная надежда несчастных, простри же руку свою на всех гонителей моей отчизны. А вы, жадные черви, населяющие могилы, друзья мои, мои отмстители, спешите, толпой сползайтесь на эти жирные трупы, откормленные преступлением.

*** Всем этим пышным погребальным торжествам, которыми сопровождается путь королей к их темным склепам, этим мрачным церемониям, этим внешним проявлениям публичной скорби, этому всенародному трауру недостает самой малости — одной искренней слезы.

извлекают, предают гласности, и это заменяет собой все надгробные речи. Многие среди нас придерживаются той утешительной веры, согласно которой душа, разлученная с телом, вольна посещать места, кои ей были милы. Ей любо вновь видеть тех, кто был мил ей при жизни. Молча парит она над их головами, наблюдая изъявления их дружеской скорби. Она не утрачивает той сердечной склонности, которую питала к ним раньше, не порывает тех уз, что связывали ее с чувствительными сердцами. Ей радостно находиться подле них, отвращая опасности, подстерегающие их бренные тела. Эти души дорогих нам усопших — для нас то же, что ваши ангелы-хранители. Столь обнадеживающее, столь отрадное убеждение придает помыслам нашим и поступкам уверенность, коей недоставало вам, не ведавшим о сих умилительных представлениях и заполнявшим голову печальными и мрачными призраками. Понимаете ли вы, сколь глубокое почтение способна внушить такая уверенность юноше, который и после смерти отца своего продолжает видеть в нем свидетеля всех, даже тайных, своих поступков? Мысленно он обращается к нему, и одиночество его согрето незримым присутствием того, кто наставляет его, кто учит его добродетели, и если зло соблазняет его, ему достаточно сказать себе: «Отец мой видит меня! Он меня слышит!».[3] И осиротевший юноша осушает свои слезы, ибо душу его уже не тревожит страшная мысль о небытии. Ему кажется, будто тени предков ожидают его, дабы вместе с ним идти вперед к вечному покою, что они лишь замедляют шаги свои, дабы поддержать его на жизненном пути. Кто же может отказаться от надежды на бессмертие? Даже если это лишь несбыточная мечта, разве не должна она быть для нас дорогой и священной?

ЛУННОЕ ЗАТМЕНИЕ

ГОВОРИТ ОТШЕЛЬНИК: *

Я живу в маленькой сельской хижине, что немало способствует моему счастью. Из окон ее открываются два различных вида: один — на уходящие вдаль возделанные поля, где зреет драгоценное зерно, которое питает человека; другой — на более узкое пространство, являющее моим взорам последний приют человека, рубеж, за которым кончается его тщеславие, узкое ложе, куда рука смерти равнодушно укладывает безропотные свои жертвы.

Вид этого погоста не только не вызывает у меня отвращения, этого детища страха, а напротив, понуждает к мудрым и полезным размышлениям. Здесь не слышу я более городского шума, который оглушает и

---

* Я полагал уместным присовокупить к этой главе сие маленькое сочинение, которое вполне соответствует ее духу и даже развивает мысли, в ней высказанные. Оно во вкусе Юнга,[4] только я написал его по-французски.

смущает душу. Перед лицом сей священной печали я проникаюсь мыслями о предметах высоких. Спокойно и пристально взираю я на могильные плиты, под которыми засыпает человек, чтобы вновь возродиться, под которыми предстоит ему отблагодарить природу и оправдать премудрость Творца.

Сияние дня внушает мне печаль. Я жду вечерних сумерек и той успокоительной темноты, которая, придавая тишине ночи еще большее очарование, благоприятствует рождению высоких мыслей. Как только ночная птица, испуская унылый крик, тяжелым своим полетом прорежет густую мглу, я беру свою лиру. Приветствую тебя, о величавый сумрак ночи! Вознеси душу мою ввысь, скрой от меня изменчивую картину мира, яви мне сияющий трон, где восседает священная истина!

Чутким ухом прислушиваюсь я к полету одинокой ночной птицы: вот опустилась она на чей-то костяк; удар крыла, и с глухим стуком откатывается в сторону череп, бывший некогда вместилищем честолюбия, гордости, дерзновеннейших замыслов.

По очереди садится ночная птица на могилы — и на холодный мрамор с уже полустертыми временем именами, кои высекло здесь тщеславие, и на могильный холм бедняка, украшенный свежими цветами.

Прах честолюбца! Да исчезнешь ты навек! И вы еще отваживаетесь высекать на мраморе все эти пустые титулы! Жалкая гордыня в царстве смерти! Я видел истлевшие кости, покоившиеся в тройном гробу, дабы прах их не смешивали с прахом других людей.

Приблизься, о надменный смертный; взгляни на эти могилы. Какое нам дело до имени того, у кого нет более имени. Лживая эпитафия, на коей еще сохранились жалкие следы его начертания, бесславнее забвения; она — словно колеблющийся вымпел потонувшего корабля: некоторое время виднеется он еще на поверхности, а затем исчезает вслед за кораблем в морской пучине.

О, насколько же счастливее тот, кто не возводил при жизни бесполезных пирамид, но неустанно следовал путем чести и добродетели. Он обращал взор свой к небу. Видя, как разрушается хрупкое строение, в котором целый сонм забот терзал его бессмертную душу, он благословил меч, что внушает ужас злодею; и когда вспоминаешь о смертном часе этого праведника, то для того лишь, чтобы научиться у него умирать, как умирал он.

Он умер, этот праведный человек, и он видел перед смертью, как лили мы слезы, но не над ним, над собою! Смертное его ложе окружено было братьями. Мы говорили с ним о тех утешительных истинах, коими полна была душа его; мы беседовали с ним о боге, чье присутствие он чувствовал лучше, нежели мы. Казалось, край завесы уже приоткрывается перед угасающими его очами... Он приподнялся, он обратил к нам сияющее счастьем лицо, он спокойно протянул к нам руку, он улыбнулся нам, прежде чем испустить дух.

Подлый тиран! Для тебя, грозного баловня судьбы, смерть не будет таким умиротворением. Ты побледнеешь перед лицом ее, самовластитель-

ный злодей, устрашающий призрак явит тебе могила! Пей же досыта из горькой этой чаши, пей ее до дна! Ты не можешь ни поднять глаза свои к небу, ни взглянуть на землю — и небо, и земля отрекаются от тебя, отвергают тебя. Так умирай же в страхе, уделом твоим отныне станет бесславие.

Но ужасный этот миг, одна мысль о котором заставляет бледнеть злодея, не страшит того, кто невиновен. Сердцем своим я принимаю неодолимый закон разрушения. Я созерцаю эти могилы, как если бы то были огнедышащие плавильные печи, в которых растворяется и разлагается материя и очищается золото, навсегда освобождаясь от неблагородного металла. Земная оболочка спадает; душа устремляется ввысь в первородной своей красоте. Зачем же глядеть испуганными очами на бренные останки, в коих прежде обитала душа? Лишь образ желанного освобождения должны они явить нам собой: так древний храм полон величия и в развалинах. Проникнутый естественным чувством уважения к останкам человека, ступаю я на эту землю, хранящую священный прах братьев моих. Все здесь — и это спокойствие, и эта тишина, и эта хладная недвижность — все говорит мне: они спят. Я иду вперед, стараясь не ступить на свежую могилу друга, земля которой еще взрыхлена лопатой. Я останавливаюсь. Внимательно прислушиваюсь, словно пытаюсь уловить хоть какой-то отзвук той небесной гармонии, которой он теперь упивается на небесах. Полная луна льет свой серебряный свет на печальную эту картину. Я обращаю взор свой к небесной тверди. Я обвожу глазами бесчисленные миры, эти сияющие солнца, со столь дивной щедростью рассеянные по небу. Затем вновь печально опускаю их на безмолвствующую могилу, где истлевают глаза, язык, сердце того, кто говорил со мной об этих великих чудесах мира, восхищаясь создателем сих дивных явлений.

И вдруг, неожиданно для меня, началось лунное затмение. Я и заметил-то его лишь тогда, когда вкруг меня стала сгущаться мгла. Ничего не стало видно — оставалась одна только небольшая полоска, на которую быстро надвигалась земная тень. Кромешная тьма окружает меня, я не различаю уже очертаний предметов. Я делаю несколько шагов, сотню раз поворачиваюсь то вправо, то влево — и не могу найти ворот. Собираются тучи, гудит ветер, слышится приближающийся гром, вот он налетает на огненных крыльях молнии. Мысли мои мешаются. Я весь дрожу, то и дело спотыкаюсь я об эти груды человеческих костей, страх гонит меня все вперед. На пути моем оказывается яма, приготовленная для покойника; я падаю в нее. Могила принимает меня живым, и я оказываюсь погребенным в сырых недрах земли. И кажется мне, будто я слышу голоса лежащих здесь мертвецов, хором приветствующих меня. Ледяной холод проникает в мои кости, смертельный пот выступает на теле. Я теряю сознание и впадаю в летаргический сон.

Зачем не дано мне было умереть в этом состоянии покоя! Ведь я был уже похоронен. Завеса, скрывающая от нас бессмертие, уже готова была мне приоткрыться. Жизнь отнюдь не внушает мне отвращения; я умею

вкушать ее радости, я стараюсь достойно использовать ее. Но что-то в глубине души кричит мне, что грядущая жизнь неизмеримо прекраснее теперешней.

Я очнулся. Слабый свет начинал уже серебрить покрытый звездами небосвод. Несколько лучей пробивалось сквозь толщу облаков; постепенно свет их становился все ярче. Вскоре облака ушли за горизонт, и глазам моим предстает диск луны, уже наполовину освобожденный от темной тени. И вот, наконец, луна является во всем своем блеске, столь же прекрасная, какой была прежде. Одинокое светило продолжает свой путь. Я вновь обретаю мужество; я устремляюсь прочь от могилы. Ласковый ветерок, ясное небо, бледные лучи зари — все успокаивает меня, все укрепляет мой дух и рассеивает страхи, рожденные темнотой.

И я стою, с улыбкой взирая на эту яму, только что принимавшую меня в свои недра. Что же в ней страшного? Ведь это земля, моя кормилица, питающая меня, та, что когда-нибудь потребует у меня обратно ту частицу глины, которую некогда ссудила мне. И следа не остается от теней, которыми мрак поразил мое доверчивое воображение.

Лишь оно, одно оно порождает эти мрачные образы. Друзья! В этом странном приключении я вижу как бы картину смерти. Я упал в разверстую могилу и ощутил ужас — единственное, быть может, чем природа может защитить жизнь от осаждающих ее горестей; но в могиле этой я спал спокойным, даже блаженным сном. Если и было мне страшно, то страх этот длился недолго, мгновений этих как бы и не было: я пробудился при мягком свете ясного, чистого дня; я позабыл свой детский страх, и радость воцарилась в душе моей. Не так ли после недолгого сна, что зовется смертью, пробудимся мы при ярком сиянии того неугасимого солнца, которое, освещая бесконечность бытия, докажет нам и неразумность наших страхов и предрассудков, и обнаружит перед нами новый, неиссякающий источник счастья, который уже ничто не в силах будет остановить.

Но при всем этом будь добродетелен, о смертный, дабы ничего не страшиться. Следуя короткой тропой жизни, поступай так, чтобы сердце твое вправе было сказать тебе: «Ничего не бойся, иди вперед, бог, отец наш, бдит над тобой. Не взирай же на него со страхом, а благословляй его доброту, уповай на его милосердие, относись к нему с доверием любящего сына, а не с ужасом раба, который боится, зная, что виновен».

Глава двадцать восьмая

КОРОЛЕВСКАЯ БИБЛИОТЕКА

В этом месте проклятая дверь, расположенная вблизи моего изголовья, внезапно заскрипела, произведя перемену в моем сне. И вожатый, и город вдруг исчезли, но ум мой по-прежнему оставался под впечатле-

нием только что виденного, и я, на свое счастье, продолжал видеть все тот же сон. Теперь я был один, предоставленный самому себе. Было совсем светло, и я находился в Королевской библиотеке; но я не сразу узнал ее.

Вместо четырех обширных зал, вмещавших много тысяч томов, я увидел небольшую комнату, где стояло не слишком много книг, показавшихся мне отнюдь не толстыми. Пораженный столь разительной переменой, я осмелился спросить, уж не пожар ли уничтожил сие богатейшее собрание книг.

— Да, — отвечали мне, — их действительно уничтожил огонь, но мы собственными руками по собственной воле развели его.

Я, быть может, забыл упомянуть, что народ этот — самый приветливый в мире, что с особым почтением он относится к старикам и имеет обыкновение отвечать на вопросы, не в пример нынешним французам, которые на вопрос отвечают вопросом. Навстречу мне вышел библиотекарь, с виду настоящий ученый; выслушав все мои замечания, а также упреки, он обратился ко мне со следующей речью.

—Убедившись на основе весьма точных наблюдений, что рассудок сам создает себе преграды в постижении вещей, затрудняя последнее множеством ненужных сложностей, мы пришли к выводу, что библиотека, состоящая из огромного количества книг, является скопищем величайшего сумасбродства и безумнейших химер. Ваши авторы вопреки разуму имели обыкновение сперва писать, а уж потом думать. Наши поступают как раз наоборот: мы уничтожили писания всех тех, кто хоронил свои мысли под чудовищными грудами слов и цитат. Ничто так не сбивает разум с толку, как плохие книги, ибо если первоначальные понятия усвоены недостаточно прочно, последующие становятся скоропалительными выводами из них, и люди таким образом бредут от предрассудка к предрассудку, от заблуждения к заблуждению. Мы приняли решение заново перестроить все здание человеческих знаний. Казалось, это невыполнимо; но мы поступили просто — мы лишь отбросили все то ненужное, что скрывало от нас правильный взгляд на вещи; так, для того чтобы создать Лувр, достаточно было снести хижины, заслонявшие его со всех сторон. Науки в этом лабиринте книг вертелись вокруг одного и того же, без конца возвращаясь все к той же точке, не поднимаясь ни на ступеньку выше, и преувеличенное представление о ценности сих наук лишь прикрывало убогую их сущность. В самом деле, каково было содержание этого бесчисленного множества томов? Большей частью в них бесконечно повторялось одно и то же. Философия предстала перед нами в виде некоей статуи, которую все прославляли и все копировали; но никто ее не обогатил; в оригинале сия статуя кажется нам куда совершеннее, нежели в копиях из золота и серебра, сделанных с нее впоследствии: деревянный идол, вырезанный неумелой рукой дикаря, конечно, прекраснее в первоначальном своем виде, чем тогда, когда его украшают посторонними побрякушками. Как только люди, безвольно предавшись лености, подчиняются общественному мнению, таланты их становятся

рабски подражательны — они утрачивают и свою самобытность, и способность к созиданию. Сколько обширных проектов, сколько великолепных доктрин перечеркнуло общественное мнение! Время донесло до нас лишь блестящие, легко доступные сочинения, снискавшие некогда одобрение толпы, навсегда поглотив зрелые и значительные мысли, слишком простые и слишком возвышенные, чтобы нравиться черни. Поскольку жизнь человека ограничена и не стоит тратить ее на незрелые измышления, мы решили навсегда разделаться со всеми этими хитросплетениями схоластики.

— Как же вам это удалось? Расскажите, прошу вас!

— Мы с общего согласия свезли на обширную равнину все те книги, которые сочтены были либо легкомысленными, либо бесполезными, либо опасными; мы сложили из них пирамиду высотой с огромную башню, и поистине то была новая Вавилонская башня.[1] Причудливая сия постройка была увенчана газетами, ее обложили со всех сторон всякого рода пастырскими посланиями, парламентскими представлениями, обвинительными речами и надгробными словами. Ее составили пять или шесть тысяч словарей, сто тысяч томов судебных решений, сто тысяч поэм, шестнадцать тысяч описаний путешествий и один миллиард романов. Всю эту устрашающую груду мы подожгли, и это было как бы жертвоприношение истине, здравому смыслу и хорошему вкусу. Пламя поглотило потоки человеческих глупостей, как древних, так и новых. Костер горел долго. Некоторые авторы присутствовали при том, как их сжигают заживо, но вопли их нас не остановили; потом, правда, мы обнаружили среди золы несколько страничек из сочинений П..., де ла Г... и аббата А...,[2] с которыми само пламя не в состоянии было справиться, до того холодно они были написаны. Так, движимые разумом, мы вновь свершили то, что в слепом усердии своем делали варвары. Однако в отличие от сарацинов, которые шедеврами топили свои бани,[3] мы были справедливы и предварительно произвели отбор. Люди, обладавшие здравым умом, из тысячи толстых фолиантов извлекали главную их суть и перелагали ее в небольших книжицах в 12-ю долю листа, действуя подобно тем искусным химикам, что извлекают сок из растений, собирают его в колбу, а остальное выбрасывают.*

Мы сделали краткие извлечения из наиболее стоящего и лучшее издали вновь, предварительно выправив все это в соответствии с требова-

* Все изменчиво в этом мире: разум людей без конца преобразует национальный характер, содержание книг, их восприятие. Может ли хоть один писатель, если только он способен мыслить, льстить себя надеждой, что не будет освистан последующими поколениями? Разве не насмехаемся мы над нашими предшественниками? Откуда нам знать, каких успехов добьются наши потомки? Можем ли мы себе представить, какие тайны вдруг приоткроют человеку недра природы? Разве познали мы до конца человеческий мозг? Где труды, основывающиеся на истинном знании человеческого сердца, на понимании природы вещей, на здравом смысле? Разве наша физика не являет собой бездонный океан, от берегов которого мы все еще не можем отчалить. Лишь жалкий безумец может вообразить в гордыне своей, будто он положил предел какой-нибудь отрасли знания.

ниями истинной морали. Нация весьма ценит и почитает людей, выполнивших сей труд; компиляторы эти обладали хорошим вкусом и, поскольку сами способны были творить, сумели отобрать самое ценное, отвергнув то, что таковым не являлось. Мы заметили (ибо нужно быть справедливым), что малое количество книг присуще одним лишь истинно философским эпохам, в ваш же век, когда за неимением достаточных данных еще не было подлинных и глубоких знаний, для оных грудами скапливали материалы. Прежде чем за дело берется архитектор, рабочие закладывают фундамент. Всякая наука вначале разрабатывается частями; каждый сосредоточивает внимание на том участке, который достался ему в удел. Благодаря этому ничто от науки не ускользает, вплоть до мельчайших фактов. Бесчисленное количество работ, написанных вами, было необходимостью; это уже наше дело было собрать все эти разрозненные части воедино. Людям невежественным и полузнайкам свойственна многоречивость; человек мудрый и образованный немногословен, но он всегда говорит с толком. Видите эту комнату? Здесь собраны книги, избежавшие огня. Их немного, но это те, кои снискали одобрение нашего века.

С любопытством приблизился я к первому шкафу. Я увидел, что из греков оставлены были Гомер, Софокл, Еврипид, Демосфен, Платон и особенно много сочинений любезного нам Плутарха; однако Геродот Сапфо, Анакреон и мерзкий Аристофан[4] подверглись сожжению. Я попытался сказать что-то в защиту уничтоженного Анакреона, однако в ответ услышал весьма убедительные доводы, кои не стану здесь излагать, ибо их не поняли бы в мое время.

Во втором шкафу, предназначенном для латинских авторов, я обнаружил Вергилия и всего Плиния, а также Тита Ливия.* А вот Лукреций, за исключением нескольких отрывков, весь был сожжен, ибо физика его неверна, а мораль опасна. Уничтожению подверглись также пространные речи Цицерона, бывшего скорее ловким ритором, нежели красноречивым оратором; однако сохранены были философские его сочинения, являющие собой один из самых ценных памятников древности. Сохранен был Саллюстий; что до Овидия и Горация, то их подвергли чистке: оды Горация оказались значительно ниже его посланий.** От Сенеки осталась едва ли не четвертая часть. Тацит был сохранен, но поскольку во всех сочинениях его господствует какой-то мрачный колорит, вследствие чего человечество предстает нам в черном свете, — тогда как не следует вну-

---

* Недавно я перечитал сего историка и уразумел, что добродетель римлян состояла в том, что они приносили на алтарь отчизны человеческие жертвы; они были превосходными гражданами, но дурными людьми.

** Этот автор обладает в полной мере чувствительностью, превосходным воображением и необычайной изысканностью выражений. Но им слишком много всегда восхищались. Муза его зовет к наслаждению покоем, навевает летаргический сон, сладостное и опасное безразличие. Она должна нравиться царедворцам и изнеженным душам, чья мораль сводится к тому, чтобы не видеть ничего, кроме настоящего, и дорожить лишь радостями уединения.

шать дурное мнение о природе человека, ибо не тираны его представляют, — чтение сего глубокомысленного автора дозволяется лишь людям с благородным сердцем. Катулл исчез, исчез и Петроний. Квинтилиан[5] весь уместился в тонкой книжице.

В третьем шкафу узрел я книги английские. Именно здесь было наибольшее количество томов. Тут встретил я всех философов, которых породил этот воинственный, торговый и осмотрительный народ. Мильтон, Шекспир, Поп,[6] Юнг,* Ричардсон[9] все еще не утратили своей славы. Их

* Господин Летурнер опубликовал перевод этого поэта, который имел у нас величайший, прочный и длительный успех: все прочитали эту исполненную нравственности книгу, все восхищались прекрасным ее языком, что возвышает душу, питает ее и пленяет, ибо зиждется на великих истинах, ибо говорит лишь о высоком и главные достоинства свои черпает из истинного величия возвышенных сих предметов. Что до меня, то никогда не читал я ничего более оригинального, более нового и даже более захватывающего. Мне нравится глубокое чувство, которое, всегда оставаясь одним и тем же, имеет множество оттенков и бесконечно видоизменяется. Это словно река, увлекающая меня за собой. Меня очаровывают эти сильные, живые образы, чья причудливость соответствует предмету, избранному поэтом. Мы найдем у других более стройные доказательства бессмертия души, но никогда не поражают они в такой мере наших чувств. Поэт овладевает нашим сердцем, подчиняет его себе, лишая всякой возможности доказывать противное. Вот какова магия его слов, вот какова сила красноречия, оставляющая в душе неизгладимый след.

Вопреки примечанию, которое цензор потребовал от переводчика. Юнг. на мой взгляд, прав,[7] утверждая, что перед лицом вечности и возмездия добродетель — не более как химера. Не будем создавать себе пустых призраков. Какой толк в добродетели, если от нее нет пользы ни на этом, ни на том свете. Какую пользу в сем мире приносит добродетель обездоленному праведнику? Спросите об этом Брута, Катона,[8] спросите умирающего Сократа — вот вам стоик перед последним испытанием; поступая согласно своей совести, он обнаружит всю ничтожность своих единомышленников. Я вспоминаю незабываемые слова, сказанные Жан-Жаком Руссо одному моему другу. Жан-Жак рассказывал о том, что ему, Руссо, предложили богатство на постыдных условиях, но которые должны были остаться тайной. «Сударь, — ответил он на это, — я, благодарение богу, не материалист. Когда бы я им был, то стоил бы того же, что и все они: я признаю лишь одну награду — ту, что связана с добродетелью».

Я, признаюсь, сто́ю не более, чем Руссо, а дал бы бог, чтобы я его стоил! Но не верь я в то, что полностью не умру, я тотчас же сделал бы богом самого себя и весь предался бы сему божеству. Я делал бы то, что называют нравственным, когда это доставляло бы мне удовольствие, и этим же руководствовался бы, свершая так называемые безнравственные поступки. Сегодня я украл бы, чтобы сделать подарок другу или любовнице, а завтра обокрал бы их ради собственного развлечения. И в этом я был бы вполне последователен, поскольку всегда делал бы то, что доставляет удовольствие моей божественной особе. Между тем, если я люблю добродетель ради грядущего воздания и воздаяние это не связано с произволом, мне надобно сообразовываться уже не со своим мимолетным капризом, а с непреклонным законом предвечного создателя, который является и творцом его. Таким образом, мне часто приходится делать то, что я должен делать, хотя это не доставляет мне особого удовольствия; а коль скоро я без принуждения решаюсь склониться к добру, вопреки соблазну поддаться злу, я делаю это не из удовольствия, а потому, что не хочу поступить иначе. Если бы богу угодно было управлять нами, исходя из нашей склонности к земным удовольствиям, он вложил бы в нас одну только разумную душу, не давая нам чувствительного сердца; но он воодушевляет нас надеждой на воздаяние, ибо сделал нас существами чувствительными.

созидательный гений, никем не стесняемый (не в пример нам, которые вынуждены были обдумывать каждое слово свое), плодотворящая сила этих свободных душ вызывали восхищение придирчивого века. Мелочные упреки в отсутствии вкуса, которые мы высказывали им,[10] были забыты: те, кто привлечен был здоровыми и верными их идеями, давали себе труд читать их и способны были размышлять над прочитанным. Однако из числа философов изъяты были те опасные скептики,[11] что тщились расшатать основы морали. Этот добродетельный народ, руководимый чувством, презрел все пустые их словопрения, и ничто не смогло убедить его, будто добродетель — всего лишь химера.

В четвертом шкафу хранились книги итальянские. На видном месте увидел я «Освобожденный Иерусалим»,[12] самую прекрасную из знаменитых поэм. Но было сожжено множество критических статей, направленных против этой поэмы. Знаменитый трактат «О преступлениях и наказаниях» издан был со всем возможным совершенством, которого заслуживало это достославное сочинение. Я был приятно изумлен, увидев целый ряд серьезных философских трудов, вышедших из лона сей нации; она разбила талисман, что, казалось, столь надежно должен был охранять ее от разума и просвещения.

Наконец я добрался до французских писателей. Трепетной рукой схватил я первых три книги — то были Декарт, Монтень и Шаррон.[13] Монтень оказался несколько сокращенным, но, поскольку писатель этот лучше всех знал природу человека, его сочинения сохранили, хотя не все высказанные в них мысли были безупречны. Сожжены были и мечтательный Мальбранш, и печальный Николь, и безжалостный Арно, и жестокий Бурдалу.[14] Схоластические споры всех этих авторов оказались настолько забытыми, что, когда я упомянул о «Письмах к провинциалу»[15] и о борьбе с иезуитами, ученый библиотекарь в своем ответе допустил весьма серьезный анахронизм. Я учтиво исправил его ошибку, за что он искренне меня поблагодарил. Так я и не нашел ни «Писем к провинциалу», ни каких-либо позднейших исторических сочинений, из которых мог бы почерпнуть подробности сего громкого дела — теперь оно казалось столь незначительным! Об иезуитах здесь говорилось так, как мы ныне говорим о древних друидах.[16]

Навечно канула в небытие толпа богословов, нареченных «отцами церкви»,[17] — этих самых казуистических, самых странных, самых неразумных писателей, которые когда-либо противостояли Локкам и Кларкам,[18] — они, заметил библиотекарь, дошли, так сказать, до предела человеческого безумия.

Я открывал одну книгу за другой в поисках знакомых мне имен. Небо, какое опустошение! Сколько толстых томов улетучилось в дыме пожара!

— А где же прославленный Боссюэ,[19] чьи творения в мои времена изданы были в четырнадцати томах ин-кварто?

— Ни одного не осталось, — ответили мне.

— Как! Этого орла,[20] парившего столь высоко, этого гения...

— Сами посудите, что можно было из него сохранить? Да, у него был талант,* но он поистине плачевно употреблял его. Мы приняли за правило слова Монтеня:[22] «Не в том дело, кто больше знает, а в том, кто знает лучше». «Всемирная история» этого Боссюэ являла собой не более как жалкую хронологическую канву,** вялую и бесцветную. К тому же пространные рассуждения, сопровождавшие сей жалкий труд, были столь выспренны и столь неестественны, что нам трудно поверить, как могло это сочинение читаться в течение более пятидесяти лет.

— Но надгробные его речи, по крайней мере...

— ...более всего вызывают нашу досаду. Они написаны рабским, льстивым языком. Что это за служитель всеблагого и праведного бога, что это за поборник мира и правды, который, поднявшись на кафедру, восхваляет коварную политику, скаредного министра, негодную женщину, бессердечного полководца и, весь отдаваясь описанию какой-либо битвы, не роняет ни единой слезы, не упоминает ни единым словом о великом бедствии, опечалившем весь мир? Произнося свои проповеди, он помышлял не о том, чтобы защищать права людей и священным языком религии высказать сокрушительные истины честолюбивым монархам, а более стремился к тому, чтобы о нем сказали: «Как прекрасно он говорит; ежели он так красноречиво славословит не успевших еще остыть мертвецов, сколь же усердно станет он курить фимиам еще живым королям». Мы не жалуем этого Боссюэ. Не говоря о том, что он был высокомерным и жестоким человеком, тщеславным и ловким царедворцем, от него-то и пошли все эти надгробные речи, которых с тех пор столько развелось, что они напоминают погребальные факелы, подобно им источая удушающую вонь. Этот литературный жанр кажется нам самым скверным, самым пустым и опасным из всех, ибо он одновременно и холоден, и фальшив, и безвкусен, и бесстыден; он всегда шел вразрез с общественным мнением, бушующим за теми стенами, в которых оратор напыщенно декламирует, сам потихоньку посмеиваясь над прикрасами, коими он награждает восхваляемого кумира. Взгляните лучше на его счастливого соперника, мягкого и скромного победителя, этого любезного, этого чувствительного Фенелона,[24] автора «Телемака» и некоторых других сочинений, которые мы бережно сохранили, ибо находим в них редкое

---

* Сколько пользы могли бы принести человечеству такие люди как Лютер, Кальвин, Меланхтон, Эразм,[21] Боссюэ, Паскаль, Арно, Николь и другие, когда бы талант свой они употребляли на то, чтобы разоблачать заблуждения человеческого разума, чтобы способствовать совершенствованию морали, законодательства, физики, вместо того чтобы опровергать или утверждать какие-то смехотворные догматы!

** Чтобы придать правдоподобие летоисчислению, выдумали разделение на эпохи, и на этом призрачном фундаменте возвели здание несуществующей науки. Она была полностью предоставлена самой себе. Никто не знает, к какому времени следует отнести основные преображения земного шара, и при этом хотят определить век, в котором жил такой-то король. Сами хронологические расчеты построены на множестве ошибок. Так, отсчет ведут от основания Рима,[23] между тем как само основание его есть плод допущения или, вернее, предположения.

сочетание чувства и разума.* Написать «Телемака», будучи при дворе Людовика XIV, кажется нам удивительной и достойной восхищения добродетелью. Монарх, конечно, не понял этой книги, и это прежде всего и следует поставить ей в заслугу. Разумеется, автору этому недостает более обширных и глубоких знаний. Но сколько силы, благородства и правды в его простодушии! Рядом с ним мы поставили сочинения славного аббата де Сен-Пьера, чье перо не было особенно искусным, но который обладал прекрасным сердцем. За семьсот прошедших лет обрели зрелость высказанные им высокие и прекрасные мысли — те самые, за которые его так высмеивали, называя пустым мечтателем. Ныне мечты его претворены в действительность.

Среди французских поэтов я увидел Корнеля, Расина, Мольера; однако все комментарии к ним были сожжены.** [27] Я задал библиотекарю вопрос, который, должно быть, не перестанут задавать и еще в течение семи столетий:

— Кому же из них отдали бы вы предпочтение?

— Мольер нам уже непонятен, — отвечал мне тот. — Нравы, которые он изображал, ушли в прошлое. Нам кажется, что он не столько бичевал пороки, сколько смеялся над тем, что забавно, а ведь безнравственного у вас было куда больше, чем забавного.*** [29] Что же касается двух трагических поэтов, чьи творения оказались долговечнее, то мне непонятно, как можно в вашем возрасте задавать подобный вопрос. Тот, кто прежде всего был живописцем сердца человеческого, кто более других способствовал возвышению душ, кто лучше всех сумел постичь и борьбу страстей и

---

* Французская Академия предложила сочинить похвальное слово ему [25] для будущего конкурса на лучшее произведение ораторского искусства. Но если слово это окажется таким, каким ему надлежит быть, Академия не сможет присудить за него награду. К чему давать темы, которые нельзя развить во всей их полноте?

Впрочем, мне нравится этот род сочинений, в которых, подвергая рассмотрению талант какого-либо великого человека, рассматривают и углубляют искусство, коему тот себя посвятил. У нас были превосходные сочинения в этом роде, особенно вышедшие из-под пера г-на Тома.[26] Подобные книги — самое поучительное, что можно дать в руки юноше; вместе с полезными знаниями он почерпнет из нее и разумную любовь к славе.

** Они всегда — плод либо зависти, либо невежества. Мне внушают жалость эти комментаторы, с их усердным преклонением перед законами грамматики. Нет для великого человека более тяжкой судьбы, нежели подвергнуться при жизни или после смерти суду педантов: они заслоняют его собою. Эти злосчастные критики, бредущие от слова к слову, подобны тем подслеповатым ценителям, которые вместо того, чтобы любоваться картиной Лесюэра или Пуссена,[28] бессмысленно разглядывают на ней каждую линию и никогда не видят всего творения в целом.

*** Неверно, будто, как это утверждалось в некоем похвальном слове Мольеру,[30] человеческие слабости изжить легче, нежели пороки. Но будь это даже так, какому недугу человеческого сердца прежде всего требуется лечение? Неужто поэт должен стать соучастником всеобщей безнравственности и первым воспользоваться гнусными условностями, которыми лиходеи прикрывают свои злодеяния? Горе тому, кто не понимает, сколь сильное действие может произвести превосходная театральная пиеса и сколь возвышенно искусство, заставляющее все сердца биться, как одно.

глубины политики, бесспорно, был большим гением,* нежели сладкозвучный его соперник, обладавший более прозрачным, более точным, но и менее выразительным стилем, у которого не было ни его прозорливости, ни его благородства, ни сердечного жара, ни стройности мысли, ни поражающего нас разнообразия характеров. Прибавьте к этому, что у Корнеля всегда есть нравственная цель: он устремляет человека к свободе — основе всех добродетелей. Расин же, сделав слабодушными своих героев, внушает слабодушие и своим зрителям.** Если вкус — это искусство облагораживать ничтожное, то у Корнеля его было меньше, чем у Расина. Время, сей верховный судья, одинаково зачеркивающий как хвалу, так и хулу современников, сказало свое слово, обозначив огромное различие между двумя этими писателями: один — это гений высшего порядка, другой же, если не считать нескольких удачных мест, позаимствованных им у греков, всего лишь изящный ум, как это сказано было еще в его эпоху.[33] А в вашу, — закончил он свою речь, — люди утратили прежнюю силу; вы стали требовать совершенства формы, в великом же всегда есть нечто суровое и грубое. Стиль стал для вас главным мерилом, как это всегда случается с нациями обессилевшими и пришедшими в упадок.

Рядом увидел я ужасного Кребийона,[34] живописавшего преступления теми зловещими красками, кои были ему столь свойственны. Трагедии его здесь иногда почитывают, но никто не соглашается смотреть их на сцене.

Само собой разумеется, я нашел здесь моего друга Лафонтена,*** которого по-прежнему любят и читают. Он лучший из поэтов-моралистов; Мольер, сей справедливый ценитель, предчувствовал его бессмертие.[35] Правда, басня есть аллегорический язык раба, не смеющего разговаривать со своим господином; но поскольку она в то же время смягчает ту резкость, которая иной раз содержится в правде, басню долго еще будут высоко ценить на земле, где властвуют всяческие тираны. Сатира, быть может, есть всего лишь орудие отчаяния.

Сего непревзойденного баснописца ставят здесь выше пресловутого Буало,**** который, как выразился аббат Костар,[36] разыгрывал повели-

---

* Корнелю бывает присуща своеобразная непринужденность, искренность и простота, в нем есть что-то даже более естественное, чем в Расине.

** Расин и Буало были пошлыми царедворцами, которые перед лицом монарха испытывали удивление буржуа с улицы Сен-Дени.[31] Не так чувствовал себя Гораций, посещая Августа. Нет ничего более мелкого, нежели письма этих двух поэтов, которые себя не помнят от радости, оказавшись при дворе. Трудно выражаться более подобострастно. Расин и умер-то из-за того, что Людовик XIV, следуя через прихожую в свою спальню, недостаточно благосклонно взглянул на него.[32]

*** Это наперсник природы, это подлинный поэт, и я поражаюсь смелости тех, кто после него притязает писать басни, пытаясь ему подражать.

**** Критик, который вместо того чтобы истолковать автора, стремится лишь сделать его доступнее, обнаруживает этим свою суетность, свое невежество и завистливость. Злобный его характер не позволяет ему отчетливо видеть, что в произведении хорошо, а что дурно. Заниматься критикой следует лишь тому, чьи познания, вкус и честность не замутнены никакими личными интересами. О критик!

теля на Парнасе и который, не отличаясь ни способностью к вымыслу, ни талантом, ни силой, ни изяществом, ни чувством, был всего лишь старательным и бездушным стихослагателем. Сохранилось и несколько других басен, среди них некоторые басни Ламотта и Нивернуа.*[37]

Поэт Руссо предстал мне в весьма жалком виде: уцелело всего несколько его од и кантат, что же до его унылых посланий, его утомительных и грубых аллегорий, его «Мандрагоры», его эпиграмм, этих плодов развращенного сердца, то весь этот хлам, разумеется, был предан огню, чего давно уже заслуживал. Я не в состоянии перечислить здесь все те полезные сокращения, коим подвергался ряд книг, впрочем весьма известных. Я не нашел ни одного из тех легковесных стихотворцев, что угождали лишь вкусам своего века и самым серьезным предметам придавали тот обманчивый блеск остроумия, который вводит в заблуждение разум:** все эти причуды легко воспламеняющегося воображения оказались нестойкими, словно искорки, которые чем легче вспыхивают, тем скорее гаснут. Все эти сочинители романов, исторических ли, моральных или политических, у которых отдельные истины лишь случайно соседствуют друг с другом и которые неспособны были связать эти истины между собой, чтобы подтвердить их; и те сочинители, что никогда не рассматривали предмета под разными углами зрения, во всех его взаимных связях; и те, наконец, что, введенные в заблуждение предвзятой идеей, ничего не видели, кроме нее, и руководствовались одной ею, — словом, все эти писатели, сбитые с толку своим талантом или отсутствием оного, исчезли или легли под нож здравомыслящей критики, который перестал быть здесь вредоносным орудием.***

Мудрость и любовь к порядку — вот чем руководствовались при сей кровавой, но полезной операции. Так в густых лесах, где перепутавшиеся между собой ветви делали непроходимыми дороги, на которых вечно царили мрак и вредоносная сырость, под воздействием человека, пришедшего сюда с огнем и железом, возникают зеленые тропинки, покрытые цветами лужайки и пробиваются ласковые лучи солнца: оно разгоняет мрак, и яркая растительность радует глаз путника, который может теперь без страха и отвращения идти вперед. Я заметил в самом конце одной полки любопытную книгу, которая вызвала мой интерес; называ-

---

Познай самого себя и, если хочешь здраво судить о чем-либо, уразумей, что, основываясь лишь на том, что известно тебе, ты ни о чем не в силах судить.

* Через семьсот лет, вероятно, никто не вспомнит, что сей прелестный баснописец был герцогом Нивернуа, кавалером ордена Святого Духа,[38] но все будут помнить, что он был проницательным философом.

** Когда Геркулес в храме Венеры узрел статую Адониса, ее возлюбленного, он вскричал: «Нет в тебе ничего божественного!». К скольким блестящим, тонким, замысловатым, изысканным произведениям могут быть применены эти слова!

*** Надобно, чтобы какой-либо здравомыслящий человек составил основательный, хорошо обдуманный каталог лучших книг во всех областях, указав, каким образом и в каком порядке их следует читать, и присовокупил сюда и собственные свои замечания о них, а в отношении других книг отметил те фрагменты, кои более всего пригодны для того, чтобы заставить людей мыслить.

лась она «Об украденных репутациях». В ней были изложены те доводы, которые заставили решиться на уничтожение ряда книг; и в ней объяснялось, почему некоторые писатели, которыми современники восторгались, стали предметом презрения. В этой же книге исправлялись ошибки, допущенные по отношению к великим людям, те несправедливости, кои чинились их противниками под влиянием зависти, ослепления или иного какого-либо побуждения.*

Вдруг попался мне томик Вольтера.

— О небо! — вскричал я. — Каким же он стал тоненьким! А где же двадцать шесть томов in folio, вышедшие из-под его блестящего, его неиссякавшего пера? Как удивлен был бы сей прославленный писатель, когда бы вернулся в этот мир!

— Нам пришлось сжечь изрядную часть того, что было им написано, — услышал я в ответ. — Вам ведь известно, что этот превосходный талант весьма и весьма подвержен был человеческим слабостям. Он торопился излагать свои мысли, не давая им времени созреть. Спокойному выяснению истины он предпочитал дерзкие выходки. Поэтому мысли его редко бывали глубокими. Он был подобен быстрой ласточке, что легко и изящно касается поверхности широкой реки, на лету утоляя жажду: вдохновение свое он подчинил своему уму. Нельзя отказать ему в главной, самой благородной и самой великой из добродетелей — в любви к человечеству. Он пламенно боролся за интересы человека. Он ненавидел, он клеймил всякого рода гонителей и тиранов. Он возглашал с театральных подмостков разумную и трогательную мораль. Он живописал героизм в истинном его виде. Наконец, он был самым великим поэтом Франции. Мы сохранили ему поэму, хоть план ее и был довольно убог, но имя Генриха IV навсегда сделает ее бессмертной.[40] Особенно ценим мы прекрасные его трагедии, написанные с такой легкостью, таким разнообразием и такой правдивостью. Мы оставили себе те прозаические его сочинения, где он не корчит из себя шута, не грубиянит и ни над кем не глумится; именно в них он действительно оригинален.** Но вам,

---

* Остается написать интересную книгу, которая, впрочем, уже существует, — «Великие события, вызванные малыми причинами».[39] Но кто постигнет истинную связь событий? Укажу еще одну тему, весьма подходящую для нашего века: «Люди, достигшие высокого положения и ставшие гонителями других, дабы ублажать низость тех, кого прежде презирали»; и еще одну — «О преступлениях государей».

** Я восхищаюсь живописцем, рисующим природу, чья кисть свободно скользит по холсту, который смелую непринужденность, заставляющую играть его краски, предпочитает той холодной точности, той верности правилам, которые беспрерывно напоминают мне о том, что это лишь искусство и обман. О, как великолепен писатель, который, весь отдавшись своему таланту, допускает заведомую небрежность и, резвясь, бросает там и сям не связанные между собой мысли; который позволяет себе иметь недостатки, которому по нраву известный беспорядок и который особенно увлекателен именно тогда, когда нарушает общепринятые правила. Вот человек истинного вкуса: пусть наслаждаются глупцы унылой симметрией; всем тем, у кого живое воображение, любо, когда им придают еще крылья; этим-то благодетельным, будоражащим души воображением и должен завоевать себе писатель толпы читателей; подобно огненной стихии, он должен быть в постоянном движении.

очевидно, известно, что в последние пятнадцать лет[42] у него оставалось всего несколько идей, которые он сотни раз повторял на разные лады. Без конца твердил он все одно и то же. Он вызывал на бой противников, которых должен был бы молча презирать. Он имел несчастье осыпать пошлой, грубой бранью Жан-Жака Руссо[43] и при этом был так ослеплен завистливой яростью, что утратил весь свой ум. Нам пришлось сжечь всю эту чепуху, ибо она, без сомнения, обесславила бы имя его в веках. Будучи более ревнивы к его славе, нежели он сам, мы вынуждены были уничтожить половину написанного им, дабы сохранить этого великого человека.

— Господа, я восхищен, я вне себя от радости, что вижу здесь все творения Жан-Жака Руссо. Что за дивная книга «Эмиль»!* Какая чувствительная душа отразилась в превосходном его романе «Новая Элоиза»! Сколько сильных мыслей, сколько великих политических идей заключено в его «Письмах с горы»![44] Какое благородство, сколько достоинства в других его сочинениях! Как глубоко он мыслит и как умеет заставить мыслить другого! Все, кажется мне, достойно быть прочитанным.

— Мы были того же мнения, — отозвался библиотекарь. — В ваш век гордецы были очень мелки и очень жестоки, — прибавил он. — Вы, говоря по совести, не понимали Руссо и по своему верхоглядству не давали себе труда следовать за его мыслью. У него были кое-какие основания относиться к вам с презрением. Философы ваши и те были попляками. Но мы с вами, сдается мне, одинаково смотрим на этого писателя; мы понимаем друг друга, а поэтому бесполезно дальше продолжать разговор.

Роясь в книгах последнего шкафа, я с удовольствием обнаружил среди них несколько сочинений, некогда высоко ценившихся моей нацией: «Дух законов», «Естественную историю», книгу «Об уме», в которой ряд страниц сопровождался комментариями.** Не были также забыты и «Друг человечества», «Велизарий», труды Ленге, а также красноречивые «Речи» Тома,*** Сервана, Дюпати, Летурнера, «Беседы Фокиона».[45] Я познакомился с многочисленными трудами, написанными в век

Однако секрет этот известен немногим; большая часть писателей работает, обливаясь потом, и прилагает тысячи усилий, чтобы достичь леденящего душу совершенства. Кто рожден подлинным писателем, тот подвижен, стремителен, искрометен, тот выше всех правил; одним движением пера он внушает читателю свою мысль и доставляет ему удовольствие. Таков Вольтер; это олень, пробегающий поля литературы, те же, кто лишь тщится подражать ему, все эти холодные копиисты, подобные Ла Г.[41] и прочим замороженным писателям, не более как жалкие черепахи.

* Сколько пошлостей было написано против этого бессмертного сочинения! Как это люди осмеливаются писать даже тогда, когда не умеют читать!

** Паук извлекает яд из той самой розы, из коей пчела берет сладкий мед; так негодяй нередко находит пищу своей порочности в той самой книге, откуда человек мудрый черпает высшую радость.

*** У нас нет ныне трибуны для торжественных речей, однако искусство красноречия отнюдь не иссякло; оно действует, оно еще гремит, обличая зло, и если ему уже не под силу оживить в нас доблести, оно по крайней мере смущает нас и заставляет краснеть от стыда.

Людовика XV.* «Энциклопедия» оказалась переделанной в соответствии с новым, более удачным планом. Вместо этой несчастной мании располагать статьи по алфавиту,[46] то есть рассекать науки на части, каждая из наук была представлена отдельно, в полном объеме своем. Можно было с первого же взгляда охватить различные их разделы: это были обширные и подробные обзоры, по порядку следовавшие друг за другом. Такого порядка удалось достигнуть с помощью простой и интересной системы расположения статей. Все книги, написанные против христианской религии, оказались сожженными, ибо они стали совершенно бесполезными.

Я спросил, где стоят труды историков; на это библиотекарь сказал:

— Обязанности историков частично взяли на себя наши живописцы. Исторические события имеют физическую определенность, которая подвластна их искусству. История в сущности есть наука о событиях. Выводы из них и размышления по их поводу принадлежат историку, но не самой истории. Ведь событий великое множество. Сколько ходит в народе слухов, разных нелепых россказней! Сколько передается бесчисленных подробностей! Ничто так не интересует людей, как дела их века, и именно эта область во все века оставалась недоступной для глубокого изучения.

Историки усерднейшим образом описывали события, случившиеся в древности и в чужих странах, старательно отворачиваясь от тех, свидетелями коих сами являлись. Точность приносилась в жертву догадке. Люди эти настолько мало отдавали себе отчет в скудости своих знаний, что некоторые из них осмеливались браться за писание всемирной истории,[47] проявляя еще меньшую разумность, чем те добрые индусы, у которых мир держался хотя бы на четырех слонах. Словом, историю до такой степени искажали, о ней нагромождено было столько лжи и незрелых рассуждений, что с точки зрения здравого смысла в романе и то, пожалуй, больше связи, нежели в исторических сочинениях, чьи авторы словно плывут без компаса по безбрежному морю.**

Мы составили беглое извлечение из истории, представив каждый век в самых общих чертах и упоминая лишь те лица, кои действительно оказали влияние на судьбы государств.*** Мы опустили те царствования, ко-

---

* Философия, занимающаяся природой человека, его политикой и нравами, стремится распространять полезные знания. Ее хулители либо глупцы, либо плохие граждане.

** Размышляя над природой человеческого разума, приходишь к заключению, что правдивая древняя история — вещь невозможная. Труды по новой истории менее оскорбляют чувство правдоподобия, но от правдоподобия до правды нередко почти такое же расстояние, как от правды до лжи. Поэтому-то мы ничего и не узнаем из сочинений новых историков. Каждый из них приноравливает факты к собственным идеям приблизительно так же, как каждый повар на свой лад приготавливает жаркое. Приходится обедать, сообразуясь с вкусом повара; приходится читать то, что угодно было написать сочинителю.

*** Не знаю, почему историки пишут: царствование Карла VI, Людовика XIII? [48] Это неправильный способ выражения. Это вводит в заблуждение читателя, не являю-

торые являют нам лишь картины сражений да примеры жестокости. Их пришлось обойти молчанием, а повествовать лишь о том, что способно прославить природу человека. Не так уж безопасно, пожалуй, вести учет всем свершенным бесчинствам и злодеяниям. Такое множество виновных могло бы служить их оправданием, и чем меньше будут знать об этих преступлениях, тем меньше будет соблазна их свершать. Мы отнеслись к человеческой природе, как тот почтительный сын, который, боясь заставить устыдиться опьяневшего отца своего, накинул покров на его наготу.[49]

Я подошел к библиотекарю и шепотом попросил у него историю века Людовика XV, которая могла бы послужить продолжением Вольтерова «Века Людовика XIV».[50]

История эта была написана в двадцатом веке. Никогда не приходилось мне читать ничего более увлекательного, поразительного, невероятного. Историк, принимая во внимание причудливость обстоятельств сего века, не опустил ни одной подробности. С каждой прочитанной страницей возрастали мое любопытство и мое удивление. Мне пришлось изменить некоторые мои представления, и я понял, что век, в котором живешь, отделен от тебя наибольшим расстоянием. Многим я был поражен, многому посмеялся; но и поплакал немало ... Больше об этом я ничего не могу сказать: современные нам события подобны тем паштетам, которые можно распробовать, лишь когда они совсем остынут.*

Глава двадцать девятая

ПИСАТЕЛИ

Я уже выходил из библиотеки, когда меня нагнал какой-то человек, которого я там видел, но который за все три часа ни слова со мной не сказал; теперь между нами завязался разговор. Речь зашла о писателях.

— Я мало кого знал из них в мое время, — сказал я ему, — но те, кого случалось мне посещать, были все люди тихие, скромные, добропорядочные и весьма честные. Если и были у них недостатки, то они искупались таким множеством драгоценных качеств, что надо было быть вовсе неспособным на дружеские чувства, чтобы не привязаться к ним. Иным из них зависть, невежество и клевета основательно испортили характер,

---

щегося философом. Монархи, которые чаще всего не имели на век свой никакого влияния, должны быть отнесены к разряду неизвестных людей, и следовало бы, например, после смерти Генриха IV писать: мы приступаем к описанию века Ришелье и т. д.

* Со временем все становится явным. То, что содержалось в глубочайшей тайне, рано или поздно доходит до публики, подобно тому как реки в конце концов достигают моря; наши потомки будут знать все.

ибо всякий пользующийся известностью человек становится предметом нелепых рассуждений толпы; и как она ни слепа, она смело судит обо всем.* Вельможи, кои в большинстве своем так же лишены талантов, как и добродетелей, завидовали тому, что писатели привлекают к себе взгляды всей нации, и делали вид, будто пренебрегают ими.** Писателям приходилось к тому же превозмогать привередливый вкус публики, которая чем больше от них получала, тем скупее была на похвалы и порой отворачивалась от шедевров, восторгаясь какими-нибудь плоскими шутками. Словом, им приходилось иметь огромное мужество, подвизаясь на поприще, на котором человеческое тщеславие чинило им тысячу препятствий; но они преодолели и наглое презрение вельмож, и вздорные измышления толпы: заслуженная слава, заклеймив их противников, увенчала их благородные усилия.

— Вы совершенно верно начертали их портрет, — учтиво сказал мой собеседник. — Сочинители ныне у нас самые почитаемые граждане. Каждый человек ощущает потребность испытать душевный трепет, изведать сильные чувства; нет более высокого душевного наслаждения. Именно на писателей возлагает государство обязанности развивать в людях эту основу всех добродетелей. Рисуя картины величественные, трогательные или внушающие ужас, они делают человека более доступным умилению и, обостряя чувствительность его, способствуют воспитанию высоких качеств, которые она порождает. Мы находим, — продолжал он, — что писатели нашего века по части нравственности, а также полезных и глубоких суждений намного превзошли писателей века Людовика XIV. Они писали о виновности королей, о народных бедствиях, о пагубности страстей, об усердии добродетели, о стойкости преступления. Верные своему призванию,*** они отважно осмеивали кровавые победы, которыми тирания была

* Иной человек, неспособный написать и строчки, но мастер высмеять все и всех в разговоре, постоянно хуля все книги, браня всех авторов и теша тем свою злобу, в конце концов воображает себя знатоком и человеком тонкого вкуса; он заблуждается: он судит неверно и о себе, и о других.

** Не монархам, как бы ни были они всевластны, не князьям, как бы ни были они богаты, не разного рода правителям обязано большинство наций своим блеском, своей сплой и славой, а тем обыкновенным людям, что достигли столь поразительных успехов в ремеслах, в науках, да и в самом искусстве управления. Кто измерил вдоль и поперек земную поверхность? Кто открыл систему расположения небесных тел? Кто привел в движение эти удивительные мануфактуры, что одевают целые народы? Кто написал естественную историю? Кто проник в глубины химии, анатомии, ботаники? Еще раз скажу: это обыкновенные люди. И в глазах здравомыслящего человека они должны затмить этих мнимых великих мира сего, этих надменных карликов, которых питает лишь собственная спесь. Ведь на самом деле не короли, не министры, не люди, облеченные властью, являются, подлинными хозяевами мира; ими являются те превосходные мужи, чей могучий голос сказал своему веку: «Отрешись от нелепых предубеждений, вознеси свою мысль, отвергни то, чему по глупости своей ты поклонялся, поклонись тому, что по невежеству своему отвергал, употреби на пользу прежние свои заблуждения и уразумей права человека; уверуй в мои идеи; путь твой предначертан, иди же вперед, я ручаюсь за успех».

*** Нерон поселил в своих покоях знаменитую Локусту, искусную в приготовлении тонких ядов. Он так заботился о том, чтобы сохранить эту женщину, столь необходимую для осуществления его замыслов, что приставил к ней охрану. Это

обязана рабству и ослеплению. Никогда до того человечность не имела лучших защитников, и хотя они роковым образом и проиграли дело, отважные эти адвокаты навсегда остались в сиянии славы. Все эти светлые лучи мысли, вырывавшиеся из их сильных и смелых душ, не погасли, они передавались от поколения к поколению.* Так брошенное на землю и попираемое ногами семя вдруг подхватывается попутным ветром и, если находит затишное место, пускает росток, поднимается, превращается в дерево, густая листва которого может служить одновременно и украшением, и защитой. Если, глубже постигнув, что значит подлинное величие, мы презираем ныне чванство и тщеславие великих мира сего, если мы обратили взоры свои к предметам, достойным внимания людей, то этим мы обязаны литературе.** Нынешние писатели превзошли ваших в мужестве. Если бы какой-нибудь государь вздумал нарушить наши законы, они возродили бы тот знаменитый суд, что действовал в Китае; они увековечили бы его позор, вырезав его имя на грозных медных скрижалях. История в их руках становится рифом, о который разбивается ложная слава, трибуналом, вершащим свой суд над венценосными преступниками, горнилом, в огне которого полубог превращается в ничто, если при этом он не был еще и человеком.

Да устыдятся властители мира, сетующие на то, будто их окружает одно притворство и раболепие; разве нет рядом с ними этих немых советников, независимых и бесстрашных, которые могут, не оскорбляя, их вразумить, которым не нужны их благодеяния и не страшна их немилость.*** Мы должны воздать должное благородным этим писателям —

она приготовила питье, от которого умер Британник.[2] Так как от ее яда лицо несчастного принца почернело, Нерон приказал покрыть его слоем белил, чтобы оно являло взорам вид бледности, присущей обыкновенной смерти. Но когда его хоронили, хлынул сильный дождь, который смыл белила и сделал явным то, что император желал скрыть. Я вижу в этом случае довольно верную аллегорию: короли милостиво ласкают преданных им извергов; то ли по слепоте, то ли по ошибке, то ли вследствие уверенности в своей власти они полагают, что им удастся обмануть людей, устремивших на них свой взгляд; но история, сей обильный дождь, вскоре смывает обманчивый слой белил и возвращает преступлению свойственный ему цвет.

* Люди заурядного ума и те, кои недостаточно глубоко вдумываются в государственные дела, неспособны заметить, что науки и различные теории непосредственно связаны со счастьем и благоденствием государства.

** Можно с большой долей уверенности утверждать, что просвещение, с каждым днем делая все большие успехи и постепенно проникая почти во все государства, решительно уничтожит всю эту причудливую груду законов и заменит их более естественными и здравыми установлениями. Общественный разум будет обладать могущественной и мудрой волей, которая преобразует народы. Эту важнейшую услугу человечеству окажет книгопечатание. Давайте же печатать книги! И пусть читают все — женщины, дети, слуги и др. Но вместе с тем давайте печатать лишь то, что истинно и полезно, и будем хорошенько думать, прежде чем писать.

*** Я читал одну превосходную трагедию Эсхила, его «Прометея»:[3] великолепная и прозрачная аллегория — гений, преследуемый деспотом. За то, что он просветил смертных, принес им небесный огонь, Прометей пригвожден к вершине скалы; палимое лучами солнца тело его постепенно обугливается; вкруг него стенают нимфы

нет на свете другого ремесла, представители которого лучше бы выполняли свое предназначение. Одни из них воевали против суеверий, другие поддерживали права народов, эти разрабатывали золотую жилу морали, те являли миру примеры добродетели в облике терпимости и чувствительности.* Мы забыли о тех слабостях, которые, как у всякого человека, могли быть им свойственны. Мы видим лишь тот поток света, который они нам явили и распространили; это солнце нравственности, и погаснет оно только тогда, когда погаснет светило, озаряющее вселенную!

— Как хотелось бы мне насладиться обществом ваших выдающихся людей: меня всегда особо привлекали хорошие писатели; мне приятно лицезреть их, а в особенности их слушать.

— Вы попали как нельзя более кстати: как раз сегодня открыты двери Академии, там нынче принимают вновь избранного писателя.

— Очевидно, на место скончавшегося академика?

— Нет, что вы! Неужто же достойному надобно ждать, чтобы смерть поразила кого-то и он мог бы занять его место? Число академиков у нас не ограничено, каждый талант получает по заслугам; лавров хватает на всех.**

Глава тридцатая

ФРАНЦУЗСКАЯ АКАДЕМИЯ

Мы направились в сторону Французской Академии. Она сохранила свое название, но как непохоже было теперешнее ее положение на прежнее! Как преобразилось место, где происходили ее заседания! Располагалась она уже не в королевском дворце. О, как неузнаваемо меняются времена! Папа восседает там, где восседали цезари! Невежество и суеверие воцарились в Афинах! Изящные искусства переселились в Россию! Кто поверил бы в мои времена, что этот холм, служивший некогда предметом насмешливых шуток, оттого что на его вершине обнаружили однажды

из окрестных лесов, но они не в силах облегчить его страданий. Фурия связывает ему ноги цепями, от чего боль пронзает все его тело. Но, несмотря на все эти муки, в сердце его нет и следа раскаяния — он не жалеет, что служил добродетели.

* Какая великая награда для писателя, друга истины и добродетели, когда мы, читая его творение, роняем на его страницы горячую слезу, когда оно исторгает у нас тяжкий вздох, когда, закрыв его книгу, мы вздымаем глаза наши к небу, полные решимости посвятить себя добродетели! Вот, без сомнения, лучшая награда, которую только он может себе пожелать. Что по сравнению с этим разноголосая шумная слава, столь же суетная, сколь и быстротечная, столь же завидная, сколь и переменчивая?

** Писатель, который не снискал себе громкой славы, может утешаться мыслью, что был бы знаменит, живи он в век менее просвещенный. Когда бы прогресс человеческих знаний был ему дороже собственного тщеславия, он радовался бы тому, что ему не удается выйти из безвестности.

ослов, пасшихся среди чертополоха, превратится в подобие древнего Парнаса, в обиталище мысли, в местопребывание знаменитых писателей? Название Монмартр[1] было отменено, но лишь в угоду давнишним этим предрассудкам.

В этом величественном месте, со всех сторон защищенном заповедными лесами, царило спокойствие. Особым законом было предписано, чтобы ни один нестройный звук не нарушал тишины во всей окрестности. К этому времени были уже полностью исчерпаны все запасы гипса. Земля родила залежи нового камня, достойного стать фундаментом сего прибежища благородных стремлений. На холме, обласканном благотворными лучами солнца, росли деревья, верхние ветви которых то густо переплетались между собой, то образовывали небольшие просветы, через которые пытливый взгляд мог устремляться к небесам.

Вместе с моим спутником мы поднялись наверх, и я увидел разбросанные там и сям прелестные домики, расположенные на некотором расстоянии друг от друга. Я спросил, кто же живет в этих столь приятных на вид обителях, окруженных тенистыми рощицами, сквозь листву которых пробиваются солнечные лучи.

— Вы скоро узнаете это, — был ответ. — Поторопимся, сейчас начнется.

И в самом деле, я увидел множество людей, которые прибывали со всех сторон, однако не в каретах, а пешком: разговоры их отличались особой живостью и горячностью. Мы вошли в довольно обширное, но весьма просто украшенное здание. Я не заметил у входа в это мирное святилище муз никакого швейцарца с тяжелой алебардой, и никто не помешал мне войти в него вместе с толпой других добрых людей.*

В зале был превосходный резонанс, так что академика, обладающего самым слабым голосом, отчетливо было слышно в самых отдаленных ее углах. Не менее того поразил меня порядок, который царил на местах. Несколько рядов скамей, тянувшихся вдоль стен залы, расположены были ступенями, ибо здесь понимали, что в Академии так же важно хорошо слышать, как в Салоне живописи[3] видеть. Я имел полную возможность рассмотреть все во всех подробностях. Мне показалось, что число академических кресел здесь не было несуразно ограничено, но их отличала одна особенность — над каждым красовался флажок, на котором отчетливо обозначены были заслуги того академика, над чьей головой он развевался. Каждый мог занять академическое кресло без всяких иных околичностей при условии, чтобы он развернул над собой флажок с перечислением заслуг своих. Разумеется, никто не осмелился бы водрузить над собой пустой флажок и занимать академическое кресло, не имея заслуг, как это делали в мое время епископы, князья, маршалы и воспитатели

---

* Мне всегда очень любопытно бывает взглянуть поближе на выдающегося человека, и мне всякий раз кажется, что все в нем — походка, поступки, лицо, осанка — отличает его от обыкновенных людей. Ничего не остается, как обратиться к новой науке — физиогномике.[2]

наследников престола.* Тем более никто не осмелился бы явить глазам взыскательной публики заглавия сочинений посредственных или рабски подражательных: каждый предъявленный труд должен представлять собой новый шаг на поприще искусств, и публика не приняла бы ни одной книги, которая не превосходила бы предыдущую, посвященную тому же предмету.**

Мой спутник потянул меня за рукав.

— У вас весьма удивленный вид. Но сейчас вы удивитесь еще больше. Помните те прелестные, уединенные домики, что привлекли ваше внимание по пути сюда? В них-то и удаляются те, кому неведомая сила повелевает писать. Наши академики живут отшельниками.*** Для того, чтобы талант мог сложиться, набрать силы и устремиться прочь от проторенных дорог, открывая себе новые пути, надобно уединение. Когда осеняет писателя вдохновение? Когда он углубляется в самого себя, когда исследует собственную душу, эту глубочайшую рудную жилу, о подлинных богатствах которой иной раз и сам не подозревает. Уединение и дружба — вот истинный источник вдохновения! **** Что еще надобно тому, кто ищет природу и истину? Где сможет он внимать высокой их речи? В сутолоке городов, где помимо нашей воли множество мелких страстей осаждают наши сердца? Нет, средь полей и лесов; там молодеет душа; там постигает она все величие вселенной, сие спокойное, полное глубокого смысла величие; и там исторгает она пламенные слова, отчеканенные и окрашенные чувством, и воображение ее расширяется, подобно горизонту, нас окружающему. В ваши времена литераторы посещали салоны и развлекали там прелестных дам, добиваясь от них мимолетной улыбки. Зрелые и сильные мысли они приносили в жертву владычеству придирчивой моды; они калечили души свои, стремясь угодить своему веку. Вместо того чтобы пытливо всматриваться в таинственную чреду грядущих веков, они делались рабами изменчивого вкуса; гоняясь за обманчивыми прикрасами, они заглушали в себе внутренний голос, который кричал им: «Будьте неумолимы, как неумолимо быстротечное время! Будьте беспощадны, как беспощадны будут ваши потомки!».***** К тому же пи-

---

* На бульварах показывали говорящую куклу,[4] на которую дивился народ. Сколько механических кукол с человеческими лицами при дворе, в суде, в Академии произносят свои речи лишь благодаря некоей запрятанной в них невидимой пружине, развязывающей им язык. Механизм перестает действовать, и куклы немеют.

** Говорят, будто нынче невозможно прославиться. О люди, алчущие славы, ведь остается еще один путь — путь добродетели, на этом пути вам немного встретится соперников. Но не этой славы вы жаждете. Понимаю, вам нужно, чтобы все о вас говорили. Я оплакиваю вас, оплакиваю весь род людской.

*** Пусть тот, кто хочет обрести душевную силу, развивает ее прилежной работой: нет большего раба, нежели бездельник.

**** Разум человека долговечнее его чувств; следовательно, мудрее тот, кто ищет радостей в разуме, а не в чувствах.

***** Великий человек скромен, человек посредственный всюду твердит о мельчайших своих заслугах. Так, величественная река безмолвно несет воды свои, в то время как маленький ручеек с шумом и грохотом сбегает по камням.

сатели ведут здесь ту счастливую умеренную жизнь, которую мы считаем высшим благом. Мы не отвлекаем их от трудов ради собственной забавы, не подстерегаем малейшее движение их душ, дабы потом похваляться, что были тому свидетелями. Их время для нас столь же священно, как священен хлеб бедняка. Но мы внимательны к их нуждам и спешим по первому зову удовлетворить всякое их желание.

— В таком случае у вас должно быть немало затруднений. Разве не существует здесь людей, прикрывающих этим высоким званием свою леность или бездарность?

— Нет, в этом лучезарном чертоге знаний малейший изъян легко распознается. Плут и самозванец бегут от сих мест; они бессильны перед проницательным взором гения, они не смеют поднять на него глаз. А если бы какого-нибудь бездарного человека и привело сюда самомнение,* здесь нашлись бы сострадательные люди, которые поспешили бы его излечить, убедив отказаться от намерения, которое не сулит ему славы. И, наконец, закон...

Внезапно воцарившееся молчание заставило нас прервать разговор. Я весь превратился в слух, когда увидел, что один из академиков готовится читать рукопись, которую держал в руке; при этом он вел себя любезно и просто, что заслуживает быть особо отмеченным.

Будь проклята ты, неблагодарная моя память! Какую предательскую шутку сыграла ты со мной! Зачем не могу я повторить прекрасную речь, которую произнес этот академик! Ее сила, стройность, красоты стиля совершенно улетучились из моей памяти, однако общее впечатление от нее осталось навечно в душе моей. Нет, никогда доселе не чувствовал я подобного восторга! Лица всех присутствовавших выражали те самые чувства, коими был проникнут я, — то было одно из самых больших наслаждений, которое когда-либо испытало мое сердце. Какая глубина! Какие возвышенные образы! Сколько истины! Сколько пылкости! Какой благородный тон! Оратор обличал зависть,** он говорил об источниках сего гибельного порока, о страшных его последствиях, о грязи, которой недостойное это чувство забрызгало лавры некоторых мужей. Вся низость, вся несправедливость и гнусность зависти были описаны им столь убедительно и красноречиво, что, оплакивая злосчастные жертвы этой слепой страсти, каждый, содрогаясь, невольно вопрошал себя, не проникла ли и в собственное его сердце капля этого яда. Так искусно отразил он всякий отдельный характер, человеческие слабости во всем их многообразии представали в этом зеркале столь достойными осмеяния, глубины человече-

* Нет предмета, который нельзя было бы осмыслить с разных точек зрения; но из всех них истинна лишь одна. И труд, и сам гений становятся бесполезными, если устраниться от ее поисков.

** Какую жалость вызывают у меня ревнивые, завистливые умы! Они скользят мимо самого интересного в сочинении, не умея извлечь из него ничего полезного; они ищут в нем лишь себе подобное, то есть дурное. Ежедневно упражняя и разум свой, и вкус и тем самым питая и то, и другое, писатели создают себе радости, вновь и вновь возобновляемые, и самый счастливый человек — тот, что способен отринуть от себя зависть или излишнюю обидчивость.

ского сердца исследованы были столь необычайным образом, столь тонко и смело, что невозможно было не внять его доводам и, узнавая в этом зеркале самого себя, не дать себе клятву избавиться от этого мерзкого недуга. Охвативший всех страх оказаться похожим на только что описанное чудовище произвел благотворное действие на собрание. Я увидел — о, сколь поучительным было это зрелище! Сколь невероятно оно в анналах литературы! Я увидел, как люди, присутствовавшие на этом собрании, взирают друг на друга с нежностью и любовью. Я видел академиков, открывавших друг другу объятия свои и плачущих от радости, припав к трепещущей груди собрата. Я видел (поверят ли мне?), как, следуя их примеру, рассеянные по залу писатели предаются взаимным восторгам, превозносят талант своих коллег и клянутся им в вечной, нерушимой дружбе. Я видел текущие из всех глаз слезы любви и умиления. Это было истинное содружество братьев, которые сим достойным способом выражали свое одобрение, вместо того чтобы по-дурацки хлопать в ладоши, как это делаем мы.*

После того как все вволю насладились этими радостными мгновениями и каждый в полной мере проникся теми чувствами, кои испытал, указав, какие именно места речи особенно его поразили, после того как сотни раз была повторена клятва отныне вечно любить друг друга, — улыбаясь, поднялся со своего места другой член этого высокого содружества. В зале тотчас же пронесся шепот одобрения, ибо человек этот слыл остроумным насмешником в духе Сократа! ** Возвысив голос, он обратился к присутствующим со следующей речью:

Господа,

некоторые причины побуждают меня предложить сегодня вашему вниманию небольшой и, полагаю, довольно любопытный очерк о нашей Академии времен ее младенчества, другими словами — Академии восемнадцатого века. Пресловутый кардинал, которого наши предшественники столь непомерно превозносили и который, основывая сию Академию, якобы руководствовался глубочайшими соображениями, никогда, говоря откровенно, не сделал бы этого, когда бы сам не писал дурных стишков, от которых был в восторге, и не жаждал, чтобы ими восторгались другие. Так вот, сей кардинал, призвавший писателей составить вкупе с ним единое целое, с первых же шагов повел себя как деспот и подчинил их правилам, в которых гений никогда не нуждается. Учреждая Академию, он столь плохо представлял себе цели подобного сообщества, что счел

* Когда во время спектакля или в Академии что-либо трогательное или возвышенное вызывает восторг собравшихся и вместо глубокого душевного волнения, вместо молчаливого порыва я слышу эти все усиливающиеся рукоплескания, от которых того и гляди рухнет потолок, я думаю: сколько бы эти люди ни били в ладоши, они не испытывают при этом никаких чувств, они подобны обезьянам, производящим шум посредством двух дощечек.

** Насколько язвительное глумление есть плод человеческой злобы, настолько же остроумная шутка — плод мудрости. Шутки и насмешки были наиболее действенным оружием Сократа.

возможным учредить лишь сорок мест. Так что, сложись обстоятельства иначе, Корнель и Монтескье могли оказаться за дверями Академии, да так всю жизнь там и остаться. При всем этом кардинал воображал, будто сам по себе гений мало что значит, если не подкрепить его титулами и высокими званиями. Выводя столь странное суждение, он, очевидно, имел в виду рифмоплетов вроде Кольте[5] и прочих стихотворцев, которым покровительствовал из чистого тщеславия.

И так вошло в обычай, что тем, у кого не было ученых заслуг, но зато было золото, а вместо таланта был титул, стали предоставляться кресла в Академии наряду с теми, чья слава разнеслась уже по всей Европе. Первым явил тому пример сам кардинал, за ним последовали другие. Великие мужи, что приковали к себе взоры своего столетия и признаны были современниками задолго до того, как их признали потомки, принесли славу сему заведению; и тогда двери Академии принялась осаждать разряженная, титулованная знать; эти господа были столь самонадеянны, что чуть ли не давали понять, что вторгаются сюда лишь затем, чтобы осенить остальных сиянием жалких своих орденов, и, кажется, искренне воображали, что достаточно им сесть рядом с этими мужами, чтобы им уподобиться. Всем пришла тут охота прослыть великими умами — и маршалам (одни славились своими победами, другие поражениями), и высоким духовным лицам, которые даже не были авторами пастырских посланий, и судейским, и гофмейстерам, и финансистам; являя собой не более как декорацию сего спектакля, они всерьез полагали себя в оном взаправдашними актерами. Из сорока членов едва ли восемь или десять имели действительные заслуги; все остальные блистали заемным блеском. А между тем, чтобы избрать нового члена Академии, необходима была смерть одного из сорока; впрочем, чаще всего освободившееся место в сущности оставалось пустым и после избрания нового академика.

Презабавнейшее зрелище представляли собой заседания этой Акамии, чье имя пользовалось громкой славой во всей столице! В низенькой и тесной зале время от времени собиралось несколько скучающих особ, и, лениво развалясь в креслах, обитых выцветшей, некогда красной материей, с важным видом цедя слова, они придирчиво разбирали по косточкам стихотворную пиесу, либо прозаическую речь, дабы в конце концов присудить награду самой пустой из всех. Но зато (обратите на это особое внимание, господа!) они никогда не ошибались в подсчете жетонов, которые, пользуясь отсутствием своих собратьев, делили между собой. Вообразите, вместо дубовой ветви они вручали победителю золотую медаль, на которой выгравирована была следующая смехотворная надпись: «На бессмертие». Увы, медаль эта назавтра же попадала в тигель золотых дел мастера, и то была единственная существенная польза, которую извлекал из своего бессмертия увенчанный автор. Но вообразите себе, иной раз сей жалкий победитель до того зазнавался,* что от гордости чуть не те-

* После университетских наград, закладывающих в юные головы семена глупой гордыни, я не знаю ничего более опасного, нежели медали наших литературных

рял рассудок и на него просто смешно было смотреть; судьи же эти не имели никаких других обязанностей, кроме присуждения сих бесполезных наград, до которых никому и дела не было.

В залу Академии допускалась лишь писательская братия, а входила она туда только по билетам. На утреннее заседание являлись артисты оперы и исполняли мессу. Затем какой-нибудь священник, заикаясь от волнения, неизвестно зачем произносил похвальное слово Людовику IX[8] и битый час всячески расхваливал его, хотя совершенно очевидно, что тот был прескверным государем.* За ним ожидалось выступление другого священника, который должен был прочесть свое сочинение о крестовых походах, но поскольку в сем сочинении был здравый смысл, оно чрезвычайно разгневало архиепископа, и тот запретил ему выступать. На вечернем заседании слушалось еще одно похвальное слово, но на этот раз оратор был мирянином, и архиепископ, к счастью, не высказал своего мнения о мыслях, кои оно в себе заключало.

Надобно вам сказать, что вход в это помещение, где люди упражняли свой ум, охранялся фузилерами[9] и толстыми швейцарцами, которые ни слова не понимали по-французски. Трудно представить себе более забавное зрелище, чем тщедушная фигурка какого-нибудь ученого мужа рядом с огромным отталкивающего вида цербером, встречающим его у дверей.

Все это называлось «публичными заседаниями». Публика в самом деле собиралась в эти дни у Академии, но лишь затем, чтобы оставаться за дверьми; это было достаточно неучтиво по отношению к тем, кто имел любезность придти послушать ученые речи.

Между тем единственная свобода, которая еще оставалась у нации, — была свобода безнаказанно выражать свое мнение о прозе и поэзии, свобода освистать одного автора, рукоплескать другому, а порой и посмеяться над обоими.

Тем не менее академическая мания постепенно овладела всеми умами: каждый стремился стать королевским цензором,** а вслед за тем академиком. Вычисляли возраст каждого члена Академии; по количеству съеденных им за ужином блюд высчитывали, хорошо ли еще варит у него желудок: с точки зрения жаждавших занять их места, академики слишком уж долго заживались на свете. «Право, они бессмертны», — роптали эти

академий. Тот, кто получает их, начинает всерьез воображать себя важной особой, и это развращает его на всю жизнь. Он станет с пренебрежением относиться ко всем, кто не был увенчан столь редкостной, столь славной наградой. Обратите внимание на пример смехотворнейшего самомнения в «Меркюр де Франс» от сентября 1769 года, страница 184, строка 13. Некий весьма малозначительный автор[6] напоминает публике, что в бытность свою в коллеже он шел первым и лучше своих товарищей писал сочинения. Он очень этим горд и воображает, будто занимает первое место и в республике словесности... risum teneatis amici...[7]

* Первый карательный указ против частных мнений и суждений издан был Людовиком IX, обычно называемым Людовиком Святым.

** Королевский цензор! Я никогда не мог без смеха слышать эти два слова. Мы, французы, не понимаем, до чего же мы смешны, и насколько правы будут те наши потомки, которые станут взирать на нас с жалостью.

люди. При виде вновь избранного члена иной бормотал себе под нос: «Ах, дождусь ли я того часа, когда смогу, наконец, стоя в конце стола со шляпой на голове, произнести о тебе похвальное слово и объявить тебя великим человеком вкупе с Людовиком XIV и канцлером Сегье,[10] в то время как ты, уже всеми позабытый, мирно будешь почивать под мраморным надгробием [11] с эпитафией».

И вот, поскольку в тот век золото ценилось выше всего остального, богачам в конце концов удалось сговориться между собой, и писатели вовсе были изгнаны из Академии, так что в следующем поколении господа откупщики оказались единственными владельцами всех сорока кресел; они точно так же храпели на них, как и их предшественники, и еще более ловко делили между собой академические жетоны.

Тогда-то и родилась известная в то время поговорка: «Без кареты в Академию не въедешь».

Писатели пришли в полное отчаяние и, не зная, каким образом вернуть себе свои владения, узурпированные богачами, открыли военные действия. Сражались они привычным своим оружием — эпиграммами, песенками, водевилями,* они повытаскивали из колчана сатиры весь запас стрел. Но, увы, все было напрасно. На людских сердцах успела нарасти такая твердая мозоль, что ее невозможно было пробить даже острыми стрелами насмешки. И господа писатели никогда ничего бы не добились, не случись однажды с академиками, собравшимися на пышный пир, чудовищного несварения желудка. Аполлон, Плутос и бог, ведающий пищеварением, суть три божества, кои не ладят между собою. А поскольку каждый из присутствовавших на этом пиру ел за двоих — и как финансист, и как академик, — желудки их расстроились вдвойне, вследствие чего почти все они скончались. Писатели вернулись в прежнее свое жилище. Так была спасена Академия...

Все собрание разразилось хохотом. Один из присутствовавших, подойдя ко мне, спросил, соответствует ли истине выслушанное сообщение.

— Да, — отвечал я ему, — приблизительно так все это и бывало. Однако, когда с вершины двух тысяч четыреста сорокового года погружаешься взглядом в столь далекое прошлое, конечно, всего легче выставлять на посмеяние тех, кого уже нет. Впрочем, Академия даже и в мои времена держалась того мнения, что каждый из ее членов стоит большего, нежели учреждение в целом. К сему признанию нечего добавить. Все несчастье ведь в том, что когда люди образуют единое целое, ум их сужается, как сказал Монтескье,[12] а уж он-то знал, что говорил.

Я прошел в залу, где развешаны были портреты академиков как прежних времен, так и новых. Я увидел портреты тех, кому предстоит заменить собой академиков ныне здравствующих. Однако, не желая никого огорчать, не стану называть их имена:

---

* Слабое оружие, которым к тому же запрещают еще и пользоваться! Наглые, тщеславные вельможи ему покровительствуют и в то же время страшатся его.

Нередко истина бывает к нам жестока:
Влюбленные в нее несчастливы глубоко.[13]

Вольтер.

И все же не могу отказать себе в удовольствии назвать здесь одно имя, которое несомненно обрадует честных людей, любящих справедливость и ненавидящих тиранию: аббат де Сен-Пьер восстановлен здесь в своих правах,[14] и портрет его возвращен на подобающее ему место со всеми теми почестями, коих заслужил он редкостными своими добродетелями. Подлость, которую совершила Академия, поддавшись принуждению и проявив позорящее ее раболепие, оказалась исправленной. Портрет сего достойного и добродетельного мужа красовался теперь между портретами Фенелона и Монтескье. Я воздал должное такому благородному восстановлению справедливости. Среди портретов я не нашел уже ни Ришелье, ни Христины,[15] ни г-на ..., ни г-на ..., ни г-на де ..., которые даже и в живописном изображении выглядели бы здесь в высшей степени неуместно.

Спускаясь с холма, я еще несколько раз оглянулся на заповедные рощицы, служившие приютом замечательным талантам, которые здесь, в тишине, в созерцании природы трудились, дабы научить соотечественников своих истине, добродетели, любви и правде. И я сказал себе: «Как хотел бы я стать достойным такой Академии!».

Глава тридцать первая

КОРОЛЕВСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ [1]

Неподалеку от этого чудесного места я заметил храм, при виде которого сердце мое преисполнилось восторга и почтения. На фасаде его было написано: «Образ вселенной».

— Здесь находится королевская коллекция, — объяснили мне. — Это не значит, что владельцем ее является король; коллекция принадлежит государству; но мы называем ее так из уважения к нашему королю. К тому же по примеру прежних властителей наш король занимается врачеванием,[2] хирургией и ремеслами. Вернулось то блаженное время, когда люди, обладавшие могуществом и владевшие деньгами, необходимыми для опытов, и видевшие свою славу в том, чтобы способствовать открытиям, служащим на пользу человечеству, спешили вознести науку до такой степени совершенства, добиться которой можно было лишь под их наблюдением и при их содействии. Самые значительные люди нации употребляют ныне свое богатство на то, чтобы вырвать у природы ее тайны, и золото, бывшее некогда источником преступлений и залогом безделья, ныне служит человечеству и облагораживает труд его.

Я вошел, и радостное изумление охватило меня! Храм этот являл собой величественный музеум природы; все рожденное ею было собрано здесь в огромном изобилии, но при этом расположено в определенном порядке. Четыре крыла огромной протяженности образовывали здание этого храма; его венчал купол, самый большой, какой когда-либо приходилось мне видеть.

Кое-где встречались мне мраморные статуи с такими надписями: «Изобретателю пилы», «Изобретателю рубанка», «Изобретателю бойницы, ворота, блока, крана» и т. д. и т. д.

В каждом из этих четырех крыльев расположены были всякие виды животных, растений, минералов — таким образом, что их легко было обозреть. Какое огромное, какое разительное многообразие!

В первом крыле можно было увидеть растения от кедра до иссопа.[3]

Во втором — живые существа от орла до самой крошечной мушки.

В третьем — от слона до сырного клеща.

В последнем — от кита до пескаря.

В середине здания выставлено было все то, что является игрой природы, — разные чудища, всякие странные, небывалые творения, единственные в своем роде. Ибо в тех случаях, когда природа создает что-либо вопреки обычным своим законам, она проявляет еще большую мудрость, нежели тогда, когда не отступает от проторенных путей.

По стенам расположены были цельные куски руды, выломанные из копей, являя взору тайные лаборатории, в коих природа вырабатывает те металлы, которые человек сделал и полезными, и опасными. Длинные земляные пласты, искусно перенесенные сюда и живописно расположенные, воссоздавали вид земных недр и порядок, в котором следуют составляющие их слои песка, глины и камня.

Как был я поражен, когда вместо нескольких сухих костей увидел кита в натуральную величину, чудовищного гиппопотама, ужасного крокодила и т. п. В их расположении и поворотах были точно отражены все различия и особенности, которыми природа наделила эти свои творения. Таким образом, можно было легко проследить весь ряд живых существ от самого большого до самого малого. Лев, тигр и пантера представали в присущем им гордом виде. Кровожадные звери изображены были бросающимися на свои жертвы; почти достоверно было передано энергическое их движение, ясно чувствовалось дыхание жизни, вложенное в них творцом. Фигуры животных более добродушных или более хитрых сохраняли все до единой свойственные им черты! Хитрость, лукавство, кротость — все было передано самым искусным образом. Рядом с каждым животным выгравировано было подробное его описание, и специально предназначенные для этого люди дополняли сведения, кои не поместились в нем.

Умозрительные догадки нескольких наших философов о существовании единой цепи живых существ, в наши дни столь оспариваемые, нашли теперь свое подтверждение. Стало совершенно очевидно, что все виды между собою связаны, что они, так сказать, проистекают друг из

друга; что между мертвым камнем и растением, растением и животным, животным и человеком явно существуют тончайшие переходы, связывающие их в единую цепь, и что зарождение, жизнь и гибель любого существа обусловлены одними и теми же причинами. Было замечено, что во всех своих действиях природа с самого начала настойчиво стремилась к созданию человека [4] и терпеливо от самых первичных форм по многу раз возобновляла свои попытки, прежде чем достигла того предела совершенства, который являет собой сие образцовое творение, выше которого ей, как видно, уже не дано подняться.

Не было в этой коллекции хаотического скопления предметов, разбросанных там и сям или же нагроможденных друг на друга, которое неспособно дать ясное и точное представление о них. Расположены они были в продуманном порядке, в котором строго соблюдался принцип постепенности. Но особенно способствовало этому порядку то обстоятельство, что изобретен был некий состав, предохранявший оберегаемые образцы от насекомых, кои заводятся от гниения.

Я был совершенно ошеломлен этим множеством чудес. Все великолепие природы явилось здесь глазам моим! Как восхищался я в эти минуты ее творцом! Какое благоговение вызывали у меня разумность и мудрость его и — что превыше всего — его доброта! Каким великим оказывался человек перед лицом этих собранных его руками бесконечных чудес, которые, казалось, для него-то и созданы, поскольку одному ему под силу приметить их и постичь. Эта соразмерность всех звеньев цепи живых существ, все эти тончайшие различия между ними, эти мнимые пробелы, всегда восполняемые, четкая закономерность явлений, осуществленный замысел, не требующий истолкователя, ибо замысел становится ясным, стоит лишь поднять взор к небесам, — есть ли зрелище величественнее на сей земле, которая и сама-то не более как атом! *

— Кто же проявил столь поразительное рвение и осуществил это грандиозное предприятие? — спросил я.

---

* По правде говоря, история физики являет собой историю нашего бессилия. То немногое, что мы знаем, обнаруживает лишь меру нашего невежества. Физика для нас наука столь же темная, какой она была для древних. Нельзя отрицать, что в отдельных частях своих она кое-чего достигла; можно отрицать ее как нечто целостное. Располагает ли она хоть одной аксиомой? Намерение написать естественную историю [5] весьма похвально. Но это звучит слишком самонадеянно. Иной жизнь свою кладет на то, чтобы изучить мельчайшие свойства какого-нибудь минерала, и умирает, так и не исчерпав своего предмета. Разум человека устрашается при виде такого великого множества явлений — животных, деревьев, растений. Но значит ли это, что он должен отказаться от надежд? Нет, именно здесь дерзость становится добродетелью, упрямство — мудростью, самоуверенность — свойством полезным. Нужно до тех пор подстерегать природу, пока она не раскроется перед нами. Угадать ее тайну — вещь не столь уж неосуществимая, нужно лишь, чтоб никогда не прерывалась цепь наблюдений и каждый естествоиспытатель к совершенствованию науки относился бы ревностнее, нежели к собственной славе; такое самоотвержение редко встречается, но оно — вещь необходимая; оно позволяет выявлять подлинных друзей человечества.

— Этим мы обязаны нескольким королям, — ответили мне. — Ревностно заботясь о том, чтобы оправдать звание существ разумных, побуждаемые любознательностью, они стремились прорвать завесу, за которой прячет свои тайны природа, и благородная эта страсть зажгла в них постоянно поддерживаемый огонь. Ныне мы, говоря о королях, уже не подсчитываем выигранные ими сражения, взятые приступом города, кровавые и бесчестные их победы, а говорим: «Он сделал такое-то открытие в бесконечном мире явлений, он осуществил такой-то проект на благо человечеству...». У нас уже не тратятся сотни миллионов на то, чтобы убивать людей на войне; деньги эти идут на умножение подлинного богатства нации — они служат на пользу умения и знания, способствуя расцвету наук и применению плодов оных в искусствах и промыслах.

Во все времена появлялись открытия, сделанные людьми на первый взгляд самыми заурядными; многие из этих открытий были впоследствии утрачены — лишь на миг блеснули они, подобные зарнице. Но мы поняли: то, чему должно существовать, не может быть утрачено навсегда; все таится в недрах природы — надобно лишь искать. Обширны ее тайники, она подскажет вам не одну, а тысячу возможностей. Ничто не пропадает в мире явлений. Беспрестанно перебирая все великое множество идей, можно случайно заново придти к тому, что уже было открыто ранее.*

Будучи твердо уверены в возможности самых удивительных открытий, мы не преминули сделать их. Ни в чем не полагались мы на случайность. Сие устаревшее слово, лишенное смысла, есть не что иное, как синоним незнания. Труд, догадливость, терпение — вот те орудия, что понуждают природу раскрывать нам самые потаенные свои сокровища. Человек сумел извлечь все, что только мог, из полученных от нее даров. Наметив

---

* Сравнивая то, от чего отправлялись люди в физике, с тем, на чем ныне они остановились, нельзя не признаться, что, пользуясь всеми имеющимися у нас приспособлениями и снарядами, мы уже не столь широко используем свой ум и способность к догадке. Человек, предоставленный сам себе, казалось, был более могущественным, чем теперь, когда в его распоряжении имеются всякие искусственные рычаги. Чем их больше, тем мы становимся ленивее. Все эти бесчисленные опыты лишь способствовали умножению ошибок. Обрадовавшись возможности видеть явления воочию, мы сочли цель достигнутой; идти дальше считают излишним. Наши физики скользят мимо тысячи важных явлений, в то время как им следовало их объяснять. Физические опыты превратились в некое лицедейство, вернее в представление фокусников. Нередко, добиваясь нужных результатов, демонстратор помогает себе пальцем, ежели опыт происходит недостаточно быстро или вовсе не получается. Что мы видим вокруг? Никому не нужные, не связанные между собой открытия; физиков-догматиков, все подчиняющих одной доктрине; болтунов, вызывающих восторги толпы и внушающих презрение тому, кто вдумывается в смысл гладких и пустых их речей. В трудах Академии наук[6] представлено множество различных фактов, порой мы находим здесь поразительные наблюдения; но все они подобны рассказам того единственного путешественника, что жил среди никому не ведомых племен, к которым никто после него так и не смог снова проникнуть. Приходится верить на слово и путешественнику, и физику; приходится верить им, даже если они заблуждаются: из их речей не извлечешь никакой пользы, поскольку племена эти недоступны, а наблюдения неприменимы к какому-либо реальному делу.

себе точку, до которой он в состоянии был подняться, он всякий раз считал делом чести устремляться вперед по бесконечной стезе, открывавшейся пред ним. Считалось, что жизнь человека слишком коротка. Ну и что же? Мы заставили каждого объединить свои усилия с усилиями других, и это привело к невиданным успехам. То, что начинает один, завершает другой. Цепь эта никогда не прерывается. Каждое звено ее накрепко спаяно с соседним: так все удлиняется и удлиняется она на протяжении ряда столетий — и наступит день, когда эта цепь связанных между собой идей и трудов, обвившись вкруг вселенной, обоймет ее всю. Уже не забота о собственной славе, а мысль о пользе всего человечества, в ваши времена присущая лишь немногим, движет самыми трудными нашими предприятиями. Нас не сбивают уже с толку всякие пустопорожние теории.* Все они, слава богу (и вашему безрассудству), исчерпав себя, прекратили свое существование. Лишь факел опыта освещает нам путь. Цель наша — познать тайные причины вещей и расширить владычество человека, дав ему в руки средство, позволяющее выполнить все те труды, кои могут его возвеличить.

Есть у нас несколько отшельников (только такие отшельники у нас и есть), которые всегда живут в лесах, но живут там для того, чтобы собирать травы. Они сами избрали себе сие поприще, это их призвание. Сюда они являются в назначенные дни, дабы поделиться с нами некоторыми своими ценными открытиями. Мы возвели башни на вершинах высоких гор, откуда одновременно ведутся постоянные наблюдения. Мы создали искусственные водопады и пороги, дабы иметь возможность наилучшим образом использовать двигательную силу воды.** Мы ввели в обычай ароматические ванны и с их помощью омолаживаем тех, чье тело иссушено годами, возвращая им силы и жизненные соки. Ибо господь для того и создал такое множество полезных растений, для того и даровал человеку способность распознавать их, чтобы препоручить ему заботу о собственном здоровье, дабы он мог поддерживать тонкую, драгоценную нить своей жизни.

Даже прогулки наши, которые в ваше время не преследовали, как видно, никакой иной цели, кроме удовольствия, нам приносят пользу. Гуляя, мы наслаждаемся благоухающими фруктовыми деревьями, кото-

* Пусть объяснят мне создатели физических и философских теорий следующее диво: отец Мабийон[7] в юности был весьма тупым малым; когда ему было двадцать шесть лет, он как-то упал и стукнулся головой об угол каменной лестницы. Больному сделали трепанацию черепа. После сей операции он вдруг обрел блестящую ясность восприятия, поразительную память и небывалое усердие к учению. Инструмент, просверливший ему череп, каким-то образом воздействовал на его мозг, и он стал другим человеком.

** Самые блистательные и дорогостоящие сооружения отнюдь не являются самыми замечательными, если их возводят лишь ради бесполезной роскоши. Машина, которая движет воду, омывающую Марли,[8] обладает в глазах мудреца меньшей ценностью, нежели простое колесо, которое вертит вода маленького ручейка, дабы молоть зерно окрестных деревень или облегчать усилия трудолюбивого ремесленника. Талант может быть всемогущим, но велик он лишь тогда, когда служит человеку.

рыми заменили мы липы, бесполезные каштаны и чахлые вязы. Мы пересаживаем, мы прививаем дикорастущие деревья и трудами своими отвечаем на благосклонную податливость природы, лишь ждущей руки хозяина, коему творец как бы подчинил ее.

Есть у нас обширные зверинцы, предназначенные для всякого рода животных. Мы обнаружили в пустынях такие их виды, которые вам были совершенно неизвестны. Мы скрещиваем животных различных пород, дабы видеть многообразные результаты этого скрещивания. Здесь мы пришли к неожиданным и весьма полезным открытиям — нам удалось удвоить объем и вес отдельных животных; словом, мы убедились, что труд, вкладываемый человеком в природу, редко остается невознагражденным. Потому-то и удалось нам заново раскрыть несколько секретов, в ваше время совершенно утраченных, ибо вы не давали себе даже труда попытаться найти их, а предпочитали нагромождать слова в книгах вместо того, чтобы на деле стараться возродить дивные открытия прошлого. Ныне у нас есть все, что было у древних, — и ковкое стекло, и прозрачный камень, и тирский пурпур, которым красились одежды императоров, и зеркало Архимеда, и искусство бальзамирования, которым владели египтяне, и машины, с помощью которых они возводили свои обелиски, и особая ткань для саванов, в которые они завертывали трупы, сжигаемые на кострах; мы умеем плавить камни, у нас есть негасимая лампа и даже аниева приправа.[9]

Пройдитесь по нашим садам, где ботаника достигла наивысшего своего совершенства.* Ваши слепые философы сетовали на Провидение, жалуясь, что земля покрыта ядовитыми растениями; мы открыли, что эти яды являют собой наиболее действенные из лекарств. Провидение оказалось оправданным, как было бы оправдано во всех других своих действиях, не будь знания наши столь ничтожными, а разум столь ограниченным. Теперь по земле уже не раздаются жалобы и стенания; ничей скорбный голос не восклицает более: «Как все дурно!». Люди повторяют под взглядом господним: «Как все хорошо!». Само действие ядов ныне изучено, описано, и мы пользуемся ими.

Мы столь успешно научились извлекать из растений их сок, что стали производить из него вина, превосходно усваиваемые и в то же время приятные на вкус, — они проникают сквозь поры, смешиваются с животными соками, укрепляют здоровье и делают тело более сильным, более гибким и могучим. Мы нашли способ растворять камни в человеческом организме, не обжигая при этом внутренностей. Мы излечиваем чахотку, воспаление в легких, все те болезни, что некогда считались

---

* Когда ты шагаешь по полям и лугам, думая, быть может, о корабле, что, бороздя морскую гладь, везет твои сокровища, остановись, о неосторожный! Ты топчешь скромную полевую травку, что могла бы стать для твоего сердца источником радости и здоровья, а это куда большее сокровище, нежели все те, которыми, быть может, нагружен твой корабль. Приди к тому, к чему пришел Жан-Жак Руссо, откажись от всех этих бесчисленных химер, займись собиранием растений! [10]

смертельными.* Но самое прекрасное из всего, что нам удалось сделать, — это искоренение той ужасной гидры, того позорного недуга, что подтачивал источник жизни и наслаждения: человечество шло к своей гибели. Мы открыли надежное лекарство, которому суждено было вернуть его к жизни и, что еще важнее, к ее радостям.** *

Водя меня по музею, сей новый Бюффон показывал мне различные предметы и объяснял их, сопровождая сии объяснения собственными рассуждениями. Но еще более я был поражен, взойдя в залу оптики, где оказалось сосредоточенным все, касающееся света. Это было какое-то бесконечное колдовство. Глазам моим предстали различные виды, пейзажи, дворцы, радуги, метеоры, светящиеся цифры, моря — ничего этого на самом деле не существовало, то была иллюзия, но более достоверная, чем сама реальность. Поистине, это был приют волшебства. Когда бы передо мной вдруг возникло зрелище свершившегося во мгновение ока сотворения мира, вряд ли испытал бы я более живое и сладостное ощущение.

Мне показали микроскопы, с помощью которых моим глазам представились вновь открытые существа, прежде недоступные острому зрению наших исследователей. Они не утомляли глаз, настолько просто, дивно и искусно были отшлифованы их стекла. С каждым шагом, который я делал по этой зале, любознательность моя все возрастала, а чем жаднее она становилась, тем больше находила себе пищи. — О, как велик здесь человек, — вскрикивал я несколько раз, — и как ничтожны по сравнению с ним те, кого в мои времена называли великими! ***

Не меньшие чудеса предстали мне в зале акустики. Здесь научились подражать всем членораздельным звукам человеческого голоса, крикам животных, пению различных птиц: стоило нажать какую-то пружину, и вам казалось, будто вы вдруг перенеслись в девственный лес. Слышен был рев львов, тигров, медведей; казалось, они пожирают один другого. От невыносимого этого рева чуть не лопались уши, диким, душеразди-

* Бесчестен человек, который заявляет, что ему известен некий секрет, могущий быть полезным человечеству, но приберегает его лишь для себя и своих близких. Какого же вознаграждения ждешь ты за него, несчастный? Ведь ты мог бы ходить среди братьев твоих и говорить себе: это и мне обязаны они своим здоровьем и благоденствием! А тебе неведома сия благородная гордость, ты неспособен умилиться сей мыслью! Так бери же плату, презренный, и закрывай душу свою тем радостям, коими мог бы насладиться. Ты сам произнес себе приговор, сам покарал себя!

** Мне становится грустно, когда я слышу шутки по поводу этого горестного бедствия. Об ужасном сем недуге надобно говорить лишь со слезами, не уподобляясь в этом шуту Вольтеру.[11]

*** Можно было бы составить объемистую книгу из всего того множества различных вопросов и физики, и морали, и философии, которые предстают нашему разуму и на которые гении так же бессильны дать ответ, как и глупцы; и можно было бы на все эти вопросы ответить одним словом, но слово сие есть разгадка глубокой тайны, нас окружающей. Я не теряю надежды, что однажды она будет открыта; я всего ожидаю от разума человека, когда он будет знать свои силы, когда он сосредоточит их, когда он посчитает своим долгом проникнуть во все сущее и подчинить себе все, чего он касается.

рающим воплям вторило вдалеке эхо, еще более оглушительное. Но вот нестройные эти звуки сменились соловьиным пением. Каждая частица воздуха, попавшая в сладкозвучное горлышко сей птички, становилась мелодией; явственно слышен был даже влюбленный трепет ее крыл и те сладостные ласкающие звуки, в подражании которым человеку никогда не достигнуть полного совершенства. Упоительная приятность этих звуков сочеталась с радостным удивлением — и чувство блаженства, рождаемое сим удачным соединением, проникало во все сердца.

Всегда преследовавший нравственные цели народ этот даже из сего редкостного изобретения сумел извлечь пользу. Стоило какому-нибудь молодому государю завести речь о сражениях или проявить воинственные склонности,* как его препровождали в особую залу, которую с полным на то основанием нарекли «адом»; здесь машинист тотчас же пускал в ход соответствующие рычаги, и ухо монарха поражал оглушающий грохот сражения — крики ярости и боли, жалобные стоны умирающих, клики ужаса и громыхание пушек — эти звуки гибели, этот жуткий глас смерти. И если при этом в душе его не просыпалась природа, если вопль отвращения не вырывался из груди его, если чело его оставалось спокойным и бесстрастным, — тогда его запирали в этой зале до конца его дней; и каждое утро давали ему вновь послушать сию музыкальную пиесу, дабы он мог наслаждаться ею, не принося этим ущерба человечеству.

Смотритель этого кабинета вздумал подшутить надо мной. Без предупреждения он вдруг пустил в ход свою дьявольскую музыку.

— О небо! Пощадите, пощадите меня! — завопил я вне себя, затыкая уши. Он повернул рычаг, и грохот прекратился.

— Как, — спросил он меня, — вам не доставляет это удовольствия?

— Да нужно быть самим сатаной, чтобы находить удовольствие в этом ужасающем шуме, — отвечал я.

— Но ведь в ваши времена это было довольно обыденным развлечением, которому короли и принцы предавались так же, как и охоте,** являвшей собой, по чьему-то справедливому замечанию, точный образ войны.*** Вслед за тем приходили поэты и начинали воспевать их за то,

---

* Вы, могущественные властители, разделившие меж собой земной шар, у вас есть пушки, мортиры, огромные армии, выстроенные в блестящие шеренги солдаты; единым словом отправляете вы их уничтожать государство или завоевывать область. Не знаю почему, но средь всех этих реющих над вами знамен вы кажетесь мне жалкими и ничтожными. Римляне во время своих игр устраивали бои пигмеев и улыбались, глядя, как те наносят друг другу удары; они не подозревали, что и сами-то являют собой пигмеев в глазах мудреца.

** В тяжких бедствиях, разоряющих ныне Европу, есть, на мой взгляд, одно преимущество: убавляется количество людей.[12] Ежели им все равно суждено быть столь несчастными, их станет хотя бы меньше. А если подобный взгляд на вещи покажется жестоким, пусть вина за него падет на тех, кто в сих бедствиях виновен.

*** Как скверно и нелепо устроен наш политический мир! Восемь или десять коронованных особ держат все человечество на цепи; договорившись меж собой,

что им удалось всполошить всех птиц на десять лье в округе и они столь мудро позаботились об обеде для воронья. Особенно любили они описывать сражения.

— Ах, умоляю вас, не поминайте мне об этой заразной болезни, терзавшей несчастное человечество. Увы! Оно проявляло в ту пору все признаки бешенства и безумства. Трусливые короли с высоты своих тронов посылали его на смерть, и послушное это стадо, охраняемое лишь собакой, радостно устремлялось на бойню. Как было излечить людей в те времена обманчивых представлений? Как было рассеять это наваждение? Из-за какого-то небольшого жезла, из-за красной или синей ленточки, из-за эмалевого крестика[13] люди теряли рассудок, доходили до умопомрачения. Иных сводил с ума даже один вид кокарды[14] или нескольких жалких монет. Должно быть, вам понадобилось немало времени, чтобы излечить человечество от сего опасного недуга; но я-то предвидел,

---

они оказывают друг другу взаимную поддержку, дабы удерживать эту цепь в своих королевских руках и натягивать ее, как им вздумается, доводя иной раз род человеческий до конвульсий. Переговоры их отнюдь не происходят тайно; они гласны, они ведутся открыто, публично, посредством полномочных послов. Наши жалобы не достигают ушей столь высоких особ. Взглянем-ка на Европу. Она превратилась в обширный арсенал, где достаточно одной искры, чтобы воспламенились тысячи бочек с порохом. Иной раз взрыв происходит по вине какого-нибудь неосмотрительного дипломата. Пожар охватывает одновременно и юг, и север, и все концы света. Сколько пушек, сколько бомб, ружей, ядер, штыков, сабель и т. д., сколько смертоносных марионеток, послушных хлысту военной дисциплины, ожидают лишь приказа из какого-нибудь кабинета, дабы начать кровавый свой парад! Даже геометрия кощунственно осквернила дивные свои атрибуты! Она споспешествует воинственному пылу государей, который порождается попеременно то тщеславием, то сумасбродством. На каком точном расчете основаны приказы об уничтожении армии, осаде крепости, сожжении города! Я видел академиков, хладнокровно вычислявших силу заряда для пушки. Эх, господа, господа! Дождались бы, по крайней мере, собственных владений! Какое дело вам до имени короля, который будет царствовать в такой-то стране? Ваша любовь к родине — добродетель ложная и опасная для человечества. Ибо что это значит — любовь к родине? Чтобы любить государство, нужно быть полноправным его гражданином. А за исключением двух или трех республик, на свете не осталось страны, которая была бы родиной в подлинном смысле слова. Почему англичанин мне враг? Я связан с ним узами торговли, ремесел и всякими другими узами. У нас нет никакой природной неприязни друг к другу. Почему вы хотите, чтобы, перейдя какую-то границу, я начал отделять свои интересы от интересов других людей? Любовь к родине есть чувство фанатическое, придуманное королями и пагубное для вселенной. Ибо, будь моя нация в три раза малочисленнее, я вынужден был бы ненавидеть в три раза большее количество людей; моя любовь и ненависть зависели бы тогда от изменяющихся границ государств: в один и тот же год мне приходилось бы объявлять войну одному соседу и заключать мир с другим, которого еще накануне я уничтожал. Тем самым я поддерживал бы в сущности лишь сумасбродные права того хозяина, который пожелал бы распоряжаться моей душой. Нет, Европе, на мой взгляд, надобно составить единое обширное государство и — осмелюсь выразить это желание — под одним и тем же властителем. В конечном итоге это принесло бы великую пользу; вот тогда я смог бы полюбить свою родину. А ныне? Что такое свобода в наши дни? Не что иное, как героизм рабства, как сказал один писатель.

что рано или поздно под действием успокоительного бальзама философии эти позорные язвы затянутся.*

Затем попал я в залу математики; все показалось мне здесь великолепным и как нельзя лучше устроенным. Из науки этой изъято все, что напоминало собой детские игры, все, что являло лишь сухие, бесплодные упражнения ума или же выходило за пределы его возможностей. Увидел я всякого рода машины, имеющие целью облегчить труд человека и обладающие гораздо большей мощностью, нежели те, что были известны нам. Они производят всевозможные движения. С их помощью шутя поднимают самые тяжелые грузы... — Взгляните, — сказали мне, — на эти обелиски, на эти триумфальные арки, эти поражающие взоры высочайшие монументы — все это уже не плод силы и ловкости множества человеческих рук: их вознесли ввысь с помощью различных приспособлений — более совершенных снарядов и рычагов. Я обнаружил здесь также точнейшие инструменты, предназначенные для всякого рода геометрических или астрономических измерений и т. п.

Все те, кто когда-либо предпринимал попытки создать нечто новое, смелое, небывалое — даже если попытки эти не увенчались успехом (ибо и неудачи иной раз бывают поучительны), — были увековечены здесь в мраморных бюстах, коим приданы были соответствующие атрибуты. Но мне потихоньку шепнули, что некоторые совершенно поразительные открытия были доверены лишь самому узкому кругу особо мудрых людей; будучи весьма полезными сами по себе, изобретения эти впоследствии могли быть использованы во зло: ** человеческий разум, утверждали они, не достиг еще того высшего предела, коего ему предстоит достигнуть, чтобы можно было, не подвергаясь опасности, использовать эти самые редкостные или самые могущественные изобретения.***

---

* Какое зрелище! Две тысячи мужей, расположившихся на огромном пространстве и ожидающих лишь сигнала, чтобы начать кровопролитие. Они убивают друг друга под лучами солнца, среди весенних цветов... Не ненависть движет ими, а короли, приказавшие им умирать. Если бы это жестокое событие происходило впервые, разве не вправе были бы усомниться в нем те, кто не видел его воочию? Мысль эта принадлежит г-ну Гайару.[15]

** Царь Езекия,[16] говорится в Библии, велел уничтожить книгу, в которой речь шла о свойствах растений, опасаясь, как бы их не стали использовать неподобающим образом и это не способствовало бы развитию болезней. Сие весьма любопытно и наводит на многие размышления.

*** Каким ужасным, каким пагубным для человеческого рода оказался день, когда некий монах открыл,[17] что в селитре таится смертоносный порошок! У Ариосто говорится, что, когда дьявол выдумал огнестрельное оружие, он, охваченный жалостью к людям, бросил его в реку.[18] Увы! Ныне на земле уже никуда не спрячешься. Утратило смысл мужество, оно бесполезно: отважному гражданину уже не приходится надеяться на силу своих рук. Пушкой распоряжается небольшое число людей, оружие это делает их полными хозяевами над нами, и если бы, на нашу беду, все они договорились между собой, что бы со всеми нами стало?

Глава тридцать вторая

САЛОН

Поскольку все науки и искусства у этого народа идут рука об руку, как в переносном смысле, так и в прямом, мне понадобилось сделать всего несколько шагов, чтобы очутиться в Академии живописи.[1] Я вошел в просторные залы, стены которых украшены были картинами величайших мастеров. Каждая из них по поучительности своей и нравственным целям стоила целой книги. Картины сего салона уже не являют собой бесконечного повторения мифологических сюжетов, тысячу раз перепетых на все лады. Мифология, обогатившая искусство в его истоках, с течением времени стала, и с полным на то основанием, считаться чем-то невыносимо скучным. Самые прекрасные вещи на свете в конце концов приедаются; вечно твердить одно и то же — удел глупцов. Та же судьба постигла картины тех художников, что, грубо льстя Людовику XIV, изображали его в виде полубога. Время — а оно сродни справедливости — предало забвению лживые эти полотна; поставило оно на подобающее им место и стихи Буало, и прологи Кино.[2] Искусствам запретили лгать.* Не стало и тех жирных особ, что назывались «любителями»[5] и указывали талантам, держа наготове кошель с золотом. Таланты были здесь свободны и творили по собственным своим законам, ни перед кем более не раболепствуя.

Сии нравоучительные полотна не изображали уже ни кровавых битв, ни любострастных утех мифологических богов; не было средь них портретов государей, изображенных в окружении именно тех добродетелей, коих им более всего недоставало: здесь были выставлены лишь картины на сюжеты, способные внушить чувства высокие и чистые. Художники уже не тратили свои драгоценные таланты на изображение языческих божеств, столь же нелепых, сколь и непристойных; на них возложена была одна обязанность — поведать грядущим поколениям о важнейших событиях, разумея под ними те, что дают наиболее возвышенное представление о природе человека: о случаях проявления милосердия, великодушия, верности, мужества и присутствия духа в минуты опасности.[6]

Я заметил, что, запечатлевая на этих картинах все то, что заслуживало стать достоянием потомства, художники особенно охотно увекове-

---

* Когда в Версальской галерее я вижу Людовика XIV, изображенного в виде бога-громовержца, держащего в руке молнию и восседающего на лазурном облаке, презрительная жалость, которую я испытываю к Лебрену,[3] готова распространиться на все его искусство; однако картина эта пережила и бога-громовержца, и художника, вложившего ему в руку молнию; это размышление успокаивает меня, и я улыбаюсь.

Когда Людовик XIV впервые увидел картины Тенирса,[4] он брезгливо отвернулся и велел убрать их из своих покоев. Если сей монарх не мог вынести вида этих изображенных на полотне молодцов, которые чокаются друг с другом и весело танцуют, если он предпочитает им людей в синих мундирах, что скачут на конях средь пыли, в дыму сражений, — душа Людовика XIV немногого стоит.

чивали примеры душевного величия государей. Увидел я здесь Саладина, приказывающего вывесить саван у дверей своих; Генриха IV, велящего накормить жителей осажденного им города; Сюлли, медленно отсчитывающего сумму, предназначенную его господином на развлечения; Людовика XIV, шепчущего на смертном одре: «Я слишком любил войну»; Траяна, разрывающего свое платье, чтобы перевязать язвы несчастного;[7] Марка Аврелия, во время похода спешивающегося со своего коня, дабы принять прошение у бедной женщины; Тита, раздающего народу хлеб и лекарства; Сент-Илера с раздробленной рукой, указывающего на сына, который оплакивает распростертого на земле Тюренна; великодушного Фабра, вместо своего отца налагающего на себя цепи.[8] Никто здесь не находил эти сюжеты слишком мрачными или печальными. Никакие презренные царедворцы не шептали с насмешливым видом: «Живописцы — и те лезут в проповедники». Напротив, художникам были благодарны за то, что они сумели воплотить в своих творениях наиболее благородные черты человеческой природы. Это были большие полотна, художники, их создавшие, черпали сюжеты из истории, справедливо считая, что ничто не может быть поучительнее. Так все искусства, согласившись меж собою, составили как бы высокий заговор во имя человечества, и сие благое единомыслие позволило им более ярко оттенить священный лик добродетели; от этого она стала лишь пленительнее, и черты ее, приукрашенные средствами искусства, превратились в средство просвещения, столь же убеждающее, сколь и трогающее сердца. О, можно ли противиться голосу изящных искусств, хором прославляющих и возвышающих свободного, великодушного гражданина?

Картины эти приковывали к себе взгляд как содержанием своим, так и искусным выполнением. Художники сумели сочетать в них живописную манеру итальянцев с колоритом фламандцев, вернее говоря — превзойти и тех и других, ибо глубоко постигли их искусство. Мысль о незапятнанной славе, сей единственной плате, достойной великого человека, заранее вознаграждая, одушевила их творения. Друг добродетели, созерцая сии прекрасные картины, не мог сдержать вздоха удовольствия. Человек преступный не осмеливался взглянуть на них: он боялся, как бы безгласные эти фигуры вдруг не заговорили, дабы обвинить и устыдить его.

Мне сказали, что все эти картины предложены на конкурс. В нем принимали участие и иностранцы, ибо здесь не было тех маленьких тиранов, что препятствовали в этом художникам, живущим за пределами данной местности. На год давалось четыре темы, дабы каждый художник имел время довести свою картину до совершенства. О лучшей из них вскоре с одобрением начинал говорить народ, а здесь внимательно прислушивались к его мнению, ибо глас народа — глас справедливости. Однако и другие картины получали свою долю похвал. Никто не отталкивал здесь учеников незаслуженной хулой. Прославленным мастерам неведома была та недостойная, низкая зависть, что вынудила Пуссена покинуть родину и погубила Лесюэра[9] на заре его дней. Им не свойственно было

то губительное упорство, с которым в мои времена они требовали от своих учеников, чтобы оные им в точности подражали. Они не превращали в холодного копииста того, кто мог бы подняться весьма высоко, когда бы его предоставили самому себе и лишь направляли бы, давая отдельные советы. Словом, превосходство мастера не пригибало ученика к земле, рождая в нем неверие в собственные силы; ему не приходилось раболепствовать перед капризным учителем, которому вдобавок надобно было еще и льстить: талантливый ученик мог превзойти своего наставника, и тот первый стал бы гордиться его успехами.

Здесь существовало несколько академий, где учили рисованию, живописи, скульптуре, практической геометрии. Насколько в мое время сии искусства приносили вред, способствуя роскоши, высокомерию, продажности и разврату, настолько были они здесь полезны, ибо теперь служили одной добродетели и помогали придавать городу то величие, ту приятность, тот простой и благородный вкус, который какими-то неведомыми путями способствует возвышению душ горожан.

Двери этих академий не были закрыты для публики. Ученики работали там на виду у всех, каждый посетитель мог высказать свое суждение об их работах. Это отнюдь не мешало учителям, коим платилось за это жалованье, делать обход учащихся. Однако никто не назывался здесь учеником г-на такого-то, ибо каждый учился равно у всех. Так, искореняя всякого рода рабство, столь пагубное для таланта яркого и независимого, удалось наконец воспитать мастеров, которые искусством своим превзошли творения прошлого. Картины их были настолько совершенны и зрелы, что сохранившиеся полотна Рафаэля и Рубенса вызывали еще интерес лишь у нескольких любителей старины, которые по самой природе своей — люди одержимые и упрямые.

Нет надобности говорить, что все искусства, все ремесла здесь были одинаково свободны, не то что в жестокий век, век тирании и глупости, когда на промыслы накладывались оковы и от человека, стремившегося работать, требовали денежного взноса, вместо того чтобы платить ему. Все эти нелепые маленькие корпорации, сосредоточивая вместе людей, лишь разжигали их страсти; зависимость рождала меж ними нескончаемые распри, и сотоварищи неизбежно становились врагами. Так в тюрьмах люди, скованные одной цепью, заражают друг друга своей яростью и своими пороками; желая ослабить их стремление к выгоде, это стремление лишь больше подстегивали, то есть делали как раз обратное тому, чего должно было бы добиваться разумное законодательство. Эти стеснительные узы, не позволявшие человеку следовать своему таланту, являлись источником великого множества беспорядков. Отсюда рождались праздность и плутовство. Бедняк в сущности бессилен был выйти из своего жалкого состояния, властная рука всюду преграждала ему путь, и одно лишь золото уничтожало все преграды и открывало людям все двери. Дабы легче было взыскивать подати, государь уничтожил наисвятейшую из свобод, задушив все, что было двигателем мастерства и предприимчивости.

У этого же народа, постигшего основные понятия о правах своих, каждый избирал себе поприще согласно своим вкусам, что всегда является верным залогом успеха. Те, кто не проявлял никакого тяготения к изящным искусствам, посвящали себя более простым занятиям. Ибо посредственность не допускалась здесь ни в чем, что имело отношение к созиданию. Казалось, слава всей нации заключена была в этих талантах, что возвышают не только человека, но и государства.

Глава тридцать третья

СИМВОЛИЧЕСКИЕ КАРТИНЫ

Я вошел в особую залу, где собраны были изображения минувших веков. Каждому столетию придано было свойственное ему обличье, те особые черты, коим одно отличается от другого. Века невежества [1] представлены были фигурами, одетыми в мрачные, черные одежды. Человек с угрюмым злобным взглядом держал в руке пылающий факел, сзади виднелся костер, а вкруг него священники в полном облачении, обрекающие на сожжение несчастных с завязанными глазами.

Далее изображен был некий неистовый изувер; ничем не примечательный, кроме страстного своего воображения, он воспламенял не менее горячие умы своих сограждан и, горячо проповедуя именем господа, увлекал за собой толпы людей,[2] кои, подобно послушному стаду, устремлялись ему вослед. Думая, что слышат глас божий, покинув свои троны, бросив опустевшие свои государства, бежали в бескрайние пустыни короли, неся гибель самим себе, своим государствам, своим подданным. В глубине картины изображен был фанатизм в виде чудовищного исполина. Размахивая смертоносным факелом, шагал он по головам людей. Ноги сего чудовища упирались с двух сторон в земной шар, рука его, вздымающая ввысь пальму мученичества, достигала самых облаков.

Тот, что изображен был далее, был менее неистов, более склонен к созерцанию; весь во власти таинственного, погруженный в поиски соответствий, он был устремлен в область чудесного. По-прежнему окруженный загадками бытия, он старался еще более сгустить вкруг себя мрак неведения. Были тут и круги Платона,[3] и числа пифагорейцев,[4] и стихи сивилл,[5] и формулы колдовских заклинаний, и все те чародейства, то гениальные, то нелепые, до коих додумался человеческий ум.

Далее представлен был человек с астролябией [6] в руках; сосредоточенно глядя в календарь, он старался вычислить счастливые и несчастливые дни. Мрачно и озабоченно было вытянутое его лицо; совпадение двух звезд заставляло его бледнеть от страха: для него не существовало настоящего, будущее внушало ему ужас. Астрология [7] — таков был его

символ веры; сия смехотворная наука, сей призрак казалось ему неколебимым столпом.

А этот весь был закован в железо — медная каска прикрывала его лицо. Затянутый в кольчугу, вооруженный длинным копьем, он жаждал одних лишь поединков. У людей, живших в тот век, души были тверже стали, в которую закованы были их тела. Все решалось оружием, с его помощью устанавливались права, символы веры, справедливость, истина. В глубине картины виднелось огороженное место, а на нем — судьи и герольды, поднимающие с земли побежденного на поединке и тем самым — виновного.[8]

Дальше увидел я престранную фигуру — сей варвар-архитектор возводил колонны, совершенно несоразмерные зданиям, кои они призваны были поддерживать, да вдобавок покрывал их нелепыми украшениями; он притязал при этом на некую особую красоту, бывшую якобы недоступной грекам и римлянам. Такая же сумятица царила и в логике — то были нескончаемые споры о пустяках и отвлеченных предметах.[9] Какие-то сомнамбулы маячили в глубине; хоть они двигались и разговаривали, но при этом просто спали с открытыми глазами, а если и удавалось им иной раз связать воедино две мысли, это было чистой случайностью.

Таким образом обозрел я одно за другим все минувшие столетия, но останавливаться на этом подробнее было бы слишком долго. Немного дольше задержался я перед изображением восемнадцатого века, некогда мне весьма знакомого. Художник представил его в облике женщины. Изысканнейшие украшения отягощали ее гордую, изящную голову. Лицо, руки, шея, грудь — все усыпано было жемчугом и бриллиантами. У нее были живые, блестящие глаза, но губы кривились немного принужденной усмешкой, и щеки были густо нарумянены. Казалось, заговори она, и слова ее будут такими же неестественными, каким был взгляд ее — обольстительный, но неискренний. В каждой руке она держала по длинной розовой ленте; казалось, они служат украшением; но ленты прикрывали две железные цепи, коими женщина эта была прикована. Впрочем, она все же могла свободно двигаться, делать разные жесты, скакать и резвиться. И она весьма охотно пользовалась этой возможностью, дабы (мне так показалось) скрыть свое рабское состояние или, во всяком случае, сделать его легким и приятным для глаз. Я стал внимательно разглядывать ее во всех подробностях и, поближе присмотревшись к складкам ее одежды, вдруг обнаружил, что роскошное ее платье внизу совершенно разорвано и забрызгано грязью, ноги же босы и погружены в какую-то трясину. Насколько блестящее зрелище являла она собой сверху, настолько же отталкивающе выглядела снизу. Своим нарядом она весьма напоминала куртизанку, шатающуюся поздним вечером по улицам. Сзади нее я заметил нескольких детей, худых и мертвенно бледных, они взывали к своей матери, с жадностью уписывая кусок черного хлеба. Женщина пыталась спрятать их под платье, но маленькие страдальцы все же видны были сквозь его дыры. В глубине картины виднелись замки, мраморные дворцы, искусно разбитые цветники, насе-

ленные оленями и ланями обширные леса, оглашаемые звуком охотничьего рога. Но тут же рядом была деревня, где трудились крестьяне на плохо вспаханных полях и, обессиленные, падали на свои соломенные подстилки. А поодаль изображены были люди, которые одних силой уводили в солдаты, у других отбирали печные горшки и постели.*

Художникам удалось очень тонко передать своеобразие каждого народа. По многим характерным чертам, по искусно переданным сочетаниям их, по горестному и озабоченному выражению лица нетрудно было сразу же узнать завистливого и мстительного итальянца. Но на той же картине унылое это лицо представало совсем иным — художник изобразил его в кругу музыкантов, поразительно сумев передать свойственную сему народу способность легко и как бы в мгновение ока совершенно преображаться. В глубине картины видны были мимы, они корчили рожи и производили всякие забавные телодвижения.

Англичанин был изображен стоящим на вершине скалы; возвышаясь над океаном в позе скорей горделивой, нежели величественной, он мановением руки приказывал кораблю устремиться к Новому Свету, дабы доставлять ему оттуда сокровища. В решительном взгляде его ясно читалось, что для него гражданская свобода есть и свобода политическая. Ревущие волны, вздымаемые порывом бури, звучали для него сладкой гармонией. В любую минуту готовый схватиться за меч гражданской войны, он улыбался, глядя на эшафот, с которого скатывались голова и корона.[11]

Немец был изображен на фоне сверкающих молний. Он оставался глух к разбушевавшимся стихиям. То ли презирал он грозу, то ли вовсе ее не замечал. Рядом с ним яростно терзали друг друга орлы — для него это было всего лишь зрелище. Углубившись в себя, принимал он судьбу с философским спокойствием.

Отменно точно и правдиво представлен был француз с его рыцарственной обходительностью и возвышенностью чувств. В облике его не было особой оригинальности, но во всей его повадке чувствовалось благородство. Воображение и ум отражались в его глазах, в тонкой улыбке угадывалось лукавство. В целом сие полотно не отличалось богатством красок. Они были мягки и приятны, но не было здесь ни того сочного колорита, ни той прекрасной игры света, что так восхищали меня

---

* Тирания — дерево опасное, которое надобно вырывать с корнем сразу же, пока оно являет собой еще лишь слабый росток. Вначале это — юное деревце, его украшают цветами и лаврами, но оно питается кровью, которой втайне его поливают. Вскоре оно вырастает, становится все выше и, покрывая все вокруг царственной и гибельной своей тенью, гордо устремляется ввысь. Вянут плоды и цветы соседних деревьев, лишенных благодетельных лучей солнца. Оно принуждает землю питать лишь его. В конце концов оно уподобляется тому ядовитому древу,[10] сладкие плоды которого таят в себе отраву и которое капли дождя, стекающие с листьев его, превращает в тлетворную влагу; усталый путник, надеясь отдохнуть в тени его, незаметно для себя засыпает вечным сном. А меж тем ствол дерева крепок, ядовитые соки скрыты непроницаемой корой, могучие корни разрастаются все дальше, и, притупившись, секира свободы уже не в силах разрубить их.

в других картинах. От множества мешающих друг другу мелких деталей рябило в глазах. В глубине картины виднелась огромная толпа людей, они несли тамбуринчики и били в них, стараясь произвести побольше шуму, — им казалось, что это напоминает грохот пушек; одушевление их было столь же стремительным и пылким, сколь легковесным и недолговечным.

Глава тридцать четвертая

СКУЛЬПТУРА И ГРАВИРОВАНИЕ

Скульптура, не менее прекрасная, чем старшая ее сестра, простерла тут же рядом дивные творения своего резца. Она уже не отдавала себя на поругание тем бесстыдным Крезам,[1] что унижали искусство, заставляя увековечивать их продажный облик или другие, столь же достойные презрения предметы. Художники находились теперь на содержании у государства и отдавали свои таланты людям достойным и добродетельным. Я не увидел здесь, как это бывало в нашем Салоне, рядом с бюстами королей бесстыдно выставленное изображение какого-нибудь гнусного откупщика, который этих же королей обманывал и обворовывал. Но если какой-либо человек, достойный предстать взглядам потомков, достигал успеха на избранном им поприще, а другой совершал мужественный поступок — вдохновенный скульптор тотчас же брал на себя выражение всеобщей признательности; он втайне увековечивал одно из памятных деяний героя (не присовокупляя к оному собственного портрета), а затем, неожиданно для всех объявив о своем труде, добивался позволения прославить одновременно и себя. Творение его привлекало всеобщее внимание и не нуждалось ни в каких пояснениях.

Особым приказом здесь строго запрещалось использовать сюжеты, которые ничего не способны сказать душе, поэтому никто уже не портил ни прекрасного мрамора, ни иных ценных материалов.

Запрещены были и те непристойные изображения, что украшали наши каминные доски. Эти простодушные люди никак не могли взять в толк, когда случалось им читать книги по истории, почему это в век, когда то и дело произносились слова «религия» и «нравственность», отцы семейств спокойно позволяли своим детям лицезреть всякие неприличные сценки под тем предлогом, что они якобы являют собой шедевры, а картины эти способны были лишь разжечь невинное воображение и смутить души, столь открытые всяким впечатлениям. Люди эти сокрушались по поводу преступного обычая развращать юные сердца.*

---

* К прочим развращающим зрелищам, которые следовало бы отменить, можно отнести те непристойные представления, что оскорбляют добрые нравы и здравый

Сопровождавший меня художник, которого я обо всем расспрашивал, с готовностью сообщил мне обо всех этих важных изменениях. От него же я узнал, что в девятнадцатом веке случилась нехватка мрамора, и скульпторам пришлось пустить в ход всю эту уйму отвратительных бюстов финансистов, откупщиков и богатеев, в сущности представлявших собой уже обтесанные глыбы, которые удалось употребить с большей пользой, изваяв из них головы более достойных мужей.

Я перешел в последнюю галерею, представлявшую для меня не меньший интерес, чем остальные, множеством выставленных здесь творений. В этой галерее собраны были рисунки и гравюры всего мира. И хотя искусство гравирования достигло высочайшего совершенства, гравюры прошлых веков не были при этом уничтожены. Ибо с гравюрами дело обстоит иначе, чем с книгами. Если книга не хороша, она уже тем самым дурная книга, между тем как эстамп, оценить который мы можем с первого же взгляда, всегда интересен для сравнения его с другим.

Эта галерея, возникшая в царствование Людовика XV, была совсем не похожа на прежнюю. Тогда это была маленькая комната[4] с небольшим столом посередине, за которым едва умещалось с десяток любителей искусств, и куда надобно было наведываться раз по десять, прежде чем удавалось найти местечко; впускали туда лишь в определенные дни, да и в эти дни она раз десять в году оказывалась закрытой под каким-либо предлогом или просто по прихоти главного смотрителя. Теперь галерея была открыта ежедневно и поручена заботам вежливых и предупредительных служащих, коим исправно платили жалованье, дабы они исправно обслуживали посетителей. В обширном зале легко можно было найти гравюры, воспроизводящие любую из картин или скульптур, находящихся в других картинных галереях. Имелся подробный перечень тех творений искусств, кои позаботились увековечить и делали все для того, чтобы распространить их как можно шире.

Гравирование есть искусство столь же плодовитое и благоприятствующее просвещению, как и искусство типографское: с его помощью можно

смысл, с коим тоже необходимо считаться. В главе о театральных зрелищах мы забыли упомянуть о прыгунах и канатоходцах.[2] Однако в сочинении не так уж важен порядок изложения, а важно, чтобы автор высказал в оном все свои мысли. Следуя примеру Монтеня,[3] я стану пользоваться для этого малейшим поводом; пусть бранят меня критики; буду утешаться тем, что я по крайней мере не столь скучен, как они. Итак, вернемся к этим пошлым, вызывающим возмущение прыгунам и канатоходцам. Как могут дозволять эти представления городские власти? Потратив так много времени на упражнения, столь же поражающие, сколь и бесполезные, они на глазах у публики рискуют собственной жизнью, доказывая собравшимся зрителям, что смерть человека не многого стоит. Они принимают непристойные позы, оскорбляя и глаза и сердце; они приучают людей, быть может еще незрелых, находить удовольствие в том, что граничит с опасностью, и воображать, будто человека можно выставлять на посмешище. Вы скажете, что это безделица, о коей не стоит и думать; но я заметил, что такие прискорбные зрелища производят на толпу куда большее впечатление, нежели все те искусства, в коих присутствует хоть видимость рассудка.

размножать оттиски, подобно тому как книгопечатание размножает книги; каждое частное лицо и каждый иностранец могли здесь добыть себе копию картины, не уступающую оригиналу. Все граждане имели возможность, ни в ком не возбуждая зависти, украшать стены своих жилищ разного рода сюжетами, являющими примеры добродетели и героизма. И в помине не осталось пресловутых любителей искусств, столь же ретивых, сколь и невежественных, кои, не жалея ни сил своих, ни кошелька, вечно гонялись за воображаемыми шедеврами и оставались в дураках, причем вполне заслуженно.

С жадностью я стал просматривать огромные тома, в которых посредством гравировального резца так легко и прочно были переданы контуры и естественные краски природы. Все изображения были превосходно выполнены, но с особым тщанием воспроизведены были те, что касались до наук и ремесел. Полностью переделанными оказались иллюстрации Энциклопедии,[5] и на сей раз более внимательно отнеслись к их точности, что в данном случае имеет первостепенное значение, ибо всякая ошибка здесь ведет к серьезным последствиям. Увидел я и прекрасный учебник физики с множеством таких рисунков, — и, поскольку сия наука обращается главным образом к органам чувств, быть может именно подобным картинкам и надлежит способствовать постижению всех разделов ее. Здесь умели ценить это искусство, с помощью которого можно размножить столько полезных изображений, и неустанно превозносили его.

Я заметил, что сделано все это было с отменным вкусом и в манере Одранов;[6] причем их манеру даже углубили и усовершенствовали. Виньетки в книге назывались теперь не иначе как «кошены»:[7] таково было слово, заменившее собой множество недостойных слов.*

Граверы прекратили, наконец, пользоваться злосчастной лупой, во всех отношениях пагубной для их зрения. Знатоки этого века перестали восхищаться теми мелкими крапинками,[9] что в наше время почитали за главное достоинство гравюр; они предпочитали более широкую, точную, спокойную манеру, которая давала возможность достичь большей выразительности с помощью нескольких четких штрихов и благородно начертанных линий. Граверы прислушивались к советам живописцев, а те, в свою очередь, старались не выказывать своих причуд и не изображать из себя мастеров. Они уважали друг друга, относились друг к другу как равные, и никто не пытался обвинить другого, если случалась неудача. К тому же гравировальное искусство стало приносить государству известную пользу благодаря продаже наших эстампов в другие страны, так что о мастерах этих с полным на то основанием можно было сказать, что в благодетельных их руках «медь становится золотом».[10]

---

* Господин де Вольтер должен был тому заранее радоваться, ведь он столько времени ратовал за сию важную реформу.[8]

Глава тридцать пятая

ТРОПНЫЙ ЗАЛ

Жаль было мне покидать эти великолепные залы, но, гонимый неуемным своим любопытством и желанием как можно больше увидеть, я поспешил вернуться в центр города. Здесь увидел я множество людей обоего пола и разных возрастов, торопливо устремлявшихся к какому-то торжественно украшенному портику. «Скорее, скорее, — говорили вкруг меня. — Наш добрый король, может быть, уже взошел на трон. Неужто нам не удастся увидеть его сегодня!». Я пошел за толпой, но меня весьма удивило, что свирепые стражники не преграждали нам путь. Я вошел в огромную залу, поддерживаемую множеством колонн, и, пробравшись вперед, стал так, чтобы иметь возможность видеть трон монарха. Нет, ничто не могло дать более прекрасное, более благородное и утешительное представление о королевском величии. Мне хотелось плакать от умиления. Ни Юпитера-громовержца,[1] ни ошеломляющего великолепия, ни орудий мести. Четыре беломраморные фигуры, изображающие силу, умеренность, справедливость и милосердие, поддерживали кресло из слоновой кости без каких-либо украшений; оно только было несколько приподнято, дабы голос государя всеми мог быть услышан. Над креслом нависал балдахин — его держала рука, словно высовывающаяся из потолка, на котором изображена была небесная твердь. С каждой стороны трона находились две мраморные доски. На одной выгравированы были государственные законы и обозначены пределы королевской власти. На другой перечислялись обязанности короля и королевских подданных. Прямо напротив трона стояла фигура женщины, кормящей грудью младенца, точный символ королевской власти. Первая ступенька трона являла собой вид могильной плиты; большими буквами на ней начертано было: «Вечность». Под ней покоилось набальзамированное тело предшествовавшего монарха; оно должно было пребывать там до тех пор, пока его не сменит тело сына. Отсюда он словно напоминал своим наследникам, что все они смертны, что царствование их недолговечно, что оно пройдет, как сон, и тогда они останутся один на один со своей доброй или дурной славой! Обширный зал был весь уже заполнен народом, когда появился государь; его синий плащ ниспадал красивыми складками. Оливковая ветвь венчала чело его — она заменяла корону. Государь никогда не появлялся средь народа без этого убора, который другим внушал благоговение, а ему — веру в себя. Под радостные клики собравшихся взошел он на трон, не выказывая равнодушия к этим изъявлениям всеобщей радости. Но едва он сел, как воцарилось почтительное молчание. Я стал прилежно слушать. Министры громко читали ему свои донесения о том, что примечательного случилось со времени последнего собрания. Если бы кто-нибудь из них в чем-либо покривил против правды, народ тотчас же изобличил бы такого лжеца. Ни одна

из нужд его не была забыта. Министры один за другим отчитывались в выполнении отданных ранее приказов, и чтение всякий раз заканчивалось сообщением о сегодняшних ценах на съестные припасы. Государь внимательно слушал и кивком головы выражал согласие или приказывал отложить вопрос, чтобы внимательно изучить его. Но если в глубине залы раздавался чей-нибудь недовольный голос, возражавший против того или иного решения, даже если голос этот принадлежал человеку из низшего сословия, его тотчас же просили выступить вперед и подняться на возвышение, что находилось у подножья трона. Стоя здесь, он приводил свои доводы,* и если они оказывались убедительными, его выслушивали, ему выражали одобрение и признательность, и государь дарил его благосклонным взглядом; если же, напротив, он говорил вздор или ратовал за то, что было лишь в собственных его интересах, тогда он бывал с позором изгнан и клики возмущения сопровождали его до самого выхода. Каждый здесь мог высказать свое мнение, не подвергая себя никакому иному риску, кроме риска быть публично осмеянным, если мысли его оказывались ложными или глупыми.

Во всех публичных церемониях государя всегда сопровождали два сановника, они шли рядом с ним. Один нес копье с насаженным на него снопом пшеницы,** другой — виноградную лозу, дабы государь никогда не забывал, что то и другое суть опора трона и государства. Вслед за ними шел хлебничий королевства, неся корзину, полную хлебов, которые он раздавал всем, кто просил его об этом. Корзина эта была верным мерилом благосостояния страны, и в тех случаях, когда корзина оказывалась пустой, министров тотчас же изгоняли и подвергали наказанию. Но корзина оставалась полной и свидетельствовала об изобилии в стране.

Подобные встречи с королем происходили здесь раз в неделю и длились по три часа. Я вышел из этой залы с сердцем, преисполненным радости. Я испытывал чувство благоговения, какое испытываешь перед лицом божества, ибо готов был любить его, как любят отца, и преклоняться перед ним, как преклоняются пред богом-заступником.

Я завел разговор с несколькими людьми по поводу того, что видел и слышал. Их удивило мое изумление, ибо все это казалось им очень простым и естественным. — Что это за страсть у вас, — сказал мне

---

* Одно из самых великих несчастий Франции состоит в том, что все управление находится в руках городских властей или же должностных и титулованных особ, причем никто никогда не соблаговолит испросить совета хотя бы от имени народа у тех частных лиц, кои нередко обладают высокой степенью образованности и мудрости. Самый добродетельный, самый просвещенный гражданин не имеет возможности ни развивать свои таланты, способные приносить всеобщую пользу, ни проявлять величие своей души; если он не облечен властью, ему приходится отказаться от всех благотворных своих замыслов, быть свидетелем величайших злоупотреблений и — молчать.

** Император Тай-цзун,[2] гуляя как-то по деревне со своим сыном, сказал, указывая принцу на работавших в поле землепашцев: «Взгляните, как тяжко трудятся эти бедные люди в течение всего года, чтобы нас прокормить. Без их усилий и пота ни вы, ни я не владели бы государством».

один из них, — вечно сравнивать наше время с каким-то давно уже прошедшим, нелепым, странным веком, когда у людей были ложные представления о самых простых вещах, когда спесь притворялась величием, когда главным считалось великолепие да умение пускать пыль в глаза, а все остальное ни в грош не ставилось, — словом, когда добродетель была чем-то призрачным и казалась лишь измышлением нескольких философов-мечтателей.*

Глава тридцать шестая

ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ

— Осмелюсь спросить вас, какой формы правления придерживается ваше государство? Монархической, демократической, аристократической?..**

— Ни монархической, ни демократической, ни аристократической; это просто разумная форма правления, имеющая целью пользу людей. Монархии больше не существует. Монархические государства, как вам это хорошо было известно, хоть никаких выводов из этого вы так и не сделали, сливаются с деспотизмом, подобно тому как реки сливаются с океаном, а деспотизм рушится под собственной тяжестью.*** Истина

---

* Всеобщие предрассудки надобно уважать! Так утверждают малодушные, ограниченные умы: достаточно, чтобы какой-либо закон существовал, чтобы он казался им священным. Свойственна ли сия преступная умеренность мыслей человеку истинно добродетельному, которому одному дано любить и ненавидеть? Нет. Он сам присваивает себе право действовать от лица всего общества. Высокие достоинства — вот на чем зиждется его право. Справедливость его деяний подтверждается благодарностью потомков.

** Дух нации отнюдь не зависит от атмосферы, ее окружающей: не климатические условия являются физической причиной величия ее или упадка.[1] Сила и мужество суть достояние любого народа на земле; но причины, приводящие их в действие и питающие их, зависят от определенных обстоятельств, которые могут складываться быстрее или медленнее, но рано или поздно возникают всегда. Блажен народ, которому — благодаря ли просвещению, благодаря ли чутью — удается поймать нужное мгновение.

*** Хотите знать главные принципы, коими руководствуются обычно на советах при всяком государе? Вот приблизительно свод того, что там говорится или, вернее, делается: «Необходимо всеми средствами умножать налоги, иначе у государя никогда не достанет средств на содержание армии и двора, который должен поражать великолепием. Если обремененный поборами народ начнет сетовать, его надобно обуздать. И это не будет несправедливым, ведь в сущности если он чем-нибудь владеет, то лишь по милости государя, который, особенно тогда, когда ему это выгодно и прибавляет блеска его короне, властен в любое время и в любом месте забрать обратно то, что ему угодно было уделить своим подданным. К тому же доказано, что народ, которому позволяют благоденствовать, менее трудолюбив и способен обнаглеть. Надобно урезать его достаток. Это сделает его более покорным. Бедность подданных — вернейший оплот короля; и чем меньшим богатством они рас-

сия подтвердилась; ни одно пророчество не осуществилось с такой точностью. При тех успехах, коих достигли у нас наука и просвещение, разумеется, было бы просто позором для рода человеческого, если бы мы, сумевшие измерить расстояние меж землей и солнцем и определить вес планет, оказались бы неспособными обнаружить простые и действенные законы, с помощью которых надобно управлять разумными существами! Правда, немалым препятствием к тому были тщеславие, жадность, корыстолюбие, но какое это было торжество — найти главную пружину, посредством которой удалось заставить эти человеческие страсти служить всеобщему благу! Корабль, что бороздит океан, повелевая стихиям, в то же время покорен их воле: он подчиняется и противодействует одновременно. Вот, быть может, самый верный образ всякого государства [2] — швыряемое бурями страстей, оно движется благодаря им и им же должно противостоять. Все зависит от того, кто ведет сей корабль. В ваших политических понятиях царил полный мрак; вы, невежды, винили во всем Зиждителя вселенной, а ведь не кто иной, как он, дал вам разум и мужество, дабы управлять самими собой. Достаточно было громкого голоса, чтобы разбудить людей от их спячки. Если вы были порабощены, то винить в этом вам следовало лишь себя. Свобода и счастье принадлежат тому, кто способен овладеть ими. Все в этом мире подвержено изменениям; наиболее важная из перемен уже свершилась, и ныне мы пожинаем ее плоды.*

Освободившись от гнета, мы побоялись передать всю власть, все ее возможности, права и атрибуты в руки одного человека:** наученные

полагают, тем будут послушнее. Привыкнув к подчинению, они станут подчиняться уже по привычке, а это — самое верное средство забрать народ в руки; и, мало того, он должен еще уверовать, что именно в покорности и заключается высшая мудрость, а следовательно, не рассуждая, следовать нашим приказам, видя в них плод нашей неоспоримой мудрости».

Если бы какой-либо философ, имеющий доступ к государю, во время этого совета вышел бы вперед и сказал своему королю: «Не верьте коварным вашим советникам, вас окружают враги семьи вашей. Ваше величие, ваша безопасность зависят не столько от вашего всемогущества, сколько от любви к вам народа. Чем он несчастнее, тем пламеннее жаждет перемен — тем скорее пошатнет он ваш трон или трон ваших сыновей. Народ бессмертен, ваш же век измерен. Величие государя более проявляется в его отеческой заботе, нежели в неограниченной власти. Такая власть бесчеловечна, она противна природе. Умеряя себя, вы станете могущественнее. Поступайте по справедливости и не сомневайтесь, что наиболее сильными и почитаемыми являются государи нравственные». Такого философа, без сомнения, сочтут простодушным мечтателем и, быть может, не снизойдут даже до кары за его добродетель.

* Порой в некоторых государствах наступает эпоха, которая оказывается необходимой, — эпоха страшная, кровавая, но она служит сигналом освобождения. Я говорю о гражданской войне. Именно здесь проявляют себя все великие люди — и те, кто борется со свободой, и те, кто защищает ее. Гражданская война позволяет обнаружить самые скрытые таланты. Появляются незаурядные люди, кои оказываются достойными приказывать другим. Это лекарство ужасное, но после паралича, в котором пребывало государство, после сего онемении душ оно становится необходимым.

** Деспотическое правительство есть не что иное, как союз властителя с небольшим числом подданных, которым позволено безнаказанно обманывать и грабить

горьким опытом прошедших веков, мы не допустили подобной неосторожности. И вернись даже в наш мир Сократ или Марк Аврелий, мы и им не вручили бы неограниченной власти, и не из недоверия, но из опасения унизить священное понятие свободного человека. Разве закон не есть выражение всеобщей воли? Как доверить одному человеку столь важное сокровище? Ведь у него могут быть минуты слабости, а если бы даже у него их и не было, разве согласятся люди отречься от свободы, самого прекрасного из всех уделов?* Мы уже испытали, сколь противоположна абсолютная монархия подлинным интересам народа. Искусство изобретать и взымать налоги, все возраставшая энергия, с которой они выкачивались; запутанные законы, противоречившие друг другу; кляузные процессы, пожиравшие имущество граждан; наполненные привилегированными тиранами города; продажность должностных лиц; министры и интенданты,[3] бесчинствовавшие в различных частях королевства, словно в завоеванных провинциях; утонченное бессердечие, искавшее оправдания бесчеловечности; королевские чиновники, пренебрегавшие народом и оскорблявшие его вместо того, чтобы внимать его жалобам, — вот они, плоды того всевидящего деспотизма, что сосредоточивал вкруг себя все умы и употреблял их во зло, подобно человеку, применяющему зажигательные стекла лишь для разжигания пожара. Что видели вы, проезжая по Франции, этому прекрасному королевству, которое столь щедро одарила своими милостями природа? Целые округи, разоренные сборщиками податей, города, превратившиеся в села, села, ставшие деревнями, деревни, обратившиеся в деревушки; исхудавших, страшных, обнищавших их жителей. Все эти бедствия не составляли тайны: отрекшись от чистых источников существования, люди приноравливались к господствовавшей тогда системе подкупности,** а рождаемые ею пороки оправдывали всеобщее разложение.

остальных. Государь или тот, кто представляет его, затмевает собой общество, разделяет его, становясь единственным его средоточием, существом, которое по своему усмотрению разжигает все страсти и вводит их в игру ради собственных интересов. Он определяет, что справедливо, а что несправедливо; его каприз становится законом, его благосклонность — мерилом уважения в обществе. Подобная система слишком бесчеловечна, чтобы существовать долго. Правосудие же является преградой, равно охраняющей и подданного, и государя. Одна лишь свобода способна создать великодушных граждан: истина превращает их в разумные существа. Король могущественен, лишь стоя во главе счастливого, великодушного народа. Если приходит в упадок народ, рушится трон.

* Свобода рождает чудеса, она побеждает природу, она выращивает богатый урожай на голой скале, она придает веселый вид самым печальным провинциям; она просвещает пастухов и делает их более проницательными, чем высокопоставленные рабы, что обретаются при самых утонченных дворах. Между тем иные страны, составляющие славу и гордость творца, но ввергнутые в рабство, являют нам лишь вид заброшенных полей, бескровных лиц, хмурых, потупленных взглядов. Человек! Выбирай же — быть тебе счастливым или несчастным, если ты еще можешь выбирать; страшись тирании; возненавидь рабство. Бери в руки оружие, умри или живи свободным.

** Один интендант, желая дать нашей ***, направлявшейся в Суассон,[4] представление об изобилии, якобы царящем во Франции, велел выкопать все фруктовые

И можете себе представить? Революция свершилась без всяких усилий, благодаря мужеству одного лишь человека. Некий король-философ, достойный своего трона, поскольку не придавал ему значения, стремившийся к счастью людей более ревностно, нежели к сему призраку власти, устыдясь суда будущих потомков и суда собственной совести, предложил вернуть Генеральным штатам[5] их прежние прерогативы: он понял, что разумно управлять обширным государством можно, лишь опираясь на собрание представителей различных его провинций. Подобно тому, как в человеческом теле, кроме общей циркуляции крови, существует еще и отдельная для каждой части его, так каждая провинция, подчиняясь общим для всего государства законам, имеет еще и свои собственные, видоизмененные в соответствии с характером ее почвы, положением, торговлей, взаимными интересами. Благодаря этому все живет, все находится в расцвете. Провинции уже не для того существуют, чтобы служить двору и украшать столицу.*[6] Никакой приказ, посланный вслепую, не вносит смятения в далекие провинции, куда взгляд государя никогда не мог достигнуть. Каждая из них сама печется о своей безопасности и своем благополучии. Главный жизненный источник уже не отдален от нее; он находится в самом ее лоне, всегда готовый содействовать государству в целом и прийти ему на помощь в случае какого-либо бедствия. Оказание помощи не находится больше в руках людей равнодушных, которые помогают только для вида, а то и радуются ударам, что грозят ослабить родину.

Итак, абсолютная монархия была уничтожена. Глава государства сохранил королевский титул; но он не был столь неразумен, чтобы взваливать на себя все то бремя, которое отягощало плечи его предков. Лишь

деревья в окрестностях и посадить их на улицах города, предварительно выломав мостовую. Между деревьями натянуты были гирлянды из золоченой бумаги. Сей интендант, сам того не ведая, был подлинным живописцем.

* Заблуждение и невежество суть источники всех бед, терзающих человечество. Человек дурен лишь потому, что не понимает подлинных своих интересов. Между тем можно без видимого вреда ошибаться в спекулятивной физике, в астрономии, в математике, но политика не терпит ошибок. Иные пороки управления более разорительны, нежели стихийные бедствия. Одна ошибка такого рода способна опустошить государство и ввергнуть его в нищету. Самый строгий и глубокий теоретический анализ более чем когда-либо бывает необходим при решении общественных дел, если возникают как бы уравновешивающие друг друга «за» и «против». В подобных случаях нет ничего опаснее косности; она приводит к невероятным бедствиям, и государство обнаруживает это лишь в момент своей гибели. Потому надобно как можно более умножать и расширять знания о сложном искусстве управления государством, ибо малейший промах здесь уводит с правильного пути и вырастает в гигантскую ошибку. До сих пор законы были лишь облегчительными средствами, их же превратили в панацею, они, как это правильно было кем-то замечено, суть плод необходимости, а не философии. Именно последней надлежит исправить то, что в них несовершенно. Но каким мужеством, каким усердием, какой любовью к человечеству должен обладать тот, кто из бесформенного этого хаоса возведет стройное здание! И вместе с тем какой другой гений будет более достоин любви человечества? Пусть же подумает он о том, сколь важна сия задача, — ведь дело касается прежде всего счастья людей, а следовательно, улучшения их нравов.

Собрание народных представителей королевства имеет законодательную власть. Ведение всех дел, как политических, так и гражданских, доверено Сенату, государь лишь следит за выполнением законов. Он вносит предложения о создании всех полезных учреждений. Сенат отвечает перед королем, король и Сенат несут ответственность перед Собранием народных представителей, которое созывается каждые два года. Все решается там большинством голосов. Новые законы, заполнение должностей, исправление ошибок — вот что находится в ведении сего Собрания. Особые или неожиданные случаи оставляются на усмотрение короля. Он счастлив,* трон его зиждется на более прочной основе, корона его гарантирована свободой народа.** Те, кто обладает самыми заурядными душами, обязаны своими добродетелями этому вечному двигателю всего великого. Гражданин не отделен от государства, он составляет с ним единое целое.*** И надо только видеть, как ревностно печется он о блеске его и славе. Каждое решение Сената всегда обосновано, в нем кратко сообщаются побудительные причины и указывается цель. Нам непонятно, как осмеливались в ваш век (якобы просвещенный) городские власти свысока отдавать все эти приказы, по непреложности своей напоминающие постановления богословов, будто закон не есть воплощение общественного разума и народу не надобно понять его, прежде чем ему подчиниться. Этим господам в бархатных шапочках,[8] называвшим себя отцами народа, неведомо было, как видно, великое искусство убеждения, что действует так легко и с такою силой; а вернее, не имея ни твердых воззрений, ни ясных намерений, попеременно строя друг другу козни, составляя заговоры и раболепствуя, господа эти только и делали, что льстили и досаждали трону, то вдруг

---

* Г-н Даламбер сказал, что король, выполняющий свои обязанности, — это самый несчастный человек на свете, а тот, что их не выполняет, наиболее достоин жалости.[7] Но почему король, выполняющий долг свой, — самый несчастный человек на свете? Из-за разнообразия своих обязанностей? Но ведь хорошо выполненная работа есть источник истинной радости. Можно ли так обесценивать это внутреннее удовлетворение, рождаемое сознанием, что ты сделал что-то на благо людям? Разве не заключена награда уже в самой добродетели? Почему может быть глухо к радостям сердце того, кто всеми любим и ненавидим лишь злодеями? Кто не испытал чувство довольства от сделанного кому-то добра? Король, который не выполняет своих обязанностей, более всех достоин жалости. Нет ничего справедливее — во всяком случае, если ему доступны угрызения совести и он не безразличен к бесчестью; если же они ему недоступны, он еще больше достоин жалости. Нет ничего лучше, чем эта последняя мысль.

** Всякое государство, будь оно даже республиканским, должен кто-то возглавлять, однако власть этого лица надобно ограничить. Это нечто вроде призрака, который преграждает дорогу честолюбцу, подавляя все его стремления. Королевская власть становится тогда как бы пугалом, которое ставят в саду, оно отгоняет воробьев, прилетающих клевать зерно.

*** Те, которые сказали, будто при монархии король выражает волю народа, сказали величайшую нелепость. В самом деле, может ли быть что-либо нелепее, чем когда такие разумные существа, как люди, говорят одному или нескольким: «Желайте за нас». Народ всегда говорит государям: «Действуйте за нас в соответствии с нашей волей, она вам хорошо известна».

поднимая шум из-за пустяков, то продавая и обманывая народ. У нас, как вы понимаете, нет уже подобных градоначальников, кои смолоду приучались к бесчувственности, необходимой им для того, чтобы хладнокровно распоряжаться честью, достоянием и жизнью граждан; они были весьма отважны, когда дело шло о защите их жалких привилегий, и весьма трусливы, как только речь заходила об общественном благе; последнее время не было даже нужды подкупать их: они впали в полнейшее безразличие. У нас градоначальники совсем иные: имя отцов народа, коим мы их величаем, они оправдывают на всем протяжении своей службы. Бразды правления ныне находятся в твердых руках разумных людей, действующих согласно определенному плану. Мы чтим законы, и никто не вправе считать себя выше закона, как это было в те далекие времена, на великую беду тогдашних правительств. Всеобщее благоденствие зиждется на безопасности любого из подданных: каждый боится не людей, но законов, сам государь чувствует их над собой.* Бдительное внимание короля заставляет сенаторов более тщательно относиться к своим обязанностям и лучше выполнять свой долг; его доверие к ним облегчает их труды, его авторитет придает им те силы и мужество, кои необходимы для их решений. Таким образом скипетр, столь отягощавший ваших королей, в руках нашего государя ничего не весит. И он уже не являет собой пышно убранную жертву, беспрестанно приносимую на алтарь государства: его бремя соразмерно тем ограниченным силам, которые получил он от природы.

Наш король богобоязнен, благочестив, справедлив, сердцем его владеют Предвечный и отчизна; он страшится божьего гнева и осуждения потомков; в чистой совести и незапятнанной славе видит он высшую степень блаженства. Чтобы делать добро, надобны не столько выдающиеся дарования, ум и обширные познания, сколько благородное сердце, искреннее стремление к добру и постоянная готовность свершать его.

---

* Всякое правительство, в котором один-единственный человек оказывается выше закона и может безнаказанно нарушать его, несчастно и несправедливо. Тщетно один даровитый человек[9] тратил свои таланты, убеждая нас в прелести азиатских правительств; слишком оскорбительны они для природы человека. Взгляните на сей великолепный корабль; он движется вперед, побеждая стихии, но достаточно незаметной трещины, чтобы в корпус его проникли соленые волны, которые разрушат корабль. Так один-единственный человек, возвышающийся над законами, позволяет проникнуть в корпус политического корабля несправедливости и неправде и с неизбежностью ускоряет его гибель. Не все ли равно, один или многие будут повинны в этом? Что нужды, сотни ли рук у тирании, или лишь одна, если эта рука протянута с одного конца империи до другого, если она тяжко давит на каждого и, отрубленная, тотчас же вырастает вновь? Впрочем, не так страшен деспотизм, как его распространение. Визири, паши и проч. следуют примеру своего господина, они казнят людей до тех пор, пока не казнят их самих. В странах Европы одновременная борьба различных сил, их столкновение моментами поддерживают равновесие, и тогда народ облегченно вздыхает; постоянное нарушение пределов их власти заменяет собой свободу, и эта иллюзия в какой-то мере утешает, поскольку в действительности обрести свободу невозможно.

Нередко всеми превозносимый гений короля не только не прибавляет счастья государству, но оборачивается против свободы страны.

Нам удалось сочетать то, что казалось почти непримиримым, — благоденствие государства с благоденствием частных лиц.[10] В ваше время даже утверждали, будто во всяком государстве существует некое неразрешимое противоречие между общественным благом и благом некоторых его граждан. Мы не придерживаемся сей жестокой политики, основанной на незнании истинных законов или же на презрении к наиболее бедным и наиболее полезным людям. Существовали отвратительные, жестокие законы, исходившие из того, что люди злы по самой природе своей; но мы-то склонны считать, что они стали таковыми лишь со времени действия этих законов. Деспотизм утомил человеческое сердце и, беспрестанно озлобляя, растлил и ожесточил его.

Наш король имеет все права, всю необходимую власть, чтобы творить добро, но у него связаны руки, если он пожелал бы делать зло. Народ ему всегда представляют в самом благоприятном свете: толкуют о его достоинствах, о его верности государю, об отвращении его ко всякому чужеземному игу. При нем находятся особые цензоры, коим дано право удалять от государя всякого, кто вздумал бы склонять его к неверию, к легкомыслию, ко лжи и еще более гибельному занятию — осмеиванию добродетели.* Не встретите вы средь нас и той породы людей, что, пользуясь своими дворянскими титулами (к тому же еще и купленными), сбегались со всех сторон, чтобы раболепствовать перед государем; которые, знать не желая никакого иного ремесла, кроме военного или придворного, жили в полном безделье, теша свою гордыню старинными грамотами и являя печальное зрелище тщеславия, которое было тем больше, чем дворянин был беднее. Ваши гренадеры проливали свою кровь с не меньшей отвагой, нежели люди сего благородного сословия, и при этом не ценили себя так дорого. Впрочем, в нашей республике подобное название оскорбило бы все другие сословия. У нас все граждане равны. Различие между ними определяется лишь той естественной границей, которую прокладывают между людьми труд, талант и добродетель.** Несмотря на все эти заслоны, на все принятые предосторожности,

---

* Я весьма склонен думать, что при королевских дворах самым порядочным из всех почти всегда является сам государь. У Нарцисса[11] душа была еще чернее, чем у Нерона.

** Почему бы французам не проявить сочувствия к республиканскому строю? Кому в нашем королевстве не известно главенствующее положение дворян, лежащее в самой основе государства и подтвержденное обычаем нескольких столетий? Ведь когда в царствование короля Жана третье сословие, выйдя из своего униженного состояния, стало участвовать в собраниях нации,[12] эта кичливая и крепко державшаяся за прошлое аристократия весьма спокойно отнеслась к его приобщению к сословиям королевства, хотя в те времена предрассудки поместного дворянства и военного сословия были еще весьма сильны. Понятие чести, это исконное понятие, которое в глазах француза выше самых разумных установлений, сможет, следовательно, когда-нибудь стать душой республики;[13] для этого нужно лишь, чтобы любовь к философии, знание политических законов и перенесенные испытания помогли французам избавиться от легкомыслия и безрассудства, столь извращающих бле-

король еще обязан соблюдать ежегодный трехдневный пост, дабы он в случае стихийных бедствий не забывал о бедных. В течение этих трех дней государь наш страдает от голода и жажды, спит на жестком ложе, и сей строгий и спасительный пост рождает в его сердце более глубокое сострадание к людям неимущим. Правда, наш король не нуждается в том, чтобы ему напоминали об этом подобным способом, но таков уж закон нашего государства, священный закон, которого и доныне у нас придерживаются. Следуя примеру государя, и министры, и все, кто причастен к управлению государством, считают своим долгом на себе почувствовать, что такое нужда, и испытать страдания, которые она вызывает. Это заставляет каждого из них с большей готовностью облегчать участь тех, кто оказывается во власти жестокого закона нужды.*

— Но, — сказал я ему, — подобные перемены должны были свершаться медленно, мучительно, с огромными усилиями. Скольких же трудов они вам стоили!

— Творить добро не больший труд, чем творить зло, — ответствовал мой мудрый собеседник с кроткой улыбкой. — Человеческие страсти — вот те ужасные препятствия, что стояли у нас на пути. Но, постигнув с помощью просвещения подлинные свои интересы, люди становятся справедливее и честнее. Мне кажется, что когда бы терпимость и правда воцарились во всех сердцах, миром мог бы управлять один человек. Хотя людям вашего века и свойственна была непоследовательность, они все же верно сумели предугадать, каких успехов достигнет когда-нибудь разум. Ныне мы видим их плоды, и благотворные принципы разумного правления явились первым следствием сих преобразований.

стящие их качества, благодаря коим они могли бы сделаться первой нацией в мире, когда б они способны были разумно составлять, вынашивать и защищать свои проекты.

* Напротив хижины некоего философа возвышалась высокая живописная гора, постоянно ласкаемая благодатными лучами солнца. Она была покрыта богатыми пастбищами, золотыми колосьями, кедрами и благоухающими растениями. Прелестные разноцветные птички летали взад и вперед, прорезая воздух своими крылами и наполняя его гармоничным пением. Лани и дикие козы населяли леса. В красивых озерах водились форель, мерлан и щука. Триста семейств, живших на склонах этой горы, делили ее меж собой и жили счастливо в мире и изобилии среди добродетелей, кои они рождают; они благословляли небо на восходе и при заходе солнца. Но вот взошел на трон сладострастный, ленивый, расточительный Осман: вскоре все триста семейств были разорены, изгнаны и превратились в нищих и бродяг. Прекрасная гора перешла в руки визиря, который заставил служить себе еще оставшихся здесь несчастных и ходить за своими собаками, наложницами и льстецами. Однажды Осман, заблудившись на охоте, повстречал философа, чьей отдаленной хижине удалось остаться в стороне от этого все поглотившего потока. Философ узнал его, однако не показал вида. Выполняя свой долг, он помог выйти ему из леса. В пути завязался разговор. «Увы, — сказал мудрый старец, — еще десять лет назад здесь знали, что такое радость; но ныне нужда совсем изнурила бедняка, опечалила его душу, и тяжкая нищета, с которой он мужественно борется изо дня в день, медленно сводит его в могилу. Кругом одни страдания». «Скажите мне, сделайте милость, — перебил его Осман, — а что это такое — нищета?». Философ вздохнул, замолчал и указал ему, как ближе пройти к дворцу.

Глава тридцать седьмая

О НАСЛЕДНИКЕ ПРЕСТОЛА

Будучи еще более любопытен, чем судья в «Гуроне»,* я продолжал испытывать терпение моих собеседников, беспрерывно задавая им вопросы.

— Я видел государя сидящим на троне; но я позабыл спросить вас, господа, где же находился сын короля, которого в мое время называли дофином.

Ответить мне взялся наиболее учтивый из моих спутников. Вот что он сказал: «Мы твердо убеждены, что от воспитания великих мира сего зависит счастье народов и что можно научиться добродетели, так же как и заразиться пороком, а потому придаем весьма большое значение тому, как проводит принц свои юные годы. Наследник престола не живет при дворе, где льстецы могли бы внушить ему представление, что он выше других людей, будто бы являющих собой нечто вроде насекомых; от него скрывают его высокое предназначение. При рождении ему метят плечо королевским знаком, что впоследствии поможет разыскать его. Затем его передают в руки людей, верность и честность коих испытывалась не раз, и те приносят клятву перед Всевышним никогда не открывать принцу, что тому предстоит стать королем; клятву эту никто не смеет нарушить.

Как только он выходит из-под опеки женщин, ему предоставляют возможность повидать свет, попутешествовать; особо заботятся о физическом его воспитании, которое всегда должно предшествовать воспитанию нравственному. Он носит ту же одежду, что и прочие крестьянские дети, ест обычные блюда, ему рано преподают умеренность; впоследствии это позволит ему лучше усвоить, что собственная бережливость должна служить примером, ложная же щедрость разоряет государство и бесчестит сумасбродных расточителей. Он посещает одну за другой все провинции. Его знакомят с сельскими работами, с устройством мануфактур, объясняют, где что добывается. Он все видит собственными глазами, входит в хижины землепашцев, ест за их столом, помогает им в труде и учится их уважать. Он запросто разговаривает со всеми, кого встречает. Характер его складывается совершенно свободно, и в мыслях своих он столь же далек от трона, сколь на самом деле близок к нему.

Многие короли превратились в тиранов не потому, что у них было злое сердце, а потому, что до них никогда не доходило, как живут в их стране бедняки.** Если бы сему юному принцу, как бы ни был он чес-

---

* «Гурон, или Простодушный», повесть Вольтера, одна из лучших вышедших из-под его пера. Гурон, запертый в Бастилии вместе с янсенистом, — нет ничего остроумнее этого эпизода.[1]

** Предрассудок постоянно находится одесную трона, всегда готовый нашептывать на ухо королям свои ложные истины. Правда робка, она сомневается в возможности одержать победу над ними, она ждет знака, чтобы приблизиться; но язык ее так непривычен, что король охотнее склоняет ухо к обманчивому призраку,

тен и прям от природы, позволили отдаться приятным размышлениям о будущей власти, он в силу присущей всякому человеческому сердцу злосчастной склонности впоследствии стал бы стремиться еще более расширить границы своего могущества.* Именно таким образом, к несчастью, некоторые государи проявляли свое королевское величие, потому-то интересы их всегда и оказывались противоположными интересам народа.

Как только принцу минет двадцать лет (а иногда это происходит раньше), его приводят в тронный зал. Он находится там среди толпы, как обыкновенный зритель. В этот день сюда собираются все сословия государства, и каждому из них дозволено высказать свое мнение. Вдруг государь встает и трижды произносит имя юноши, веля ему подойти. Толпа расступается. Пораженный, он робкими шагами приближается к трону и, дрожа от волнения, поднимается по его ступеням. Король обнимает юношу и перед лицом всех граждан объявляет его своим сыном. «Небом, — говорит он торжественно и умиленно, — небом предначертано вам нести бремя королевской власти. Двадцать лет мы старались сделать вас достойным этого: не обманите же надежд сего великого народа, который сейчас смотрит на вас. Сын мой! Я уповаю на то, что вы столь же ревностно станете служить государству, как служил ему я». Какая минута! Какое множество мыслей обуревает юношу! Тогда король указывает ему на могильную плиту, под коей покоится прах предшествовавшего государя; на ней крупными буквами начертано: «Вечность». «Сын мой, — говорит он ему все так же торжественно, — настал долгожданный час. Вы стоите на могиле прародителя вашего, чьи дела вам предстоит возродить. Поклянитесь же, что будете таким же справедливым, каким был он. Скоро вместо него буду лежать здесь я. Подумайте о том, что из глубины сей могилы я стану обвинять вас, если власть свою вы употребите во зло. Ах, дорогой сын мой, на вас устремлены око Всевышнего и взоры всего королевства — они видят вас, ни одна мысль ваша не ускользнет от них. Если в глубине души вашей шевелится в эту минуту тщеславие или гордыня, у вас есть еще время. Откажитесь от короны, сойдите с этого трона, вернитесь в толпу. Вы скорее достигнете влияния и уважения, оставаясь обыкновенным гражданином, чем если станете трусливым или суетным государем. Пусть не манит вас призрак могущества, пусть тешит ваше сердце сладостная и благородная мысль о возможности делать людям добро. А в награду я обещаю вам любовь народа, что внимает нам сейчас, мою любовь, уважение общества и милость властителя вселенной. Это он — истинный государь,

---

который говорит на знакомом ему наречии. Короли! Учитесь строгому и спокойному языку истины! Напрасно будете вы поклоняться ей, если не научитесь понимать ее язык.

* Люди обладают естественным предрасположением к деспотизму, ибо что может быть удобнее: достаточно пошевелить кончиком языка, и тебе повинуются. Все помнят о султане, который требовал, чтобы ему под страхом смерти рассказывали занимательные истории.[2] Иные властители поступают почти так же, как он. Они говорят своему народу: «Развлекай меня, а сам подыхай с голоду».

мой сын, мы же — всего лишь призраки, мы тенью проходим по земле, выполняя высокие его предначертания».*

Юный принц взволнован, растроган, лицо его заливает краска смущения, он не смеет глаз поднять на это множество людей, взгляды которых устремлены на него. Слезы брызжут из его глаз, он горько плачет пред лицом великих дел, кои предстоит ему совершить. Но вскоре он преодолевает свое волнение. Ему внушили, что великий человек должен жертвовать собой ради себе подобных и, поскольку природа не приуготовила людям безоблачного счастья, именно королевской власти, той самой, которую доверяет ему теперь народ, надлежит выполнить то, что не сумела сделать для них природа. Благородная эта мысль проникает в его сердце, воспламеняет его, высекает в нем огонь; в объятиях отца своего он произносит обет, он клянется прахом своего прародителя, он припадает губами к скипетру, перед которым первым должен преклониться, он возносит молитву Всевышнему — и его коронуют. Первые люди государства склоняются пред ним, простой люд в восхищении кричит ему: «О ты, вышедший из нашей среды, видевший нас так близко и так долго, да не ослепит тебя твое величие, никогда не забывай, кто ты и кто мы».**

Однако взойти на престол он может, лишь когда ему минет двадцать два года, ибо повиноваться королю-ребенку[4] противно здравому смыслу. По той же самой причине король, достигший семидесяти лет, слагает с себя власть,[5] ибо искусство управления государством требует бодрости духа и тела и особой восприимчивости, которая, к сожалению, с годами угасает в нашей душе.*** К тому же мы опасаемся, как бы привычка к власти не породила в его душе ту опасную страсть, что называется скупостью и является самым гнусным и жалким вожделением, одолевающим человека к концу его жизни.**** Престол переходит тогда к прямому наследнику, а семидесятилетний государь еще служит государству своими советами или же примером былых добродетелей. За время,

---

* Навуходоносор у Гарнье, кичась своим могуществом и своими победами, говорит: «Кто он, сей бог, повелевающий дождю, ветрам, бурям? Над кем властвует он? Над морями, скалами...» и т. д.

Безумные рабы! Людей я повелитель,
Я ваш единый бог, сошедший к вам в обитель.[3]

** Греки и римляне испытывали куда более сильные ощущения, нежели мы: красочные религиозные празднества, события, от коих зависела судьба государства, величественные, но лишенные пышности церемонии, клики толпы, народные собрания, речи ораторов — какой неиссякаемый источник впечатлений! Рядом с этими людьми начинает казаться, будто мы лишь прозябали, будто мы вовсе и не жили.

*** Когда годы посеребрят наши волосы, как сладко будет нам предаваться отдохновению, вспоминая добрые и милосердные поступки, кои свершили мы на протяжении нашей жизни! Тогда для всех без исключения останется либо сознание прежних своих добродетелей, либо мучительный стыд за свои пороки.

**** Следует страшиться и расточительности. Молодой государь иной раз отказывает потому, что отказом своим сохраняет собственное достоинство; но старец всегда отзовется на просьбу, ибо действительно помочь он уже не в силах.

протекающее между этой всенародной встречей и днем совершеннолетия принца, последнего подвергают еще нескольким новым испытаниям. Все истины внушаются ему на красноречивых и убедительных примерах. Вот как доказывают ему, что короли сделаны из того же теста, что и все прочие люди, что они ни на волос не отличаются от других, что рождаются они на свет такими же слабыми и подвержены тем же болезням, что они равны перед Всевышним и что единственной основой их величия является избрание их народом. К нему как бы для развлечения приводят молодого грузчика одинаковых с ним лет и одинакового роста и заставляют их бороться. Каким бы сильным ни был королевский сын, грузчик обычно одолевает его. Он пригибает его к земле до тех пор, пока принц не признает себя побежденным. Тогда принца поднимают с земли и говорят ему: «Ты видишь, согласно закону природы, ни один человек не подчинен другому, никто не рождается рабом, короли рождаются людьми, а не королями,— одним словом, род человеческий не для того создан, чтобы служить утехой нескольким семьям. Сам Всевышний, послушный этому естественному закону, не желает управлять с помощью жестокости, но лишь в соответствии со свободной волей. Делать людей рабами есть, стало быть, дерзость по отношению к Верховному существу и насилие над людьми». Тогда грузчик, одержавший победу над принцем, склоняется перед ним и говорит: «Я могу быть сильнее вас, но это не дает мне никаких прав и не приносит славы. Подлинная сила — в справедливости, истинную славу приносит великодушие. Я преклоняюсь перед вами как пред своим государем, которому народ вручил верховную власть. Если кому-нибудь вздумается угнетать меня — ваша обязанность устремиться мне на помощь; тогда я взову к вам и вы спасете меня от этого могущественного и несправедливого человека».

Если юный принц допускает какую-нибудь оплошность или позволяет себе неосторожность, которая обличает его дурной нрав, он назавтра же прочтет об этом в публичных ведомостях.* Он поражен, он негодует. Ему сухо отвечают: «Существует особый суд — неподкупный и взыскательный. Ежедневно ведется там летопись деяний государей. Потомкам известно будет о вас все — все ваши слова и поступки. По ним станут судить о вас. И лишь от вас зависит, чтобы они относились к вам с должным почтением». Если юный принц после этого призадумается и исправит свою ошибку, назавтра же газеты сообщат об этой прекрасной черте его характера и превознесут его благородное поведение, как оно того заслуживает. **

---

* Мне бы хотелось, чтобы какой-нибудь государь поинтересовался тем, что о нем думает публика. За четверть часа он узнал бы столько, что ему на всю жизнь хватило бы пищи для размышлений.

** Ты говоришь: «Я не боюсь меча, я храбр». Ты ошибаешься. Чтобы быть действительно храбрым, надобно не бояться также ни языка человека, ни пера его. Но в этом отношении могущественнейшие государи являли собой великих трусов. Издатель амстердамских ведомостей не давал Людовику XIV спокойно уснуть.[6]

Но особенно настоятельно внушается ему с помощью многочисленных примеров отвращение к той роскоши и великолепию, которые никому не приносят пользы, которые уже погубили столько государств и обесславили стольких государей.* Все эти позолоченные дворцы, говорят ему, подобны тем театральным декорациям, на которых картон выглядит массивным золотом. Ребенку кажется, будто он видит настоящий дворец. Не будьте детьми. Пышные празднества и торжественные приемы были злоупотреблением власти в угоду гордыне и политике. Все это великолепие, выставленное напоказ, имело целью внушить к себе почтение и страх. Именно таким образом подданные проникались духом раболепия и привыкали к порабощению. Но разве унизительно для короля держаться с подданными как с равными? Чего стоят все эти ежедневные церемонии, эти торжественные его выходы по сравнению с открытым и приветливым выражением его лица? Потребностей у короля не больше, чем у последнего из его подданных. «У него один только желудок, как и у погонщика волов, — говорит Жан-Жак Руссо.[7] — Если он желает насладиться чистейшим из всех наслаждений, пусть испытает радость быть любимым и пусть будет достоин этой любви».**

И, наконец, не проходит дня, чтобы ему не напоминали о существовании всевидящего Верховного существа и не внушали ему страх перед этим богом, благоговейный трепет перед Провидением, веру в бесконечную мудрость его. Бесспорно, нет ничего отвратительнее, чем неверующий король. Я предпочел бы находиться во время бури на судне, ведомом пьяным кормчим. Там я мог бы по крайней мере надеяться на случайное спасение.

Лишь в двадцать два года принцу позволяют жениться. Он возводит на престол гражданку своей страны. Он не привозит из-за границы жену-чужеземку, которая, будучи нередко всем своим складом совершенно чужда нравам его отчизны, так преображает французскую кровь, что французами управляют скорее испанцы или итальянцы,[9] нежели потомки наших славных предков.***

Король не позволяет себе оскорблять целую нацию, воображая, что красота и добродетель рождаются лишь под чужим небом. Та, что по-

---

* Роскошь, которая служит причиной гибели государств и заставляет попирать все добродетели, есть следствие развращенных придворных нравов, коим всякий стремится подражать.

** Первый герцог Виртембергский,[8] будучи на обеде у своего соседа, владетельного принца, с еще несколькими другими мелкими князьями, участвовал в общем разговоре. Каждый из присутствовавших рассказал о том, какими он владеет силами и насколько могуществен. После того как все они высказались, герцог сказал: «Я не завидую ни одному из вас в том могуществе, которым наградил вас бог. Но есть нечто, чем и я могу похвалиться, — в маленьком своем государстве я в любое время дня могу ходить один и чувствую себя в безопасности. Иногда я углубляюсь в лес, засыпаю там под каким-нибудь деревом; я живу совершенно спокойно среди своего народа, не опасаясь ни ножа убийцы, ни кинжала мстителя».

*** Большинство наших войн, как известно, является порождением этих, якобы политических, браков.[10] Если бы по крайней мере когда-нибудь Европа и Африка вздумали сочетаться браком с Азией и Америкой — тогда еще куда ни шло!

бедила его сердце во время странствий по родной земле, та, что полюбила его, когда у него не было еще ни скипетра, ни короны, поднимается на трон рядом со своим возлюбленным и обретает народную любовь и уважение и за свою нежность к супругу, и за то, что она сумела внушить ему любовь. Не говоря о том, что возможность подобной награды невольно внушает всем девушкам любовь к добродетелям, мы еще избегаем таким образом всех этих династических войн, которые, не имея ничего общего с благом государства, уже столько раз разоряли Европу.

В день своего бракосочетания принц не расточает безумных денег на торжественные и скучные пиры, на никому не нужные роскошные празднества, на фейерверки и прочие сумасбродства. Вместо подобных расходов, столь же бесполезных, сколь и возмутительных, он к этому дню велит возвести какое-либо общественное здание, построить мост, акведук, театральную залу, провести дорогу, прорыть канал; их называют тогда его именем. Это благодеяние остается в памяти народа, в то время как никто не помнит о тех неразумных тратах, которые вели лишь к несчастным случаям и гибели людей.* Народу, облаготворенному великодушием принца, не приходится здесь втихомолку повторять древнюю басню,[12] в которой бедная болотная лягушка оплакивает свою судьбу, страшась, что солнце вступит когда-нибудь в брак.**

Глава тридцать восьмая

О ЖЕНЩИНАХ

Учтивый человек, который все время столь любезно удовлетворял мое любопытство, продолжал тем же откровенным тоном:

— Надобно вам сказать, что женщины у нас не имеют никакого иного приданого, кроме очарования и добродетелей. Им пришлось, сле-

---

* Надобно ли напомнить о страшной ночи на 30 мая 1770 года?[11] Она останется вечным обвинением нашей полиции, которая благоприятствует одним лишь богачам, охраняя варварский обычай ездить в каретах. Ведь именно кареты были причиной этого страшного бедствия. Но если после этого ужасного случая не было даже выпущено строгого предписания, дающего возможность гражданину беспрепятственно пользоваться мостовой, можно ли надеяться на излечение других горестей, более укоренившихся, с которыми труднее бороться? Около восьмисот человек погибло от последствий той страшной давки, а шесть недель спустя об этом уже никто не вспоминал!

** В одной стихотворной пиесе я прочел такие строки:

Сии властители величием полны —
О коронованные нищенства сыны![13]

Действительно, их требования не имеют границ, и за подвенечное платье августейшей новобрачной, за свадебный пир, за фейерверк, за вышитые простыни на брачном ложе платить будет народ; а стоит родиться наследнику, каждый младенческий крик его тотчас же будет превращаться в новые указы.

довательно, совершенствовать свои нравственные качества. Так с помощью законодательства удалось победить страшную гидру кокетства, столь чреватую всяческими причудами, пороками и смешными привычками.

— Как! Никакого приданого? Ваши женщины не имеют собственности? Но кто же тогда женится на них?

— У женщин нет приданого потому, что по природе своей они подначальны тому полу, от коего зависит их сила и слава, и ничто не должно отвлекать их от этой законной власти, уж во всяком случае не столь страшной, как то иго, которое они сами на себя налагали при своей пагубной свободе. Впрочем, никто не остается в накладе: мужчина ничего не получает за женщиной, на которой женится, но зато дочерей своих выдает замуж без всяких затрат. Вы не встретите у нас девицу, кичащуюся своим приданым и словно делающую великую милость супругу, на брак с которым она соглашается.* Всякий мужчина кормит женщину, с которой он приживает детей, а она, получая все из рук мужа, более склонна к верности и послушанию; и поскольку закон этот распространяется на всех женщин, ни одной из них это не в тягость. Положение женщины в обществе всецело зависит от положения в оном ее супруга. Совершенно преданные обязанностям, предписываемым их полом, женщины считают за честь подчиняться этим суровым законам, которые одни лишь способны обеспечить их счастье. Всякий гражданин, ничем себя не запятнавший, даже если он занимает самое скромное положение, может притязать на девушку из высших кругов, лишь бы она отвечала на его чувство и при этом он ее не совратил или между ними не было чрезмерной разницы лет. Все граждане, отнюдь не будучи равны между собой, обретают естественное равенство, когда речь идет о столь чистом, свободном и столь необходимом для счастья деле, как подписание брачного контракта. Здесь положен предел и родительской воле,** и воле властей. Браки у нас счастливые, ибо узы их не осквернены пагубным своекорыстием. Вы и представить себе не можете, от какого множества пороков и недостатков избавились мы благодаря сему простому закону: нашим женщинам неведомы злословие, ревность, безделие, стремление взять верх над соперницей и прочие недостойные чувства.***

---

* Одна афинянка как-то спросила жительницу Лакедемона,[1] какое приданое она принесла своему мужу. «Целомудрие», — отвечала та.

** Какое непристойное, какое чудовищное зрелище являет собой отец, который обивает пороги судов и, понуждаемый неуемной своей гордыней, отказывается отдать дочь мужчине, потому что тайно предназначал ее другому; и при этом еще смеет ссылаться на какие-то гражданские установления, между тем как сам забывает священнейшие законы природы, согласно которым должен быть благодетелем своей дочери, а не мучителем ее. Примечательное и печальное явление сего несчастного века — скверных отцов у нас больше, чем неблагодарных детей. Где источник зла? Увы, он в наших законах!

*** Природа предназначила женщин для ведения дома и такого рода забот, которые одинаковы у всех и везде. Она создала гораздо меньше разновидностей жен-

Они перестали тешить свое тщеславие, они просветили свой разум и взамен богатства обрели кротость, скромность, терпеливость. Игра на музыкальных инструментах и умение танцевать уже не составляют главного их достоинства: они научились быть бережливыми, овладели искусством нравиться своим мужьям и воспитывать детей. Таким образом, имущественное и сословное неравенство (сей губительный изъян всех политических обществ) теряет здесь силу. Самому незаметному гражданину не приходится краснеть перед родиной: он может породниться с самым прославленным, и тот нисколько этого не устыдится. Вместо тех оскорбительных различий, кои приводили лишь к гордыне с одной стороны и ненависти с другой, закон этот насколько возможно объединил между собой людей, предпочитая уничтожить все, что способно сеять раздоры между детьми одной и той же матери. Наши жены подобны женам древних галлов,[2] они приветливы и естественны; мы почитаем их, мы советуемся с ними во всех делах своих. Они не изъясняются на том жеманном тарабарском наречии, что было в ходу у ваших ученых женщин.* Они не берут на себя смелость определять степень одаренности того или иного поэта. Они довольствуются здравым смыслом, качеством куда более полезным, чем всякое ненатуральное острословие, сии пустые забавы безделия. Любовь, неиссякаемый источник высоких добродетелей, главенствует над всем и печется о пользе отчизны. Чем больше счастья вкушаем мы в ее пределах, тем она нам дороже. Судите же, сколь мы должны быть ей преданы. Женщины от всего этого, разумеется, выиграли. Вместо пустых и скучных развлечений, которым предавались они из тщеславия, они обрели нашу любовь и наше уважение; в обладании нашими сердцами они черпают более постоянные и чистые радости, нежели в однообразной, утомительной погоне за мимолетными удовольствиями. На них полностью лежит воспитание наших детей, они единственные их наставницы; более вдумчивые и образованные, чем женщины вашего века, они способны полнее наслаждаться радостями материнства!

— Но позвольте, — воскликнул я, — при всех ваших высоких добродетелях люди всегда остаются людьми; у них могут быть слабости, прихоти, может наступить пресыщение. Как поступаете вы в тех случаях, когда огонь любви превращается в пламя раздора? Дозволен ли у нас развод? **

ского характера, нежели мужского. Почти все женщины походят одна на другую. У них одна задача, и осуществляют они ее в любой стране одним и тем же способом.

* Неразумно поступает женщина, которая по всякому поводу старается выказать свой ум. Ей, напротив, следовало бы употребить все свое искусство на то, чтобы скрыть его. В самом деле, что ищем мы, мужчины, в женщине? Невинность, чистоту, неискушенную открытую душу, пленительную робость. Женщина, блистающая своими знаниями, словно говорит вам: «Господа, полюбите меня, я умна — я сумею быть более коварной, более лживой, более хитрой, чем другая».

** В IX веке папа Николай I, выступив преобразователем всех божеских, естественных и гражданских законов, отменил развод,[3] который принят был у всех

— Разумеется, если он вызван причинами, предусмотренными нашим законом; так, например, если оба супруга заявляют об этом одновременно, достаточно несовместимости характеров, чтобы брак их был расторгнут. Ведь женятся для того, чтобы быть счастливыми; это договор, целью которого является взаимное согласие и забота. Мы не столь неразумны, чтобы силой удерживать два сердца, стремящихся прочь друг от друга, и повторять пытку жестокого Мезенция, который живого человека привязывал к трупу. Развод в подобном случае есть единственный разумный выход, ибо если эти два человека потеряны друг для друга, то по крайней мере они хотя бы возвращаются обществу. Но поверите ли вы мне? Чем легче стало разводиться, тем меньше охотников пользоваться этим правом, ибо есть нечто позорное в неспособности супругов вместе переносить превратности сей быстротекущей жизни. Наши жены, добродетельные по своим взглядам, охотно предаются радостям домашнего очага; они весело выполняют свой долг, сочетая его с искренним чувством; все просто тогда в семейной жизни, все вызывает умиление.

— О, как мне жаль, что я уже так стар, — воскликнул я, — не то я без промедления женился бы на одной из ваших прелестных женщин. А наши держались столь высокомерно, столь спесиво! В большинстве своем они были так лживы, так невоспитаны, что женитьба казалась каким-то безумным шагом. Кокетство и непомерная страсть к развлечениям при полном равнодушии ко всему, что не касалось лично их, — вот из чего складывался характер наших женщин. Они притворялись чувствительными; но добрыми бывали только со своими любовниками. Все было чуждо их душе, кроме вкуса к наслаждению. Не говорю о стыдливости. Она почиталась смешной. Вот почему всякий разумный человек, выбирая из двух зол, предпочитал положение холостяка. Не менее серьезным препятствием к браку являлись трудности, связанные с воспитанием детей; люди воздерживались рожать детей для государства, которое впоследствии станет всячески притеснять их. Так благородный слон

народов мира и разрешен у евреев и христиан. Подумать только, от чего зависит судьба человечества! Один человек отнимает у него драгоценную свободу, превращает узы гражданские в священные и нерасторжимые оковы и увековечивает семейные раздоры. В течение веков глупый и странный сей закон действовал непреложно; и распри, раздирающие семьи, и обезлюдение государств — не более как следствие этой папской блажи. Ведь совершенно очевидно, что, будь разрешен развод,[4] браки были бы счастливее. Люди не так боялись бы связывать себя этими узами, когда бы были уверены, что оные не превратятся в оковы. Жены были бы рачительнее и послушнее. Если бы долговечность брачного союза зависела лишь от воли супругов, он был бы куда прочнее. Кроме того, если народонаселение у нас значительно ниже, чем это следует, то причиной этого в монархиях, населенных католиками, в какой-то степени является нерасторжимость браков. Если они и дальше будут терпеть такое множество холостяков и старых дев (следствие столь печальных порядков) и безбрачие духовенства, якобы освященное богом, то недалек тот час, когда эти монархии вынуждены будут выставить лишь несколько маломощных полков против многочисленных, здоровых, крепких армий тех народов, у коих развод разрешен. Чем меньше будет у нас холостяков, тем чище, счастливее и плодовитее будут браки. Уменьшение человеческого рода неизбежно приводит государство к полному упадку.

в неволе обуздывает себя, отказываясь предаться сладостнейшему инстинкту, дабы не превращать потомство свое в рабов. Сами мужья ограничивали себя в любовных своих порывах, дабы не допустить в свой дом ребенка, который был бы лишним ртом. Люди боялись вступать в брак, ибо союз этот лишь удвоил бы их нищету! Несчастные старые девы, вынужденные прозябать в родительской семье, увядали, подобно цветам, что под жгучими лучами солнца теряют яркость красок и клонятся долу на стеблях своих. Большая часть их до конца своих дней продолжала лелеять мечту о замужестве — унынием и скукой наполнено было каждое мгновение их жизни; и если иные и находили себе утешение, то лишь ценою своего здоровья и девичьей чести. В конце концов число холостяков и старых дев достигло устрашающих размеров, но самым устрашающим было то, что разум невольно оправдывал сие преступление против человечества.* Утешьте же меня окончательно, дополнив умилительную картину ваших нравов. Как удалось вам справиться с этими бедствиями, которым, казалось, суждено было положить конец роду человеческому?

Мой собеседник оживился; возвысив голос и подняв глаза к небу, он сказал с достоинством и благородством:

— Бог мой! Если человек несчастлив, то лишь по собственной вине; это означает, что он чуждается других людей, что он сосредоточен на самом себе. Мы тратим силы на пустейшие предметы, пренебрегая теми, кои могли бы нас обогатить. Предназначая человека для общества, провидение снабдило его при этом и средствами, способными облегчать собственные страдания. Есть ли долг более насущный, чем взаимная помощь людей? Разве не стремится все человечество к выполнению сего долга? Зачем так часто бывало оно обмануто! Повторяю снова: наши женщины — супруги и матери, из двух этих качеств проистекают и все остальные. Женщина у нас опозорила бы себя, если бы принялась румяниться, нюхать табак, пить ликеры, превращать день в ночь, если бы на устах у нее были непотребные песенки и она позволяла себе хоть сколько-нибудь вольное обращение с мужчинами. Наши женщины владеют куда более верным оружием: кротостью, скромностью, естественной прелестью и той благопристойностью, что присуща им всем и составляет подлинную их славу.** Они сами кормят грудью детей своих, не считая

* Стремление к холостой жизни становится господствующим тогда, когда правительство доходит до такой степени безобразия, что дальше идти уже некуда. Лишенный самых сладостных уз, гражданин постепенно утрачивает и любовь к жизни. Нередко люди накладывают на себя руки. Жить — столь тягостное ремесло, что жизнь становится невыносимым бременем.[5] Можно стойко перенести все стихийные бедствия вместе взятые; но бедствия политические во сто крат ужаснее, ибо не вызваны необходимостью. Человек проклинает общество, которое должно было облегчить его горести, и разбивает свои оковы. В 1769 году в Париже насчитывалось сто сорок семь человек, добровольно ушедших из жизни.

** До тех пор, пока во Франции будет продолжаться владычество женщин,[6] пока они будут задавать в ней тон, судить и рядить о достоинствах и уме мужчин, французы не будут обладать ни той твердостью души, ни той мудрой расчетливостью, ни той серьезностью и мужеством, кои должны быть присущи свободным людям.

это великим трудом, и так как делают это с охотой, молоко у них здоровое и его вполне достаточно. У нас рано начинают укреплять тело ребенка: его учат плавать, поднимать тяжести, попадать в цель. Мы придаем большое значение физическому воспитанию. Мы закаляем тело ребенка, прежде чем начинаем вкладывать что-либо в его голову, ибо это голова человека, а не попугая. Мать старается уловить первые проблески детских его мыслей и, едва только начинает он владеть своим телом, принимается думать о том, каким образом приучить его душу к добродетели. Перед ней стоит задача превратить свойственную ему от рождения чувствительность в любовь к людям, самолюбие в великодушие, любопытство в постижение высоких истин; она вспоминает те трогательные истории, коими в иных случаях ей надобно будет воспользоваться, — не для того, чтобы скрывать от сына правду, но чтобы сделать ее привлекательнее, чтобы яркий блеск ее не ранил слабую, еще неопытную детскую душу. Она внимательно следит за каждым жестом и каждым словом, которое при нем произносится, дабы ничто не могло произвести на него тягостного впечатления. Так охраняет она его от тлетворного дыхания порока, что столь быстро заставляет увянуть цветок невинности. Образование детям у нас дается разное, в зависимости от того, какое занятие предстоит им избрать в дальнейшем; ибо хотя обучение наше ныне и свободно от ига педантизма, нелепо было бы заставлять ребенка усваивать то, что впоследствии ему суждено забыть. Каждое ремесло имеет свои тайны, и чтобы быть в оном искусным, надобно отдаться ему всецело. Невзирая на всякие недавно открытые средства и приемы и вопреки отдельным исключениям, человеческий ум не может объять более одного предмета. Достаточно и того, что он надлежащим образом углубится в него, и не следует предлагать ему вторгаться и в другие области, ибо это может отвлечь его от основного занятия. В ваше время желание быть универсальным казалось лишь смешным, для нас это было бы безумием. Когда человек становится старше и начинает ощущать узы, соединяющие его с другими людьми, мать взамен тех пустых знаний, коими загромождали у вас головы юношей, с пленительным и мягким красноречием, столь присущим женщинам, рассказывает ему о том, что такое нравственность, приличие, добродетель. Дождавшись того часа, когда расцветает природа, воздействуя на самое нечувствительное сердце, когда свободное дыхание весны возвращает холмам, лесам и полям весеннее их убранство, она говорит, прижимая его к своей груди:* «Сын мой, взгляни на зеленые луга, на деревья, одетые густой листвой; еще недавно они были словно мертвые, и лишенные яркой своей растительности цепенели от холода, проникшего в самые недра земли. Но есть Благое существо, всеобщий отец наш; никогда не покидает он детей своих, отеческим взглядом взирает он с небес на создания свои. Он улыбнется, и солнце тотчас же начинает

* Кебет изображает лицемерие[7] сидящим у врат жизни и предлагающим каждому, кто желает войти, испить из чаши заблуждения. Чаша сия — суеверие. Блажен тот, кто, лишь раз глотнув из нее, тут же отбросил ее прочь.

излучать тепло, зацветают деревья, земля покрывается дарами божьими, пробивается трава, дабы питать животных, чье молоко мы пьем. За что так любим мы Создателя, дитя мое? За то, что он добр и всесилен. Все, что видишь ты вкруг себя, — дело рук его, а это ведь ничто в сравнении с тем, что от тебя еще сокрыто. Вечность, для коей создана была бессмертная твоя душа, явит тебе нескончаемую цепь радостей и чудес. Беспредельны благодеяния и величие божьи. Бог любит нас, ибо он отец наш. И с каждым днем будет он делать нам все большее добро, если мы будем добродетельны, иначе говоря, если будем следовать его законам. О сын мой, можем ли мы не любить и не благословлять его?». При этих словах мать и сын простираются ниц, и общая их молитва поднимается ввысь к престолу Всевышнего. Так внушает она ему мысль о боге, так питает его душу млеком правды, говоря себе: «Я выполню предначертания Творца, доверившего его мне. Я буду сурово бороться с гибельными страстями, которые могли бы помешать ему быть счастливым. Материнскую любовь свою я буду сочетать с взыскательной бдительностью друга».

Вы видели, в каком возрасте юношу допускают причаститься тайн двух бесконечных миров. Таково наше воспитание; как видите, это прежде всего воспитание чувств. Нам ненавистны те язвительные умы, что были величайшим бедствием вашего века; такой ум все иссушит, он испепелит все, до чего коснется; его насмешки — те семена, из коих произросли все пороки. Но если опасен легкомысленный тон, что такое и самый разум, коли нет в нем чувства? Бесплотное тело, лишенное красок, привлекательности, чуть ли не жизни. Какой толк мне в новых идеях, пусть даже и глубоких, если нет в них жизни, нет ничего, что трогало бы чувство? К чему мне бесстрастная правда, которая леденит душу? Она теряет всю силу свою и могущество. Сердце — вот где черпает правда свои чары и громы красноречия. Мы любим красноречие, полное живых образов, пробуждающих нашу фантазию. Это оно придает мысли огненные крылья. И вот она уже заметила предмет, овладела им и глубоко постигла, ибо радости познавания сопутствует воодушевление.* Наша философия отнюдь не сурова; да и к чему ей быть суровой? Почему не украсить ее цветами? Разве запутанные или мрачные идеи лучше служат добродетели, нежели те, что доставляют наслаждение и приносят пользу? Мы думаем, не для того благодетельная рука ниспослала на землю наслаждение, чтобы оно внушало нам

* Мы более рассчитываем на внешнее проявление правов, другими словами — на обычаи, нежели на что-либо другое. Вот почему мы недостаточно занимаемся воспитанием. Древние вкладывали в свои рассуждения больше чувства и тем придавали изучению наук приятность, секрет которой ныне утрачен. Новым авторам всегда не хватает чувства — даже наиболее даровитые из них пропитаны духом педантства. Что может быть нелепее наших коллежей? Сравнить только их сухие, мертвые принципы обучения с тем общественным воспитанием, которое давали молодым людям греки,[8] уснащая мудрость всеми приманками, что влекут к себе сей нежный возраст? Наши наставники предстают лишь суровыми учителями. Что ж удивляться, если ученики первыми покидают их и бегут прочь?

страх. Наслаждение — не чудовище; это, как сказано Юнгом, лишь более веселое имя добродетели.[9] Менее всего думаем мы уничтожить страсти, эти невидимые двигатели нашего естества; мы видим в них драгоценный дар, к которому надо относиться бережливо. Блажен тот, кто обладает сильными страстями! Они суть слава души его, ее величие, ее богатство! Мудрый человек у нас образовывает свой ум, отвергает предрассудки и приобретает приятные и полезные знания. Все искусства, кои могут расширить его ум, сделать его более точным, совершенствуют его душу: и овладев ими, он уже внемлет одной лишь природе, что подвластна законам разума, разум же предписывает ему наслаждаться.*

Глава тридцать девятая

НАЛОГИ**

— Скажите мне, сделайте милость, каким образом взымаются у вас государственные налоги; ибо, как бы совершенно ни было ваше законодательство, приходится же вам платить их.

Вместо ответа любезный человек, сопровождавший меня, взял меня за руку и привел на широкий и просторный уличный перекресток. Там

---

* Нет, не чрезмерность страстей — причина наших невзгод. Горячий необъезженный скакун, что встает на дыбы под рукою плохого ездока и, сбросив его, топчет копытами, — под хлыстом разумного хозяина был бы послушен узде и снискал бы ему славу на ристалищах. Слабые страсти свидетельствуют об убогости души. В самом деле, что являет собой сей молчаливый, сей неповоротливый гражданин, чья дремлющая душа ни к чему не чувствует охоты, который смирен потому, что бездеятелен, который прозябает, во всем послушный властям, потому что у него нет никаких желаний. Да полно, человек это или статуя? Поставьте рядом с ним мужа, исполненного живых страстей: с жаром предавшись им, он проникнет в тайны природы; пусть будет ошибаться, зато он проявит свой талант. Враг покоя, жадный до знаний, он, сражаясь со всем миром, обретет тот высокий и светлый разум, который послужит в дальнейшем на пользу отечеству; быть может, его будут преследовать, зато он обнаружит все силы души своей; и доброе имя его будет восстановлено, ибо он был велик и полезен.

** Друзья мои, послушайте-ка басню. Стояла на земле с незапамятных времен лимонная роща: на деревьях ее росли золотистые сочные плоды, прекраснее которых никогда не было на свете. Ветви склонялись под их тяжестью, воздух вокруг напоен был их сладким ароматом. Но налетел буйный ветер, сбил несколько лимонов и даже сломал несколько веток. В другой раз сорвали несколько плодов страдавшие от жажды путники и, высосав сок, бросили их на землю. Это заставило лимонный народ выделить сторожей, дабы они впредь отгоняли прохожих и окружили бы рощу высокими стенами для защиты ее от ветров. Сначала сторожа служили лимонам верой и правдой, но вскоре они начали жаловаться, что столь тяжкий труд рождает в их груди невыносимую жажду. И сказали они лимонам: «Господа, мы умираем от жажды, неся свою верную службу. Позвольте сделать на каждом из вас небольшой разрез; мы выдавим лишь одну капельку вашего сока, дабы смочить наши пересохшие горла: вам это не повредит, а для нас и детей наших послужит

увидел я большой сундук высотой в 12 футов. Сундук этот стоял на четырех колесах, верхняя часть его являла собой вид церковной кружки для пожертвований. Над ним приделан был навес для защиты от дождя. На сундуке было написано: «Налог королю, представляющему государство». Рядом стоял сундук поменьше, с надписью «Добровольные взносы». Я видел, как несколько человек свободно и легко, с довольным видом вкладывали туда запечатанные пакеты, подобно тому как в наши дни сдают письма в почтовых конторах. Этот простой способ взимания налога привел меня в восторг, я стал задавать по этому поводу тысячу разных вопросов; ко мне относились, как к простодушному старичку, прибывшему в Париж невесть откуда, и отвечали мне снисходительно и терпеливо. Признаться, только во сне можно встретить людей столь любезных и снисходительных — о, какой это был добрейший народ!

— Сундук, который вы здесь видите, — сказали мне, — это и есть наш главный сборщик налогов. Сюда каждый гражданин опускает те деньги, кои надлежит ему внести для поддержания государства. В первый сундук мы обязаны ежегодно вложить пятидесятую часть всех наших доходов. Поденщик, не имеющий собственности, или человек, чьих доходов едва хватает на прожитье, налоги у нас не платит,* ибо

источником новых сил, и это поможет нам и дальше выполнять свой почетный долг».

Легковерные лимоны охотно вняли их просьбам и позволили сделать себе сие небольшое кровопускание. Что же произошло дальше? Единожды произведя небольшой разрез, господа защитники лимонов повадились все чаще и чаще выдавливать из них сок; сначала они действовали учтиво, но чем дальше, тем все бесцеремоннее. И дошло до того, что они уж и дня не могли прожить без лимонного сока, пили его за всякой трапезой и подливали ко всякому кушанью. И вскоре они заметили, что чем сильнее давить, тем больше выходит сока. Вконец изнуренные лимоны попытались было напомнить о первоначальном уговоре, однако, обретя силу, господа правители побросали всех, несмотря на их сетования, в давильный чан и принялись выжимать, да так, что от лимонов осталась только кожа, да и ту еще обрабатывали посредством особого рычага. В конце концов они стали в лимонном соке чуть ли не купаться. Опустела прекрасная роща, весь лимонный народ был истреблен, а тираны, привыкнув к сему освежающему напитку, так неразумно его расточали, что остались ни с чем. Тут они заболели гнилостной лихорадкой, да все до одного и перемерли. И поделом им!

* Вот что могли бы сказать своим королям землепашцы, жители деревень — словом, народ: «Мы высоко вознесли вас над собой. Ради великолепия ваших тронов и безопасности ваших особ мы принесли в жертву свое достояние и жизнь. Вы сулили нам взамен изобилие, вы обещали нам спокойные безоблачные дни. Могли ли мы ожидать, что под вашим владычеством радость исчезнет из наших селений, что дни праздников станут для нас днями печали, что страх и трепет придут на смену сладостному чувству доверия? Прежде взоры наши веселил вид зеленеющих полей и пашни обещали щедро вознаградить нас за наш труд. Ныне плоды сего труда, обильно политые нашим потом, оказываются в чужих руках. Разрушаются деревни, которые мы так любовно обихаживали. Наши старики и дети не знают, где приклонить им головы. Стенания наши не достигают ваших ушей; с каждым днем все большая нищета приходит на смену той, от коей стенали мы вчера. Мы почти утратили образ человеческий — скот, что щиплет траву на наших пастбищах, и тот счастливее нас.

можно ли отбирать кусок хлеба у несчастного, которому приходится весь день трудиться, чтобы его заработать. Второй сундук предназначен для добровольных приношений на разного рода полезные предприятия, а также на осуществление тех проектов, что удостоились одобрения публики. Случается, что сумма взносов во втором сундуке оказывается выше, нежели в первом, ибо мы предпочитаем быть свободными в своих деяниях и щедрость наша зиждется исключительно на разуме и привязанности к своему государству. Стоит только нашему королю обнародовать какой-либо полезный указ, заслуживающий всеобщего одобрения, как мы толпой устремляемся сюда и выражаем ему свою признательность, опуская в сей ящик несколько монет. Так вознаграждаем мы всякую заботу государя об общественном благе: ему достаточно предложить что-либо, и мы тотчас же вносим средства, необходимые для выполнения его намерений. В каждом квартале Парижа стоит такой «сборщик налогов». Подобные же сундуки имеются и в городах провинции, и там они служат для сбора налогов от поселян,

---

На нас обрушиваются еще более чувствительные удары. Нас презирает сильный; он отказывает нам даже в праве на честь, он приходит в наши хижины, соблазняет наших дочерей и уводит их, делая жертвами разврата. Тщетно взываем мы к тем, кто держит меч правосудия. Они отворачиваются от нас, они не снисходят к нашим бедам; они защищают лишь наших обидчиков. Лицезрение чужого богатства, оскорбляя нашу нищету, делает жизнь нашу еще невыносимее. Пьют нашу кровь и запрещают роптать! Тот, кто жестоко обирает нас, кичится творениями наших рук, но ему, окруженному наглой роскошью, нет дела до усовершенствования наших ремесел, им движет лишь презренная жажда золота; в нас он видит лишь рабов, ведь мы не восстаем и не жаждем крови Беспрестанно терзающая нас нужда развратила прежде невинные наши нравы. В нашу среду проникли недобросовестность и бесчестность, ибо жизненная необходимость обычно берет верх над добродетелью. Но кто подает нам пример бесчестности? Кто погасил в наших сердцах ту душевную чистоту, что объединяла нас в столь совершенном согласии? Кто повинен в нищете нашей — сей матери всех пороков? Многие из наших сограждан отказываются иметь детей, дабы не обрекать их на голод еще с колыбели. Другие впали в отчаяние и кощунствуют, кляня Провидение. Кто ж истинный виновник наших бедствий? Да проникнут справедливые наши жалобы сквозь густую пелену, обволакивающую троны! Да пробудятся короли и вспомнят, что и они могли родиться такими, как мы, и что детей их может постигнуть наша участь. Неразрывно связанные с землей отчизны, а вернее — составляя неотъемлемую ее часть, мы не отказываемся трудиться ради ее блага. Мы просим одного: пусть какой-либо добросовестный человек вычислит предел наших сил, дабы вовсе не раздавило нас то бремя, которое мы рады бы нести, когда бы оно было им соразмерно. И тогда, спокойно существуя в соответствии со своими достатками, довольные судьбой своей, мы спокойно взирали бы на благоденствие других, нимало не тревожась о собственной участи.

Жизненный путь наш более чем наполовину пройден. Сердца наши наполовину мертвы от горестей. Дни наши сочтены. Не о себе только печемся мы, но и об отчизне. Мы — ее опора. Но если гнет будет возрастать, нас ждет гибель, и тогда рухнет наше отечество, а под обломками его погибнут и тираны. Мы не желаем сего бессмысленного и печального возмездия. Какой толк нам после смерти в несчастии ближних наших? Мы взываем к государям, если только сохранилось еще в сердцах их что-либо человеческое. Но если они зачерствели окончательно, пусть узнают владыки мира, что умирать мы умеем и что смерть — а она никого не минует — для них будет страшнее, чем для нас.

вернее сказать — достаточных земледельцев, ибо сельские рабочие, кроме своих собственных рук, ничем не владеют, а по головам у нас не считают даже быков и овец, мы не знаем этого постыдного налога, впервые введенного у евреев,[1] и который вы в свое время платили, не понимая всей его унизительности.

— Позвольте, — сказал я, — как же так? Выходит, народ сам определяет сумму налога, которую ему надлежит внести? Но ведь многие могут уклониться от его уплаты, и вы этого даже не заметите?

— Напрасно вы так думаете. Прежде всего, мы вносим эти деньги от чистого сердца. Никто нас к этому не принуждает, нами в той же мере движет справедливость, что и здравый смысл. Среди нас нет человека, который не считал бы делом своей чести аккуратно платить этот налог — наисвященнейший и наизаконнейший. Впрочем, если бы даже кто-нибудь осмелился от него уклониться, это бы тотчас же обнаружилось — ведь на пакете с деньгами должна стоять подпись того, кто его опустил. Видите ту доску? На ней значатся имена глав семейств, подлежащих обложению налогом. Подобный человек покрыл бы себя вечным позором, на него смотрели бы как на вора, и он до самой смерти своей не смог бы избавиться от славы дурного гражданина. Но такие случаи у нас очень редки, и сумма добровольных взносов обычно превышает сумму налога. Каждый знает, что, отдавая государству часть своего дохода, он приносит пользу и себе и что если он хочет пользоваться определенными выгодами, ему надобно самому сделать для этого первый шаг. Но к чему слова, ведь во всем этом вы можете убедиться воочию. То, что вы увидите, скажет вам гораздо больше, чем смогу это сделать я. А как раз сегодня сюда со всех концов страны поступает справедливая дань королю-благодетелю, который признает себя лишь хранителем тех даров, что предлагает ему верный его народ. Пойдемте-ка, сегодня сюда прибывают посланцы от всех провинций.

И в самом деле, не успел я сделать несколько шагов, как увидел людей, тащивших за собой небольшие тележки, на которых стояли сундуки, украшенные лавровыми ветвями. Сундуки распечатывались и тут же ставились на точные весы, которые показывали вес находившихся в них денег, причем вес самого сундука был известен заранее. Все налоги вносились серебром, так что можно было точно определить общую сумму, которую громогласно объявляли под звуки труб и фанфар. После сего торжественного смотра оглашали общий итог, и прибыль, полученная государством, тотчас становилась известной всем; деньги поступали в королевскую казну под охрану контролера финансов.

День этот был днем всеобщей радости: навстречу тележкам с данью по дорогам двигались граждане, украшенные венками, с криками: «Да здравствует король!». Повсюду стояли столы с угощением. Посланцы различных провинций приветствовали друг друга и обменивались подарками, пили за здоровье государя под грохот пушек, а в ответ раздавался грохот главной пушки столицы в знак благодарности короля своим подданным. Народ, казалось, слился в большую единую семью.

А король шел среди этого ликующего народа, отвечая на радостные клики любезных своих подданных ласковым, приветливым взглядом, что вызывает доверие и ответную любовь; ему неведомо было искусство кривить душой перед народом, ибо он почитал себя отцом его.

Его появление на улицах не разоряло весь город, поскольку народ расплачивался лишь этими кликами радости.* Что может быть торжественней и почетней для государя, чем такого рода встреча? Никто по случаю его прибытия не бросает работы, напротив, каждый гражданин считает за честь предстать перед своим королем за тем занятием, которое себе избрал.

Полномочный представитель короля, снабженный всеми атрибутами власти, объезжает провинции, собирает там прошения и везет прямо к подножью трона врученные ему жалобы. Он и сам разбирает случаи нарушения порядка. В каком бы городе ни случилось злоупотребление, он тотчас же отправляется туда; в честь каждой такой победы над гидрой зла в городе этом возводится пирамида, увековечивающая сию победу. Что может быть полезнее, чем эти назидательные памятники, свидетельствующие о том, что король на самом деле управляет государством! Уполномоченные представители приезжают в город тайно, под чужим именем и добывают нужные им сведения — они действуют, как шпионы, но шпионы, пекущиеся о благе отчизны.**

— Но контролер финансов,*** как видно, весьма честный человек? Помните басню о верной собаке,[3] которая была столь добродетельна, что приносила хозяину его обед, никогда к нему не притрагиваясь, но в конце концов все же сожрала его, увидев, что это делают другие.

---

* Видел я, как один принц въезжал в некий чужеземный город. Палили из пушек. Принц был роскошно одет, его везли в золотой карете в сопровождении множества пажей и лакеев. Лошади скакали с веселым ржаньем, словно они везли само счастье. Все крыши были усеяны зеваками, все окна раскрыты, улица была запружена народом; кавалеристы играли саблями, сверкавшими на солнце, солдаты махали ружьями. Воздух сотрясался от гудения труб. Поэт настраивал свою лиру, оратор лишь ждал мгновения, чтобы гость ступил на землю. Его препроводили торжественно во дворец, и все при виде его бурно выражали почтение и радость. Стоя у окна, я смотрел на все это и размышлял. Несколькими днями позже я встретил этого принца на улице, пешком без всякой свиты в обыкновенном платье. Уж не знаю, почему, но только никто не обращал на него внимания, напротив, его то и дело толкали. И вдруг на улице появился какой-то шарлатан, который сидел в маленькой повозке, запряженной несколькими большими собаками, с обезьянкой вместо форейтора на запятках. Тут стали раскрываться все окна, послышались восторженные возгласы, и все как один устремили глаза на шарлатана. И сам принц, увлеченный толпой, не мог оторвать от него взгляда. Я смотрел на него, и чудилось мне, будто он говорит себе: «Пусть никогда больше приветственные клики толпы не затуманят мой разум безумной гордыней. Не человеком этим восхищается толпа, а лишь причудливым его выездом. Не я приковывал к себе взоры всего города, а мои лакеи, мои лошади, сверкание моего платья, позолота моей кареты».

** В Турции, а ныне и во Франции, всякий правитель такой же полновластный хозяин, как и король; это-то и составляет несчастие народов. Вот самая злополучная форма государственного правления.

*** Фуке[2] говаривал: «У меня в руках все деньги королевства и прейскурант всем добродетелям!».

Неужто ваш контролер добродетелен вдвойне и не только другим не дает, но и себе не берет?

— Разумеется. Он не строит себе ни замков, ни дворцов. Он не норовит продвигать на первые государственные должности своих внучатых племянников и прежних лакеев. Он не расточает золото направо и налево так, словно все доходы королевства являются его собственностью.* К тому же все те, кому у нас доверены общественные средства, сами никоим образом не имеют касательства до денег. Всякий, кто взял бы у них хотя бы одну монетку, совершил бы страшное преступление. Некоторые свои расходы они покрывают с помощью билетов, собственноручно подписанных королем. В основном же их содержание берет на себя государство; но они не владеют и пядью земли.** Они не могут ни продавать, ни покупать, ни строить. Их питают, содержат, увеселяют, им предоставляют жилище — все сословия единодушно способствуют этому. Они входят в лавку торговца сукном, берут сколько им нужно материи и уходят. А тот записывает у себя в книге: «Дано такого-то дня и числа хранителю доходов государства столько-то...». И государство возмещает ему эту сумму. То же происходит со всеми другими торговцами. Вы сами понимаете, что ежели у такого казначея есть хоть капля совести, он будет умеренно пользоваться своим правом; но вздумай он даже им злоупотребить, и то, по сравнению с суммами, которые сии господа стоили вам, мы отнюдь не были бы в накладе. У нас отменены все протокольные книги, которые только и нужны были, чтобы половчее скрыть суммы, похищенные у нации, и, так сказать, узаконивать эти хищения.

— А кто же ваш первый министр?

— Тут и спрашивать нечего. Король, разумеется. Разве может королевская власть быть передана в чужие руки? *** Так что воинам, судьям, негоциантам надобно лишь действовать через своих представителей. Если же король в случае болезни, отъезда или каких-либо особых

---

* Всем этим откупщикам, управителям, сборщикам налогов, коих жажда обогащения заставила пожертвовать репутацией честного человека и примириться со всеобщей ненавистью, в голову не приходит употребить свои деньги на добрые дела. Пышностью и роскошью они прикрывают свое происхождение и источник своих богатств; они предаются различным увеселениям, дабы забыть о том, чем они были и что делали прежде. Но самое большое зло не в этом — пуще, чем их самих, богатства эти развращают тех, кто им завидует.

** Все это пускание по ветру общественных богатств, все эти неумеренные награды, коими осыпаются иные недостойные подданные, все это чудовищное расточительство, которого не знали самые жестокие захватчики, — вот те внутренние язвы, что исподволь готовят гибель государства. Мы знаем из истории, что наиболее умные тираны были и наиболее расточительными. Я где-то читал, что Август бывший владыкой мира, имел сорок вооруженных легионов, которые стоили ему двенадцать миллионов в год.[4] Над этим стоило бы призадуматься.

*** Историю войн можно было бы озаглавить так: «История личных страстей министров». Иной из них только в отместку за слегка задетое самолюбие может с помощью злокозненных переговоров привести к войне с отдаленным и миролюбивым государством.

обстоятельств вынужден возложить на кого-либо исполнение своих приказов, человек этот непременно должен быть ему другом. Лишь чувство дружбы может заставить взвалить на себя подобное бремя, и лишь наше уважение и доверие придают ему тогда временное могущество. Не требуя себе иной награды, воодушевляемый дружбой короля, он, подобно Сюлли и Амбуазу,[5] не скрывает от своего властелина правды и, верно ему служа, не боится иной раз и разгневать его; он борется с его страстями. Он любит в нем человека в той же мере, как и заботится о славе государя;* разделяя его труды, он разделяет с ним и благодарность отчизны, сие самое священное достояние, которое может он оставить своим преемникам, и единственное, о коем он печется.

— Говоря о налогах, я позабыл спросить, устраиваются ли у вас еще те лотереи,[7] куда в мои времена бедный народ вкладывал все свои деньги?

— Разумеется, нет; мы не злоупотребляем подобным образом доверием и надеждами людей. Мы не взымаем с беднейшей части населения сей столь коварно придуманный налог. Измученный своим настоящим, бедняк уповал лишь на будущее и тащил все, что зарабатывал ценою своего труда и бессонных ночей, в это гибельное колесо, ожидая всякий раз, что Фортуна смилостивится над ним и пошлет ему богатство. Но всякий раз жестокая богиня обманывала его надежды. Страстная жажда добиться благосостояния ослепляла его, и хотя было очевидно, что все это мошенничество, человеку до последнего часа его свойственно надеяться, и каждый воображал, что в конце концов счастье ему улыбнется. Ведь это на сбережения нищего люда возведены были все те роскошные дворцы, к дверям коих приходил он за подаянием. Великолепие храмов тоже было делом его рук, а его между тем едва допускали приблизиться к ним. Всем чужой, всюду гонимый, бедняк не мог даже присесть на камень, который сам же обтесывал: под этими сводами, кои по всей справедливости должны были служить ему убежищем, обретались священнослужители, чье ремесло приносило им изрядный доход.

Глава сороковая

О КОММЕРЦИИ

— Из того, что вы здесь говорили, я понял, что у французов нет больше поселений в Новом Свете и что каждая часть Америки представляет собой отдельное королевство, хотя и подвластное одному и тому же духу законов.

---

* Верность — вовсе не рабская зависимость от воли другого человека. Ее символом считается собака, которая постоянно виляет хвостом, всюду следует за своим хозяином и слепо бежит выполнять всякий его приказ, будь он даже жесток и

— Мы проявили бы изрядную глупость, когда бы вздумали отправлять милых наших соотечественников за две тысячи лье отсюда. Зачем нам подобным образом разлучаться с нашими братьями? Климат наш ничуть не хуже американского. Все необходимые продукты, кои есть там, есть и у нас, и превосходного качества. Для Франции колонии были тем же, что для француза загородный дом, рано или поздно приводивший к разорению дома городского.

Мы общаемся с Новым Светом, но лишь путем обмена теми продуктами, которые являются излишними. Мы предусмотрительно изгнали из употребления табак, кофе и чай — эти три отравы, кои постоянно были у вас в ходу. Вы набивали себе носы отвратительным порошком, отчего окончательно теряли память, которой вы, французы, и без того не отличались. Вы сжигали себе желудки всякими ликерами, которые, усиливая пищеварение, тем самым их разрушали. Столь распространенными в ваши времена нервными болезнями вы обязаны были этому разнеживающему питью, ибо оно вымывало из вас все питательные соки.

У нас существует лишь внутренняя торговля, и мы очень этим довольны: основанная главным образом на земледелии, она является распределительницей самых жизненно необходимых продуктов; она удовлетворяет истинные нужды человека, а не тешит его гордыню.

Никто у нас не считает за стыд стремиться к доходности своих земель и доводить земледелие на них до возможного совершенства. У самого государя есть несколько арпанов земли, которые обрабатываются на его глазах; у нас нет более тех титулованных особ, чьим единственным занятием было полнейшее безделье.

Торговля с заграницей — вот подлинный источник той губительной роскоши, что в свою очередь стала источником ужасающего неравенства имущественных состояний и благодаря которой все золото нации оказалось в руках ее меньшинства. Ради того чтобы одна какая-нибудь женщина могла носить в ушах серьги, стоимость коих равнялась стоимости десяти крестьянских усадеб, крестьянин терял свою собственность: вынужденный продать поле своих отцов, он в слезах бежал прочь из родного края, где уделом его становились нищета и позор; ибо ненасытные чудовища, накапливавшие в руках своих золото, не только обирали его, но к тому же еще и презирали. * Мы начали с того, что уничтожили все эти

несправедлив. Я полагаю, что истинная верность состоит не в раболепстве, а в точном соблюдении законов разума и справедливости. Какую истинную верность своему государю обнаруживает Сюлли, разрывая брачное обязательство Генриха IV![6]

* Я только горько усмехаюсь, когда слышу о всяких заманчивых проектах, касающихся земледелия и народонаселения: налоги, которые ныне более высоки, чем когда-либо, отнимают у народа все, что он зарабатывает в поте лица своего, цены же на зерно неуклонно растут вследствие монополии тех, в чьих руках сосредоточены все деньги королевства. Сколько же раз повторять всем этим бессердечным гордецам: «Предоставьте полную свободу торговле и судоходству! Убавьте налоги! Только это может прокормить народ и остановить то стремительное обезлюдение страны, начало коего мы видим воочию». Но увы! Любовь к родине есть добродетель запрещенная. Тот, кто живет лишь для себя, кто думает лишь о себе, кто молчит

крупные компании, кои поглощали состояния отдельных лиц, ослабляя благородную предприимчивость нации и тем нанося гибельный удар как нравственности, так и государству.

Что и говорить, приятное это занятие — пить шоколад, есть пряную пищу, лакомиться сахаром и ананасами, вкушать ликер с острова Барбадос,[1] облачаться в блестящие индийские ткани. Но неужто же это доставляло вам такое наслаждение, чтобы ради него вы закрывали глаза на невероятные бедствия, порождаемые вами на обоих полушариях? Вы отправлялись разрушать священные узы крови и природы на побережье Гвинеи, вы сына вооружали против отца — и при этом притязали на право называться христианами, называться людьми! О, сколь жестокосердны, сколь слепы вы были! Вы достаточно убедились в этом на гибельном своем опыте. Неуемная жажда золота, охватившая все сердца; алчность, повсюду вытеснившая спокойную воздержанность; добродетель и справедливость, ставшие призраком; мрачное беспокойное корыстолюбие, бороздящее океанские просторы и трупами заполняющее глубины морей; целая порода людей покупаемых и продаваемых, с коими обращались, как с последней скотиной; короли, превратившиеся в торгашей и ради того, чтобы водрузить свой флаг еще на одном фрегате, проливающие кровь в разных концах света; наконец, золото — золото, истреблявшее на пути своем всякий росток счастья, раскаленным потоком устремлявшееся в Европу из приисков Перу; золото, которое, истерзав и истощив человечество, навсегда оседало в Индии,[2] где пристрастие к роскоши вновь погребало его, пряча на одном конце света то, что корыстолюбие с великим трудом извлекало на другом его конце,— вот вам точная картина, вот перечень того, что принесла миру внешняя торговля.

Наши корабли не огибают земной шар ради того, чтобы добыть нам кошениль и индиго.[3] Знаете, где наши золотые прииски? Где наше Перу? Они в труде и промышленности. Все то, что способствует благополучию людей, их удобствам, удовлетворению прямых потребностей природы, встречает у нас и внимание, и поддержку. Зато на все, что связано с роскошью, что подсказывается тщеславием, прихотью, суетным желанием обладать чем-то особым, исключительным, наложен строгий запрет. Мы швыряем обратно в море коварные алмазы, опасные жемчужины, все эти разноцветные камушки, которые делают сердце столь же твердым, как и они. Вы считали себя великими искусниками, создавая всякие затейли-

---

и отводит взгляд, дабы не содрогнуться от ужаса, — вот кто слывет у нас хорошим гражданином; его даже превозносят за умеренность и осторожность. Что до меня, я молчать не в силах и скажу о том, что видел. Поезжайте по Франции, вы собственными глазами увидите, до какого предела дошли в большинстве ее провинций бедствия народные. Сейчас у нас 1770-й год. Вот уже третья зима, как дорожает хлеб. Еще в прошлом году добрая половина крестьян жила за счет общественной благотворительности. Нынешняя зима будет еще страшнее, ибо у тех, кто жил до сих пор продажей своего жалкого скарба, уже нечего продавать. Сей несчастный народ обладает долготерпением, которое заставляет меня дивиться могуществу законов и силе воспитания.

вые вещицы, ублажавшие вашу леность, но знайте — вы тратили свои силы впустую, это было лишь кажущимся величием. Вы и наслаждаться-то толком не умели. Ваши пустые, ничтожные изобретения рассчитаны были на забавы одного дня. Вы были детьми, охочими до блестящих безделок, вы неспособны были удовлетворить подлинные насущные свои потребности, вы не знали, что такое счастье, вы суетились и тревожились из-за всяких пустяков, то и дело принимая подобие действительности за саму действительность. Когда наши суда покидают порт, они уже не несут на борту своем пушек, чтобы средь водных просторов обрушиться на какую-нибудь спасающуюся от них добычу, едва виднеющуюся на горизонте. Морское эхо уже не вторит разъяренным воплям безумцев, ценою жизни оспаривающих друг у друга право плавать по бескрайным пустыням морей. В дальние страны мы отправляемся не затем, чтобы вывозить продукты их земли, а ради того, чтобы позаимствовать полезные новшества в их законодательстве, нравах и жизни. Мы используем наши суда для сопоставления различных астрономических наблюдений. Более трехсот обсерваторий, разбросанных на земном шаре, улавливают малейшее изменение, происходящее в небе. Земля — это караульная вышка, где неустанно бдит часовой — хранитель небесной тверди. Астрономия стала важной и полезной наукой: торжественно вознося хвалу Создателю, она являет нам все значение мыслящего существа, им сотворенного... Да, но коль скоро мы говорим о коммерции, невозможно не вспомнить о самом удивительном, что когда-либо происходило в этой области. Все считают, что вы должны быть весьма богаты, ведь вы, разумеется, вкладывали свои деньги в пожизненную ренту [4] и в тонтины,[5] как это делала добрая половина парижан. Поистине то была хитроумнейшая выдумка, это подобие лотереи, где люди играли на жизнь и на смерть и богатство сваливалось человеку на уже совсем облысевшую голову! У вас должно быть немалое состояние. В те времена ведь отрекались от отца, матери, братьев, сестер, родных, друзей, только бы удвоить свой доход. Объяви своим наследником короля, да и спи себе спокойно, ничего не делай и живи в собственное удовольствие.

— Ах, не вспоминайте о тех губительных указах, что завершили падение наших нравов и способствовали разрыву дотоле священных родственных уз. Не раз лил я слезы над судьбами государства, наблюдая, с какой удивительной изобретательностью и бесстыдством поощряется своекорыстие, разделяющее людей и обрекающее каждого на духовную смерть и одиночество. Видел я, как тают, как рушатся небольшие состояния, а на обломках их непомерно растет богатство немногих. Но еще более страдал я, помышляя о том, как гибельно повлияет все это на нравы общества; рвались узы между сердцами, созданными, чтобы любить друг друга. Корыстолюбие опасно само по себе, а ему еще вкладывали в руки острый меч! Высшая власть помогла ему опрокинуть те преграды, на кои само оно никогда не осмелилось бы посягнуть.

— Добрый старец,— перебил меня мой спутник,— ваше счастье, что вы проспали все это время, иначе вам пришлось бы увидеть, как тяжело

поплатились и рантье,[6] и государство за свою недальновидность. С тех пор все это изменилось — просвященной политике не свойственны подобные просчеты; она не разоряет граждан, а обогащает и объединяет их.

Глава сорок первая

РАННИЙ УЖИН

Солнце садилось. Мой спутник предложил мне зайти вместе с ним в дом одного своего приятеля, куда он зван был на ужин. Я не заставил себя долго просить, потому что не представлял еще себе, как выглядят здесь дома внутри, а это, на мой взгляд, самое любопытное, что можно увидеть во всяком городе. Когда мне приходится читать историческое сочинение, иной раз я пропускаю в нем целые страницы подряд, но всегда с интересом ищу подробностей о домашней жизни людей — и когда нахожу их, ничего другого мне не надобно; остальное я угадываю.

Начну с того, что я уже не обнаружил здесь тех небольших комнаток, напоминающих каморки в доме умалишенных, стены которых едва имеют шесть дюймов толщины и где зимой бывает страшно холодно, а летом невыносимо жарко. В этих больших, просторных и высоких залах можно было свободно ходить взад и вперед. Крыши домов были прочны и служили надежной защитой как от стужи, так и от солнца. И сами дома уже не дряхлели одновременно со своими владельцами.

Войдя в гостиную, я тотчас же увидал хозяина дома. Он подошел ко мне безо всяких ужимок и приторных комплиментов.* Супруга и дети его держались при нем свободно, но почтительно. Сын хозяина не начал разговор с насмешек над своим отцом, желая представить мне образец собственного остроумия; его мать и даже бабушка отнюдь не пришли бы в восторг от подобных шуток.** Сестры его не были манерны, но не были и угрюмы. Они грациозно поклонились мне и вернулись к своим занятиям, прислушиваясь к разговору. При этом они не наблюдали исподтишка за каждым моим жестом, мой преклонный возраст и дребезжащий голос не вызвали у них даже улыбки. Они не стали расточать передо мной тех пустых любезностей, что не имеют ничего общего с подлинной учтивостью.

---

* Как фальшива, как жалка наша учтивость! Как гнусна, как оскорбительна вежливость вельможи! Это всегда маска, притом более отталкивающая, нежели самое уродливое лицо. Все эти жеманные поклоны, преувеличенные любезности, театральные жесты непереносимы для человека искреннего. Блистательная искусственность наших манер более отвратительна, чем невежливость самого неотесанного грубияна.

** Развращенный ум опаснее любострастия, ныне это главный порок, губящий молодых парижан.

Гостиная не сверкала множеством безвкусных или слишком хрупких безделушек: не было здесь ни лака, ни фарфора,* ни скучной позолоты. Зато веселые, приятные на вид шпалеры, удивительная чистота, несколько превосходных гравюр по стенам придавали обстановке комнаты какой-то радостный вид и тон.

Завязалась беседа, однако никто здесь не состязался друг с другом в острословии.** Эта проклятая страсть, бывшая бедствием моего века, не выставляла в обманчивом свете то, что было по сути своей совершенно просто. Один не говорил как раз обратное тому, что говорил другой, лишь бы блеснуть умом и потешить пустое свое самолюбие. Всякий, кто брался здесь говорить, основывался на каких-то принципах и не противоречил сам себе по двадцати раз в течение четверти часа. Мысли присутствующих не порхали, подобно птичке на ветке, и разговор, отнюдь не будучи тягучим и многословным, не перескакивал без всякого перехода с разрешения от бремени принцессы *** к истории об утопленнике.

Молодые люди не кривлялись, не притворялись ребячливыми, разговаривая то протяжно, то скороговоркой, не глядели холодно и надменно. Они не бросались в кресла, откидываясь назад, не задирали гордо голову, не окидывали всех дерзким или ироническим взглядом.*** Я не услышал ни одного непристойного выражения. Никто не витийствовал скучно и долго, никто не возражал против тех утешительных истин,

---

* До чего же подлая вещь — этот фарфор! Какая-нибудь кошка ударом лапки может причинить больше вреда, нежели потрава на двадцати арпанах земли.

** Беседа оживляет столкновение идей, выставляет их в новом свете, развивает драгоценный дар взаимного понимания и является одним из самых больших наслаждений в жизни; этому занятию я охотнее всего предаюсь. Но я заметил, что в свете беседа вместо того, чтобы закалять душу, питать и возвышать ее, напротив, истощает и расслабляет. Решительно все подвергается сомнению. Острословие, коим у нас злоупотребляют, способно опровергнуть все, вплоть до самых очевидных вещей. Мы слышим здесь восторженные похвалы тому, что привыкли порицать. Всему находится оправдание. И незаметно для себя мы впитываем великое множество странных и чуждых нам идей. Мы коверкаем свою душу, то и дело сталкивая ее с различными мнениями. Они источают какой-то яд, сей яд ударяет вам в голову и помрачает изначальные идеи, обычно наиболее здоровые. Скупец, спесивец, развратник обладают такой искусной логикой, что вы иной раз уже меньше ненавидите их, после того как выслушаете их доводы: каждый ведь приводит вам доказательства, что он ни в чем не виноват. Надобно поскорее вернуться в свое одиночество, чтобы вновь воспылать прежней ненавистью к пороку. Свет приучает вас к тем недостаткам, кои объявляет достоинствами: мы и сами не замечаем, как просачивается в нас их обманчивый разум; слишком много общаясь с людьми, становишься меньше человеком, благодаря им начинаешь видеть все в ложном свете, и это ведет к заблуждениям. Лишь закрыв за собой дверь, находишь вновь и начинаешь видеть чистый свет истины, который меркнет средь многочисленной толпы.

*** Во Франции молодой человек, чтобы считаться привлекательным, должен быть тощим и хилым, кожа да кости, впридачу он должен иметь впалую грудь и быть слабого здоровья. Человек сильный и дородный вызывает отвращение. Одним только швейцарцам да кучерам полагается иметь крепкое телосложение и отменное здоровье.

кои составляют убежище и радость чувствительных душ.* Женщины не разговаривали голосом то томным, то повелительным. Они вели себя благопристойно, сдержанно, скромно, занимаясь спокойным легким рукоделием; праздность у них не поощрялась; они не спали до полудня, чтобы вечером снова ничего не делать. Я был очень обрадован, что ни одна из них не предложила мне сыграть в карты: сие нелепое развлечение,[2] изобретенное ради увеселения одного безумного государя[3] и весьма ценимое множеством глупцов, коим оно помогает скрывать свою никчемность, совершенно исчезло у этих людей, которые слишком хорошо умеют извлечь радости из каждого мгновения, чтобы убивать свое время столь унылым, столь скучным образом. Я не увидел столов с зеленым сукном, являющих собой арену, на которой люди безжалостно хватают друг друга за глотку. Корыстолюбие не лишало покоя этих добрых людей даже в минуты их досуга. Они не превращали в муку то, что призвано служить лишь отдохновением.** Они играли, но в шашки, в шахматы, сии древние и глубокомысленные игры, представляющие разуму такое множество разнообразных комбинаций. Играли и в другие игры, которые можно было бы назвать математическими забавами и которые знакомы здесь даже детям.

Я заметил, что каждый занимался, чем хотел, и никто не обращал на это особенного внимания. Не видно было здесь тех шпионов женского пола, что перемывают всем косточки, давая выход обуревающей их злобе, причиной коей обычно является как уродливость их, так и глупость. Одни гости беседовали, другие перебирали гравюры, разглядывали картины, третий читал в уголочке... Они не сидели все вместе кружком, умирая от скуки и заражая друг друга своей зевотой. Из соседней комнаты доносилась музыка. То было пение, которому вторила флейта; пронзительно резкий клавесин и однообразная скрипка уступили свое место чарующим звукам женского голоса. Какой инструмент обладает большей властью над нашими сердцами! Однако с этим голосом словно состязалась усовершенствованная гармоника,[4] из коей извлекались самые чистые, самые мелодические звуки, которые когда-либо ласкали наш слух. То была музыка пленительная, божественная, ничем не напоминавшая скверную музыку наших опер, где человек с хорошим вкусом или же человек чувствительный тщетно будет искать гармонии и единства.

Все это чрезвычайно мне нравилось. Здесь не приходилось все время сидеть словно пригвожденным к креслу в одной и той же позе, поддер-

---

* Пирронизм[1] иной раз предполагает больше предвзятости, нежели естественного стремления удовлетворяться видимостью истины.

** Я боюсь приближения зимы не из-за стужи, а потому что вместе с зимой возвращается и овладевает всеми унылое неистовство карточной игры. Это время года наиболее гибельно для нравов и непереносимо для философа. Тогда-то и начинаются все эти шумные, нелепые сборища, где обретают постыдное могущество всяческие мелкие страсти. Легкомыслие диктует моде. Все мужчины, преображенные в слабодушных рабов, подпадают под власть капризов женщин, к коим они не испытывают ни страсти, ни уважения.

живая нескончаемый разговор о пустяках, по поводу которых то и дело возникают споры.* Женщины, создания менее всего склонные к умозрительности, не предавались по любому поводу глубокомысленным рассуждениям, а если и случалось им говорить о стихах, о трагедиях, об авторах, то даже самые смышленые из них признавались при этом, что искусство — не женского ума дело.**

Меня попросили перейти в соседнюю комнату, чтобы поужинать. С удивлением взглянул я на часы — было всего семь часов вечера.

Пожалуйте, — сказал хозяин, беря меня под руку, — мы здесь не просиживаем полночи в духоте от горящих свечей. Мы любим солнце, и каждый у нас старается доставить себе радость увидеть его в те минуты, когда первые его лучи еще только окрашивают горизонт. Мы не ложимся в постель с полным желудком, а потому ночью спим спокойно и не видим причудливых снов. Мы бережем свое здоровье, ибо от него зависит и веселие души.*** Чтобы рано встать, надобно рано и лечь; к тому же мы любим видеть легкие и приятные сны.****

Наступила минута молчания. Отец семейства благословил блюда, стоявшие на столе. Здесь воскресили этот возвышенный, этот священный обычай, ибо он всякий раз напоминает о благодарности, которой мы обязаны богу, чьей волей произрастают земные плоды. Я не столько вкушал пищу, сколько наблюдал. Не стану говорить о царившей здесь поразительной чистоте. Слуги находились тут же, в конце стола, они ужинали вместе с хозяевами — и от этого только больше их любили; в их обществе слуги получали уроки честности, которые облагораживали их сердца; они просвещались, слушая разговоры за трапезой; не были они ни грубыми, ни дерзкими, ибо никто больше их не унижал. Свобода, веселость, пристойная простота, царившие за столом, услаждали душу каждого из сидевших здесь. Каждый брал себе пищу сам — порция его стояла на столе против него. Сосед не стеснял здесь соседа. Никто не тянулся к блюдам, стоящим далеко от него. Того, кто съел бы больше своей порции, сочли бы здесь за обжору, ибо она была предоста-

---

* Два рода опасностей, в равной мере неприятных, подстерегают нас в обычных беседах — быть вынужденным говорить, когда тебе решительно нечего сказать, или иметь еще что сказать, когда разговор уже окончен.

** Женщина обычно поет с голоса любовника, к коему она благосклонна, а у скольких мужчин — женский ум!

*** Здоровье для счастья — то же, что роса для земных плодов.

**** Блажен, кто умеет наслаждаться здоровьем, этой спокойной гармонией тела, этим равновесием, этим превосходным сочетанием соков, этим удачным расположением органов, кои сохраняют свою силу и гибкость. Совершенное здоровье является высочайшим наслаждением. В наслаждении сем нет сладострастия, это так. Но поскольку само по себе оно превосходит все иные наслаждения, душа человека приобретает благодаря ему то довольство, тот глубокий и приятный покой, которые заставляют нас ощущать радость жизни, восхищаться зрелищем природы и благодарить Создателя! Не быть больным — какое в одном этом заключено сладостное удовольствие. Я готов назвать философом того, кто, понимая вред излишеств и преимущества умеренности, сумел бы обуздать свои желания и, нимало не страдая от этого, наслаждаться жизнью. О, какое это великое умение!

точной. Многие люди ведь едят излишне много — и скорей из привычки, нежели из действительной потребности.* Избавиться от этого недостатка удалось, не прибегая к какому-либо особому закону.

Все кушания, которые я попробовал, были почти безо всякой приправы, но я на это и не сетовал: сочность и острота, приданные им самой природой, делали их на мой взгляд превкусными. Я не увидел здесь тех утонченных блюд, что, прежде чем попасть на стол, проходят через руки многих искусников, — не было здесь всяких пряностей, подлив, процеженных отваров, острых соусов, всего того, что, входя в состав тонких дорогих блюд, ускоряло истребление домашних животных да обжигало людям желудки. Народ этот не был особым охотником до мяса, он не разорялся ради хорошего стола и не пожирал больше того, что природа способна вновь воспроизвести. Им отвратительна была всякая роскошь; роскошь же в еде они считали возмутительным преступлением, ибо если человек имущий, злоупотребляя своим богатством,** расхищает питательные запасы земли, бедняку волей-неволей приходится покупать их втридорога, отказывая себе в лишней трапезе.

Здесь подавались именно те овощи и фрукты, что произрастают в это время года, секрет выращивания среди зимы кислых вишен был совершенно забыт. Никто не гнался за первыми плодами, всецело полагаясь в этом на природу: эти были приятнее на вкус, да и желудок от них не страдал. За десертом мы ели превосходные фрукты и выпили какого-то старого вина, но никаких подкрашенных ликеров, настоянных на спирте, которые так модны были в мое время, здесь и в помине не было. Они были запрещены столь же строго, как и мышьяк. Люди уразумели, что не может быть никакого наслаждения в том, чтобы готовить себе медленную и мучительную гибель.

---

* Из анатомии известно, что все органы наших удовольствий усеяны маленькими пирамидальными бугорками; чем меньше притупляются они частым возобновлением ощущений, тем они чувствительнее, эластичнее и быстрее восстановимы. Природа, нежная и внимательная мать, создала их таким образом, что они продолжают сохранять упругость и тогда, когда человек достигает преклонного возраста, если только не нарушена мягкость и бархатистость их поверхности. Так что от нас самих зависит в любом возрасте испытывать радости жизни. А что делает человек невоздержанный? Он уродует драгоценное устройство сего органа, делает его дряблым, придает ему жесткость и нечувствительность. Из существа почти божественного, способного испытывать наслаждения, доступные лишь ему одному, человек превращается в какой-то печальный автомат. А между тем кто на земле в большей мере наделен способностью к наслаждению? Кому еще дано созерцать небесный свод, восхищаться величественным зрелищем природы, различать цвета и пленительные формы тел, ощущать запахи цветов, вдыхать ароматы, внимать оттенкам голоса и звукам музыки, наслаждаться поэзией, красноречием, живописью, постигать законы алгебры, проникать в глубины геометрии и т. п.? Тот, кто сказал, что человек есть подобие вселенной, выразил великую и прекрасную мысль. Человек неразрывно связан со всем сущим.

** Человек бесчестный несомненно является именно тем, кого в высшем свете величают порядочным человеком.

Хозяин дома сказал мне с улыбкой:

— Признайтесь, наш десерт кажется вам весьма жалким. Мы не подаем на стол ни деревьев, ни замков, ни ветряных мельниц, ни фигурок, вылепленных из сахара.* В давно минувшие времена таким безрассудным излишествам, не приносившим даже никаких особых наслаждений, предавались впавшие в детство взрослые люди. Ваши парламентские деятели, коим следовало хотя бы подавать пример умеренности, а не узаконивать своим участием это наглое и жалкое расточительство, сии отцы народа, говорят, при очередном возобновлении своих заседаний замирали от восторга, любуясь выставленными на столе сахарными человечками. Вообразите себе, как лезли вон из кожи другие сословия, стараясь их перещеголять.

— Это еще что! — ответил я. — Посмотрели бы вы, какие были у нас искусники. В мое время на столе в десять футов шириной ухитрились представить оперу: все честь по чести — машины, костюмы, актеры, танцовщики, оркестр, и все это было из сахара, и декорации менялись, как в театре Пале-Рояля. А в это время народ теснился у дверей, дабы сподобиться редкостного счастья хотя бы одним глазком взглянуть на великолепное сие угощение, при том, что все бремя потребных для этого расходов, разумеется, ложилось на его плечи. Народ восхищался роскошью, в которой утопали властители, он считал себя ничтожным перед ними...

Тут все рассмеялись. Возблагодарив бога за трапезу, мы стали весело выходить из-за стола. И ни у кого после этого ужина не было ни ипохондрии, ни расстройства желудка.

Глава сорок вторая

ГАЗЕТЫ

Вернувшись в гостиную, я увидел лежавшие там на столе широкие полосы бумаги, которые были в два раза длиннее, чем английские газеты.[1] С жадностью бросился я к ним. Сверху каждой печатной страницы значилось: «Новости общественной и частной жизни». Хоть я и решил ничему более здесь не удивляться, но, по мере того как я перелистывал страницы этих газет, изумление мое все возрастало.

---

* О Франция! О моя родина! Хочешь знать, в чем ныне твоя подлинная слава, в чем превосходишь ты все остальные нации? Изволь: в промыслах модных товаров. Модам твоим следуют и на далеком Севере, и при немецких дворах, и даже в сераллях,[5] — словом, во всех четырех концах света. Твои повара, твои пирожники — первые во всем мире, а твои танцовщики задают тон всей Европе.

Наиболее поразившие меня статьи я приведу здесь хотя бы в том виде, в каком они мне запомнились.

* * *

Из Пекина, от такого-то числа

Здесь в присутствии императора впервые сыграна была французская трагедия «Цинна».[2] Милосердие Августа, а также красота и благородство характеров произвели большое впечатление на собравшихся.

— Вы подумайте! — сказал я человеку, сидевшему рядом. — Ну и бесстыжий же враль этот газетчик: прочтите-ка...

— Но это истинная правда, — отвечал он мне весьма хладнокровно, — я собственными глазами видел в Пекине представление «Китайского сироты». Позвольте сказать вам, что сам я мандарин и большой любитель изящной словесности, равно как и справедливости. Я переехал через Королевский канал.* На путь сюда я потратил около четырех месяцев, но я еще и развлекался дорогой. Я стремился увидеть знаменитый Париж, о коем столько говорят, ибо хотел узнать о множестве таких вещей, которые необходимо самому увидеть, чтобы как следует их оценить. Вот уже двести лет как французский язык в ходу в Пекине, я увезу отсюда несколько хороших книг, чтобы перевести их на китайский.

— Как, господин мандарин! так вы не пользуетесь больше своими иероглифами? И у вас отменен странный закон, запрещавший всякому китайцу выезжать за пределы империи?

— Нам волей-неволей пришлось изменить наш язык и принять более простые буквы с того момента, как мы пожелали свести более тесное с вами знакомство. Это оказалось не труднее, чем изучить алгебру и прочие математические науки. Наш император отменил древний закон, о котором вы говорите, весьма мудро рассудив, что не все же вы похожи на тех священников, коих мы прозвали «полудьяволами» за то, что они даже среди нас стремились разжигать пламя своих распрей.[4] Насколько мне известно, более тесные и близкие связи установились у нас благодаря нескольким медным пластинам. Искусство гравирования было для нас тогда новым и вызвало особенный наш восторг. С тех пор мы в нем почти сравнялись с вами.

---

* Королевский канал[3] пересекает Китай и тянется с юга на север на протяжении шестисот лье. Он соединен с озерами, реками и т. д. Это государство насчитывает множество таких весьма полезных каналов, из коих некоторые имеют до десяти лье по прямой линии; они служат для снабжения большинства городов и селений. Мосты построены с такой смелостью и таким великолепием, что намного превосходят все то, что предлагает в этом роде Европа. А мы, проявляющие такую ограниченность, слабость и скаредность когда речь идет об общественных сооружениях, тратим наше умение, наши орудия и редкие познания на то, чтобы увековечить наше тщеславие, и возводим великолепные пустяки. Почти все наши строительные шедевры — не более как детские забавы.

— Ах да, помню. На тех пластинах были выгравированы рисунки, изображавшие различные битвы; рисунки эти были посланы нам тем самым императором-поэтом, которому Вольтер направил прелестное послание, а наш король, поручив выполнение гравюр своим лучшим мастерам, преподнес их затем в подарок «Очаровательному китайскому королю».[5]

— Совершенно верно. Ну так вот, с этого-то времени между нами и установились постоянные сношения, и мало-помалу науки, подобно векселям, стали иметь повсеместное хождение. Воззрения одного человека делались воззрениями всего человечества. Книгопечатание, сие несравненное изобретение, всюду разнесло просвещение. Тщетно старались вездесущие тираны человеческого разума остановить неодолимое его шествие. С необычайной стремительностью совершились благодетельные перемены, вызванные в нравственном мире солнцем искусств, все залило оно своим чистым, ярким, немеркнущим светом. В Китае более не господствует палка,[6] и мандарины перестали являть собой некое подобие школьных педелей. Простой народ уже не труслив и не хитер, ибо все сделано для того, чтобы возвысить его душу: его не унижают более постыдными наказаниями, ему внушили понятие чести. Мы по-прежнему чтим Конфуция,[7] который жил почти одновременно с вашим Сократом и так же, как и он, не распространялся много о сущности вещей; он лишь объявил, что для него нет ничего тайного и что порок будет наказан, а добродетель вознаграждена. Наш Конфуций имел даже одно преимущество перед греческим мудрецом: он не разделывался столь решительно с религиозными предрассудками, которые за неимением более благородной опоры служат народам основой нравственности. Он терпеливо ждал, чтобы истина сама, без шума и усилий, проложила себе дорогу. Наконец, это именно он доказал, что государю, дабы хорошо управлять своими владениями, надобно быть философом. Наш император по-прежнему ходит за плугом, но это уже отнюдь не пустая церемония и не проявление детского упрямства...

Раздираемый одновременно желанием и читать, и слушать, я с жадностью внимал своему собеседнику, между тем как глаза мои не менее жадно пробегали одну за другой страницы поразительной газеты. Душа моя словно раздвоилась между двумя этими противоположными занятиями... Вот что я читал:

* * *

Из Эдо,[8] столицы Японии, от такого-то числа

Потомок Тайко, превратившего Дайри[9] в предмет всеобщего раболепного поклонения, повелел перевести на японский язык «Дух законов» и трактат «О преступлениях и наказаниях».

Священное изображение Амиды[10] провезли по всем улицам города, однако не нашлось ни одного охотника быть раздавленным его колесницей.

Въезд в Японию свободен,[11] и каждый в этой стране с огромным интересом относится к чужеземным искусствам. Самоубийство[12] уже не считается у сего народа добродетелью. Он уразумел, что оно есть следствие отчаяния или же уродливой и преступной бесчувственности.

* * *

Из Персии, от такого-то числа

Персидский монарх нынче обедал со своими братьями, у которых на редкость красивые глаза,[13] братья помогают ему в государственных делах. Главная их обязанность — читать ему депеши. По-прежнему здесь читают и высоко чтят священные книги Зороастра и Саддар,[14] но никто уже не вспоминает ни об Омаре, ни об Али.[15]

* * *

Из города Мехико, от такого-то числа

Город этот обретает свое былое величие под высоким покровительством государей, происходящих от знаменитого Монтезумы.[16] Наш император, всходя на престол, велел перестроить дворец, вернув ему тот вид, в каком он был во времена его предков. Индейцы не ходят уже босиком и без белья. Посреди главной площади воздвигнут памятник, изображающий Гватимозина,[17] распростертого на раскаленных углях. На пьедестале высечены следующие слова: «А я разве возлежу на ложе из роз?».

— Объясните-ка, что это значит? — спросил я мандарина. — Разве это государство запрещено называть Новой Испанией?[18]

Вот что ответил мне мандарин:

— Когда мститель Нового Света изгнал тиранов (если бы вы соединили в одном лице Магомета и Цезаря, то и в таком случае не получили бы полного представления об этом поразительном человеке), сей грозный мститель ограничился тем, что стал законодателем. Он оставил меч свой, стремясь даровать народам священный свод законов. Вы вообразить себе не можете, какой это был гений. Красноречивые его воззвания, казалось, исходили из уст некоего бога. Он разделил Америку на две империи. Император Северной Америки объединил под своим владычеством Мексику, Канаду, Антильские острова, Ямайку, Сан-Доминго. Император Южной Америки — Перу, Парагвай, Чили, Магелланову землю,[19] страну, лежащую по берегам Амазонки.[20] Но у каждого из этих государств есть свой монарх, подчиняющийся общему законодательству, подобно тому как в ваше время цветущая Германская империя[21] разделена была на множество самостоятельных государств, которые при этом составляли единое целое под эгидой одного властелина.

Таким образом, потомки Монтезумы, долгое время пребывавшие в безвестности и скрывавшиеся, вновь вернулись на престол. Все эти короли — подлинные патриоты, и у них одна цель — поддерживать всеобщую свободу.

Сей великий человек, сей прославленный законодатель, сей негр, в коем природа достигла предела своих возможностей, вдохнул в каждого из них великую и добродетельную свою душу. Обширные эти государства пребывают в довольстве, они живут в мире и согласии, что было предопределено: к этому, хоть и поздно, привел их разум. Безумие старого мира, эти нелепые, жестокие войны, заставившие в конце концов устыдиться потоков крови, пролитой напрасно, и понять всю неразумность честолюбцев, бывших сему виновниками, послужили достаточным уроком новому континенту и побудили его сделать мир священным божеством своих стран. Ныне война явилась бы для государства таким же позором, каким является воровство для частного лица.

Я слушал его и продолжал читать:

* * *

Из города Асунсион, от такого-то числа

Здесь дан был торжественный праздник в память уничтожения постыдного рабства, в коем томился народ под игом иезуитов;[22] вот уже шесть столетий, как все благодарят Провидение, вспоминая об истреблении этих оборотней в последнем их убежище. Но в то же время народ этот, умеющий быть справедливым, признает, что тем же иезуитам он обязан избавлением от нищеты и приобщением к земледелию и различным ремеслам. О, если б они только наставляли нас, внушали нам священные законы нравственности и этим ограничивались!

* * *

Из Филадельфии, столицы Пенсильвании, от такого-то числа

Этот уголок земли, где вот уже восемьсот лет как нашли себе приют человечность, вера, свобода, согласие, равенство, покрыт самыми цветущими, прекраснейшими городами. Добродетель сумела сделать здесь больше, нежели в других странах сделала доблесть; великодушные квакеры * — эти добродетельнейшие из людей, — явив миру зрелище народа,

---

* Неужто правители Севера решились бы пренебречь немеркнущей славой, не уничтожив в своих владениях рабство и не вернув земледельцу хотя бы личную свободу? Разве не слышат они раздающихся повсюду призывов к сему высокому благодеянию? По какому праву стали бы они наперекор собственным интересам удерживать в унизительном порабощении наиболее трудолюбивую часть своих подданных, когда перед глазами у них — пример квакеров, предоставивших свободу

где каждый каждому брат, стали образцом для тех, чье сердце они растопили. Известно, что с самого начала квакеры дали миру тысячи примеров великодушия и благотворительности. Известно, что они были первыми, кто отказался проливать человеческую кровь, кто увидел в войне нечто бессмысленное, жестокое и безумное. Это они образумили народы, что были несчастными жертвами распрей, которые вели их государи. Как и прежде, здесь выходит ежегодник, где перечислены добрые дела, накладывающие на их законодательство печать совершенства.

* * *

Из Морокко,[23] *от такого-то числа*

Здесь обнаружена комета, движущаяся по направлению к солнцу. Это триста пятьдесят первая комета, которую наблюдают здесь с того времени, как была основана местная обсерватория. Наблюдения, произведенные в глубине Африки, полностью совпадают с нашими.

Подвергнут смертной казни местный житель за то, что он ударил француза, нарушив указ властителя, согласно которому во всяком чужеземце следует видеть брата, приехавшего в гости к лучшим своим друзьям.

* * *

Из Сиама,[24] *от такого-то числа*

Наше судоходство делает поразительнейшие успехи. Спущены на воду шесть трехпалубных кораблей, они предназначены для дальних путешествий.

Наш король допускает к себе всех тех, кто пожелает лицезреть его: нет монарха, который превосходил бы его в любезности, особенно когда он направляется в пагоду великого Соммонакодома.

Белый слон в настоящее время находится в зверинце и является лишь предметом любопытства, ибо его превосходно выдрессировали.

* * *

С Малабарского побережья, от такого-то числа

Вдова такого-то, молодая, прекрасная собой и в самом расцвете своей красоты, искренно оплакала своего скончавшегося супруга, которого со-

всем своим рабам-неграм? Как не понимают они, что, став свободными, подданные их будут лишь более преданны и что сделаться людьми они могут, лишь перестав быть рабами.

жгли одного,[25] без нее; а после того как окончился траур, который проявлялся более в душе ее, нежели высказывался в ее одеждах, она вновь вышла замуж за молодого человека, которого любила столь же нежно, как и покойного мужа. Это новое замужество внушило ее согражданам еще большую приязнь и уважение к ней.

* * *

С Магеллановой земли, от такого-то числа

Здесь только что объединились двадцать благословенных островов, кои до сих пор ничего не знали друг о друге и на коих люди жили во всей чистоте и блаженстве первобытного строя. Ныне они образуют поистине братский и взаимно выгодный союз.

* * *

С Земли папуасов, от такого-то числа*

Чем дальше продвигаешься в глубь этой пятой части света, тем более и более интересные вещи открываешь: на каждом шагу удивляешься ее богатству и обилию, ее многочисленным племенам, живущим в полном мире друг с другом. Они вполне обходятся без наших ремесел. Нравственность их еще более поразительна, нежели внешний облик. Под этим солнцем, освещающим обширные земли, площадь которых превышает и Азию и Африку, не обнаружишь ни одного несчастливого человека, между тем как наша Европа, такая маленькая, такая жалкая и по-прежнему раздираемая всяческими распрями, чуть ли не умостила всю землю свою человеческими костями.

* * *

С острова Таити в Южном море, от такого-то числа

Когда г-н де Бугенвиль открыл этот благодатный остров,[26] где царили нравы золотого века, он, нимало не медля, именем своего короля завладел им. Затем он отплыл домой, увозя с собой некоего таитянина, который в 1770 году в течение недели был предметом любопытства всего Парижа. Никто еще не знал тогда, что один из французов, восхищенный красотой острова, душевной чистотой его обитателей, а более всего встревоженный мыслью об ожидающих их несчастьях, спрятался, в то время как его товарищи садились на корабль, а после того как те отплыли, явился перед

* Земля папуасов находится в 4000 лье от Парижа.

таитянами. Собрав всех на широкой равнине, он обратился к ним со следующей речью:

«Я хочу остаться здесь, у вас — и ради собственного счастья, и ради вашего. Примите меня, как брата. Вы скоро убедитесь, что я действительно вам брат, ибо хочу спасти вас от великой беды. О счастливейшие люди, вы, живущие простой и естественной жизнью! Знаете ли вы, какие несчастья вас ждут впереди? Эти учтивые чужеземцы, которых вы так ласково приняли, одарили подарками и знаками уважения, эти мои соотечественники, которых в эту минуту я предаю (если предотвратить гибель добродетельнейшего народа можно считать предательством), вскоре вернутся и привезут вам все те бедствия, от коих уже страдают другие страны. Они заставят вас познакомиться с такими ядовитыми зельями и такими недугами, о которых вы не имеете понятия. Они принесут вам оковы и в своей жестокости попытаются еще доказать вам, что это для вашего же блага. Взгляните на поставленную ими здесь пирамиду, она есть знак того, что земля эта отныне находится от них в зависимости, что она — во владении некоего государя, даже имени которого вы не знаете. Вам будет предписано жить по новым законам. Чужеземцы станут копать вашу землю, они опустошат ваши фруктовые сады, они подчинят себе ваших людей. Они уничтожат то драгоценное равенство, что ныне царит среди вас. Быть может, кровь оросит цветы, что склоняют ныне свои головки под лучами солнца. Вы на вашем острове знаете одно божество — любовь — и лишь ее одну исповедуете, если можно так сказать. Отныне здесь воцарятся ненависть и месть. Доселе вы не знали даже, для чего служит оружие; вас заставят узнать, что такое война, убийство, рабство...».

Народ слушал его в глубоком молчании. Все были бледны и растеряны. Так бледнеют от ужаса дети, застигнутые средь веселых игр, слушая суровый голос, вещающий им о конце света, когда в их головы впервые проникает мысль о бедствиях, о коих они не подозревали.

«О люди, живущие на сем острове,— продолжал оратор,— я полюбил вас, вы умиляете мое сердце, я открою вам способ сохранить ваше счастье и вашу свободу. Каждый чужеземец, который высадится на этот благословенный берег, должен быть убит во имя счастья вашей страны. Приговор сей жесток, но любовь к вашим детям, но забота о грядущем потомстве вашем должна заставить вас возлюбить жестокость. Ибо вы содрогнулись бы еще больше, когда бы я рассказал вам о тех ужасах, что принесли европейцы другим народам, бывшим столь же беззащитными и простодушными, как вы. Оградите же себя от заразы, которую несет в себе само дыхание их уст. Все, даже улыбка их, скрывает в себе те несчастья, кои они задумали обрушить на вас».

Предводители народа, собравшись, единогласно решили передать власть в стране этому французу, который стал отныне благодетелем всего народа, ибо предостерег его от грозивших ему великих бедствий. Был вынесен закон, обрекавший на смерть всякого чужеземца, ступившего на остров. Закон этот соблюдался со всей строгостью во имя добродетели

и любви к родине, как некогда выполнялся он в Тавриде,[27] у народа, который, судя по всему, тоже был простодушен, но который ревностно стремился прервать всякие сношения с теми нациями, которые, будучи изобретательны и искусны в ремеслах, отличались при этом жестокостью и тиранством.[28]

Ныне мы узнали, что закон этот только что отменен, ибо жители острова на многочисленных примерах убедились, что Европа уже не является врагом четырех остальных частей света, что она более не покушается на мир и свободу народов, находящихся вдалеке от нее, что она ищет друзей, а не рабов, что ее суда бороздят моря в поисках простых и истинных нравов, а не презренных богатств, и т. д.

* * *

Из Петербурга, от такого-то числа

Нет титула прекраснее, чем титул законодателя. Глава государства становится для своего народа почти божеством, когда дает ему мудрые и незыблемые законы. Мы все еще с восхищением повторяем имя великой Екатерины II; никто не говорит о победах ее и триумфах, говорят о дарованных ею законах. Она считала делом своей чести развеять мрак невежества и заменить варварские обычаи своей страны законами, подсказанными человеколюбием. Более удачливая и более великая, нежели Петр Великий, ибо в ней было больше человечности, она, вопреки множеству противоположных примеров, усердно старалась сделать народ свой процветающим и счастливым. И он стал им, вопреки всем тем общественным и дворцовым бурям, кои пронеслись над ее троном и пошатнули его. Ее мужество позволило ей утвердить на своем челе корону, и весь мир признал, что она ей к лицу. Лишь в самой глубокой древности можно отыскать пример законодателя, исполненного такого достоинства и такого ума. Разбиты были цепи, сковывавшие земледельца, он поднял голову и с радостью увидел, что отныне он человек! Ремесленник, производящий предметы роскоши, перестал считать свое занятие самым прибыльным и почтенным. Гений человечества возвестил всему Северу: «Люди! Будьте свободны, а вы, грядущие поколения, помните: своей свободой вы обязаны женщине». Согласно последней переписи, общее число жителей, населяющих Россию, составляет сорок пять миллионов человек. В 1769 году их насчитывалось четырнадцать миллионов. Однако мудрость законодательницы, ее человеколюбивые установления, непоколебимость трона ее преемников — ибо они были великодушны и любимы народом,— все это способствовало тому, что численность населения соответствует протяженности этой империи, по величине своей превосходящей как Римскую империю, так и империю Александра Великого. А между тем государство более не опирается на военную силу. Государь уже не называет

себя самодержцем, и вообще мир ныне слишком просвещен, чтобы допускать столь отвратительную форму правления.*

* * *

Из Варшавы, от такого-то числа

Покой Польши не нарушается более нелепейшими беспорядками,[29] столь оскорбляющими права человека, рожденного свободным, столь тягостными для народа. Августейшая Екатерина II в свое время чудеснейшим образом воздействовала на дела этого королевства; еще и поныне здесь вспоминают с великой благодарностью, что это ей обязан крестьянин возвращением личной свободы и права собственности.[30]

Король Польши скончался в шесть часов вечера, и в тот же день на трон взошел его сын,[31] в связи с чем все благородные воеводы принесли ему свои поздравления.

*

Из Константинополя, от такого-то числа

Счастливейшим событием для всего мира явилось изгнание в XVIII веке турок из Европы.[32] Все друзья человечества выразили свою радость по случаю разгрома зловещего этого государства с его звероподобным деспотом, ласкаемым раболепными пашами, которые, простираясь перед ним, еще превосходили его в злодеяниях. Потомок исконных властителей страны, долгое время пребывавший в изгнании, вступив на родительский престол, вернулся не униженным, но торжествующим, сильным, с твердым намерением содействовать просвещению. Узурпаторы Константинова трона[33] исчезли в тине дремучих болот, откуда они вышли; рухнули те преграды, кои от берегов Савы и Дуная до древнего Танаиса[34] суеверие и неразлучная подруга его — грозная тирания — поставили разуму и искусствам; это было сделано по мановению покровительствовавшей им властной руки одним северным народом.[35] Философия возвратилась в свой прежний храм, и родина Фемистоклов и Мильтиадов,[36] вновь поклонившись свободе, восстала столь же горделивой и великой, как в те прекрасные дни, когда она являла себя во всем своем блеске. Она вернулась в прежние свои земли, и уже никакой Сарданапал[37] не спит здесь сном варварства между визирем и палачом среди ограбленных и истощенных своих владений, объятых мертвым сном.

* Тот, кто предсказал бы нам восемьдесят лет тому назад, что в Петербурге станут одеваться по нашим модам, носить наши парики, читать наши брошюры и смотреть наши комические оперы, несомненно был бы сочтен безумцем. Надо примириться с тем, что тебя будут считать безумным, когда тебе приходит какая-либо мысль, выходящая за пределы общепринятых представлений. Все в Европе устремлено к внезапным переменам.

Ныне земли эти охвачены животворным дыханием свободы. Сей творческий дух, незнакомый народам, пребывающим в рабстве, способен творить чудеса. Вначале владения Великого Государя разделили между собой его соседи, но два столетия спустя здесь образовалась республика, достигшая благодаря торговле могущества и процветания.

В тех самых покоях, где некогда помещался сераль, был дан балмаскарад. Подавались превосходные вина и всякого рода прохладительные напитки, их обилие никак не отразилось на изысканности их вкуса. На следующий день в театре, построенном на развалинах бывшей мечети, именовавшейся Святой Софией,[38] представляли трагедию «Магомет».

* * *

Из Рима, от такого-то числа*

Император Италии принял в Капитолии римского епископа, который весьма почтительно сообщил ему о молитвах, кои вознес за него, прося

* Как отвратителен мне самый звук твоего имени, Рим! Сколько бедствий принес он миру, этот город! С самого своего основания, которым обязан он шайке бандитов, оставался он достойным своих учредителей! Где найти другой пример столь пламенного, столь глубокого и бесчеловечного властолюбия? Он наложил оковы на весь мир. Сила, мужество, добродетель, героизм — ничто не спасло народа от рабства. Какой демон вел сей город к его победам и направлял полет его орлов? О зловещая республика! Никакой самый чудовищный деспотизм не мог бы привести к более ужасным последствиям! О Рим, как ненавижу я тебя! Каким может быть народ, который, пройдя по всему свету и уничтожая свободу человека, в конце концов уничтожил собственную свободу? Каким может быть народ, который, будучи окружен прекраснейшими искусствами, мог наслаждаться боями гладиаторов и с любопытством смотреть на какого-нибудь несчастного, истекающего кровью, да еще требовать, чтобы эта жертва, побеждая ужас смерти, лгала в последнее мгновение природе, показывая тысячам жестокосердных римлян, что польщена их рукоплесканиями. Каким может быть народ, который, принеся порабощение всему миру, безропотно терпел, чтобы такое множество императоров поворачивали кинжал в собственной его груди, выказывая при этом столь же низкое раболепие, сколь высокомерной была его тирания. Но этого мало. Трону сих деспотов суждено было стать престолом самого дикого, самого нелепого суеверия. Невежество и жестокость стали его орудиями. Раньше убивали именем родины, теперь стали убивать именем бога. Впервые кровь стала проливаться ради каких-то призрачных интересов неба: это было нечто доселе неслыханное, беспримерное. Рим оказался той зловонной бездной, откуда поднялись все эти роковые идеи, что разделили людей и вооружили их друг против друга во имя каких-то химер. Вскоре из этого лона вышли мерзкие чудовища, что зовутся первосвященниками и величают себя наместниками бога. По сравнению с этими тиграми с их ключами и тиарами[39] все Калигулы, Нероны, Домицианы[40] — всего лишь заурядные негодяи. Тысячелетие прозябают под игом деспотической теократии словно оглушенные ударом дубины народы. Церковная империя все подавляет, все затопляет своим мраком. Человеческий разум отныне существует лишь затем, чтобы повиноваться велениям одного обожествленного человека. Ему стоит лишь сказать слово — и слово это подобно раскатам грома. Крестовые походы, суды инквизиции, казни, изгнания, предания анафеме, отлучения — все эти невидимые молнии достигают самых отдаленных концов земли, и сердце

продлить ему дни и ниспослать процветание его империи.* Затем епископ отправился домой пешком со всем смирением, приличествующим истинному слуге божьему.

Все те прекрасные памятники древности, которые были подняты со дна Тибра, где они оставались погребенными в течение стольких лет, недавно установлены в различных кварталах Рима: их удалось вытащить, избежав при этом действия вредных испарений.

Римский епископ продолжает составлять свод нравственных правил, основанных на разуме и взывающих к человеческому сердцу. Он собирается выпустить в свет катехизис человеческого разума. Особенные усилия прилагает он к тому, чтобы сделать как можно более очевидными истины, действительно необходимые человеку. Он ведет учет всем добродетельным поступкам, всем проявлениям великодушия и милосердия, и широко оповещает о них, особо останавливаясь на каждом виде добродетели. Своей пламенной любовью к человечеству он снискал себе право быть судьей над королями и народами и имеет над ними ту непреодолимую власть, которую дают мудрость, справедливость и истина. Он сближает и умиротворяет народы. Его буллы, написанные на всех языках, уже не толкуют о непонятных и бесполезных догмах, сем предмете вечных споров; они говорят о боге, о том, что он всегда и везде с нами, о грядущей жизни, о величии добра. Китаец, японец, житель Суринама,[42] Камчатки — всякий читает их с пользой для себя.

* * *

Из Неаполя, от такого-то числа

Неаполитанская академия изящной словесности присудила премию некоему г-ну***. Соискателям надлежало точно определить, что представляли собой кардиналы в XVIII веке, рассказать о нравах и понятиях

христианина, исполненное веры и ненависти, жаждет новых убийств. Ему нужен новый мир, целый мир, дабы утолить эту неистовую жажду крови, он силой заставит ближних своих принять свою веру. Изображение Христа — вот сигнал к сим ужасающим опустошениям. Всюду, где оно появляется, льется потоками кровь; и сегодня эта самая религия узаконивает рабство тех несчастных, что добывают из недр земных золото, идолопоклонником коего является Рим. О город на семи холмах! Какое сонмище бедствий извергло адское твое лоно! Что ты такое? Почему обрел ты такую власть на этом несчастном земном шаре? Не вредоносный ли Ариман[41] расположился под твоими стенами? Уж не соприкасаются ли они со сводами ада? Не та ли это дверь, через которую входит несчастье? Когда же будет разбит он, сей роковой талисман, который хотя немного и поубавился в силе, но еще достаточно силен, чтобы вредить миру. О, как ненавижу я тебя, Рим! Пусть по крайней мере никогда не сотрется память о злодеяниях твоих! Пусть будешь ты навеки покрыт позором! И пусть во всех сердцах имя твое вызывает ту же справедливую ненависть, которую испытываю я, лишь услышав его!

* Трон деспотизма опирается на алтарь, который поддерживает его лишь для того, чтобы вернее поработить.

этих странных особ, о том, что делали и говорили они в тюрьме конклава,[43] и указать, когда именно вновь стали они тем, чем были во времена раннего христианства. Победитель конкурса полностью выполнил все требования, предъявленные академией. Он даже дал подробное описание кардинальской шапки и шапочки.[44] Диссертация эта весьма основательна по своей сути и может служить забавным чтением.

В ярмарочном театре был представлен фарс о чуде св. Януария,[45] некогда разыгравшийся вполне серьезно. Известно, что чудо с заклинанием крови повторялось ежегодно. Весь этот нелепый вздор был высмеян столь едко и остроумно, что публика хохотала от души.

Сокровища церкви богоматери в Лоретто,[46] из которых ранее черпались средства на приобретение пищи и одежды для бедняков, на этот раз были употреблены для постройки акведука, ввиду того что не осталось нуждающихся в помощи. Таким же образом намерены поступить с богатствами бывшего Толедского собора, разрушенного в 1867 году. По этому вопросу см. ученые работы г-на ***, опубликованные в 1999 году.*

* * *

Из Мадрида, от такого-то числа

Обнародован указ, запрещающий называться именем Доминик, ввиду того что так звали варвара,[47] некогда учредившего инквизицию.** Обнародован также указ, предписывающий изъять имя Филиппа II[50] из списка испанских королей.

Трудолюбивый дух народа что ни день проявляется в полезных открытиях, сделанных в различных областях, и Академия наук только что предложила новую теорию электричества, которая основана на более чем двадцати тысячах отдельных опытов.

---

* В течение пятнадцати веков в Европе не строилось никаких иных памятников, кроме безвкусных церквей с высокими островерхими колокольнями. Картины, которые мы в них видим, в большинстве своем представляют собой самую мерзкую и вызывающую лишь отвращение мазню. Сколько монастырей существует за счет богатых пожертвований! Сколько процветающих семинарий! Сколько капитулов![48] Сколько убежищ для безделья и богословской болтовни! А ведь именно в те времена, когда народ находился в самой большой нищете, и ухитрялись возводить самые дорогостоящие соборы и церкви! Сколько народов могло бы процветать, когда бы все эти огромные суммы, вместо того чтобы способствовать обогащению священников и монахов, были употреблены на постройку акведуков и каналов!

** Всякая душа, в коей религиозный фанатизм не задушил еще чувства человечности, горит негодованием и раздирается от жалости при мысли о тех жестокостях, о тех изощренных пытках, которые творили люди, охваченные религиозным неистовством. История каннибалов и антропофагов менее страшна, чем наша. Испанский инквизитор Торквемада[49] похвалялся тем, что огнем и мечом истребил более пятидесяти тысяч еретиков. И повсюду находим мы кровавые следы жестокости и нетерпимости. Неужто это и есть божественный закон, в котором видят оплот государства и нравственности?

* * *

Из Лондона, от такого-то числа

Город этот по сравнению с тем, каким был он в XVIII веке, вырос в три раза, и, поскольку вся сила Англии безо всякой опасности для нее может быть сосредоточена в ее столице, ибо душой ее является торговля, а торговля в республике не приводит к столь роковым последствиям, к каким она приводит в монархиях, Англия следует своей прежней системе. Система эта тем хороша, что обогащается не монарх, а частные лица: отсюда рождается равенство, которое препятствует как чрезмерному богатству, так и чрезмерной бедности.

Англичане по-прежнему — первая нация Европы; как и прежде, они пользуются славой народа, сумевшего подать своим соседям пример правления, подобающего тем, кто печется о своих правах и своем счастье.

Здесь не устраивают более процессий в память Карла I; люди стали лучше разбираться в политике.

Сооружена новая статуя протектора Кромвеля. Трудно определить, сделана ли она из белого или из черного мрамора, настолько они смешаны. Отныне народные собрания будут происходить подле этой статуи, ибо великий муж, коего она изображает, является подлинным творцом их столь удачной и нерушимой конституции.*

Шотландцы и ирландцы обратились в Парламент с ходатайством об уничтожении названий Шотландия и Ирландия,[52] желая отныне составлять с Англией единое целое и по имени, и по духу, ибо их объединяет общая любовь к родине.

* * *

Из Вены, от такого-то числа

Австрия, которая во все времена поставляла Европе прелестных принцесс,[53] сообщает, что в настоящее время у нее имеется семь красавиц, достигших брачного возраста. Каждая из них готова выйти замуж за государя, который сумеет дать наиболее убедительные доказательства любви, коей он пользуется у своего народа.

* * *

Из Гааги, от такого-то числа

Этот трудолюбивый народ, который превратил в цветущий сад неблагодарнейшую, болотистую почву, который собрал все сокровища земли в таком месте, где нет и камушка, с удивительным упорством продолжает свою деятельность, показывая миру, чего можно добиться с помощью

* Жан-Жак Руссо приписывает силу, богатство и свободу Англии тому, что в ней уничтожены были волки, некогда ее опустошавшие.[51] О счастливая нация! Она изгнала в тысячу раз более опасных волков, которые еще и поныне разоряют другие страны.

мужества, терпения и правильного употребления времени. Он уже не так обуреваем страстью к золоту.[54] Эта республика сумела стать более могущественной после того, как обнаружила едва заметные ловушки, которые рано или поздно должны были ее погубить. Она поняла, что легче сдержать плотиной разъяренный океан, нежели противостоять развращающему влиянию золота; и ныне она столь же мужественно борется с распространением роскоши, как и с натиском моря.

* * *

Из Парижа, от такого-то числа

В столицу прибыло двенадцать кораблей водоизмещением в шестьсот тонн каждый, груженных всякого рода товарами. Парижане едят рыбу, уже не платя за нее в десять раз дороже действительной стоимости. Новое русло Сены, прорытое от Руана до Парижа, требует некоторых усовершенствований. На этот предмет ассигновано полтора миллиона, полученные из государственной казны. Названной суммы должно хватить, поскольку в работах этих не участвуют ни управители, ни подрядчики.

Ныне на брегах Сены царит не опустошительная, наглая, капризная, нелепая роскошь, но роскошь полезная, созидательная, доставляющая человеку новые удобства, способствующая его благополучию, роскошь полезная и необходимая, которую легко распознать и которую не следует смешивать с роскошью показной, рождаемой тщеславием, той, что толкает людей на непомерные расходы и в конце концов лишает состояния * — как с помощью заемных писем, так и примером.

Статуя знаменитого Вольтера[55] вновь обрела свою белизну. Эта та самая, которую еще при жизни его воздвигли писатели, известные своими талантами и своей честностью. Как вы знаете, правой ногой он попирает мерзкую голову Ф... на,[56] но поскольку публика, выражая свое презрение к сему Зоилу, основательно подпортила ему лицо, памятник собираются подновить, дабы он напоминал всем глупым критикам об ожидающем их позоре. Однако портрета этого бумагомарателя, который зарабатывал себе на жизнь изданием журнала, не сохранилось, и потому тут никак не могут решить, мордой какого же подлого, завистливого и вредоносного животного лучше всего заменить его физиономию.

---

* Когда же исчезнет сие чудовищное неравенство состояний, чрезмерное богатство одних, умножающее крайнюю нищету других, — этот источник стольких преступлений! Когда не будем мы видеть, как один несчастный труженик напрасно тщится вырваться из нищеты, в которую ввергают его законы собственной страны, а другой протягивает дрожащую руку к ближнему своему, избегая его взгляда и страшась отказа! Когда не будем мы видеть этих чудовищ, что равнодушно отказывают ему в куске хлеба! Когда перестанут они морить голодом город, где съестные припасы продаются, словно в осажденной крепости! Но финансы истощены, торговля приходит в упадок, народ изнурен — все страдают, а это значит, что ужасающе падают нравы. Увы! Увы! Увы!



Издание 1801—1802 гг.
Фронтиспис к II тому.

УТРЕННІЕ ЧАСЫ

НЕДѢЛЯ XXVI. ОКТЯБРЯ 12 дня 1788.

НАДГРОБНАЯ РѢЧЬ ОДНОМУ КРЕСТЬЯНИНУ.

Проѣзжая нѣкогда чрезъ одну деревню, увидѣлъ я толпу крестьянъ съ заплаканными глазами входящихъ въ церковь. Сіе зрѣлище меня поразило ; я велѣлъ коляскѣ моей остановиться , и вышедъ изъ оной послѣдовалъ за ними. Вошедъ въ церковь узрѣлъ я посреди трапезы лежащаго во гробѣ умершаго старика, одѣтаго въ крестьянское платье, коего бѣлые волосы почти до самаго полу висѣли. Священникъ того прихода , взошедъ на нѣкое возвышенное мѣсто, говорилъ къ собравшемуся народу слѣдующую рѣчь :

Друзья мои !

„Старецъ, котораго вы здѣсь видите во гробѣ лежащаго , былъ въ продолже-

Фрагмент главы 43 в переводе И. Г. Рахманинова.

У парижанина имеются четкие представления о естественном государственном гражданском праве. Он уже не столь глуп, чтобы воображать, будто сам он позволил другому человеку распоряжаться своей судьбой и своим имуществом. Он по-прежнему мастер острить, сочинять песенки и водевили; но в то же время научился придавать своим шуткам бóльшую серьезность.

* * *

Я переворачивал вновь и вновь газетные листы, надеясь обнаружить еще какие-нибудь интересные статейки. Я искал какое-нибудь сообщение из Версаля, но жадные мои глаза ничего подобного не находили.

Хозяин дома, заметив мое недоумение, спросил, что я ищу.

— Я ищу то, что более всего занимает свет,— отвечал я, — новости из того места, где обычно пребывает королевский двор, словом, сообщение из Версаля, которое в «Газет де Франс»[57] всегда бывает столь подробным, содержательным и забавным.*

Хозяин улыбнулся и сказал:

— Не знаю, право, какова судьба «Газет де Франс». В нашей газете печатается только правда, и никто из пишущих не позволит себе грешить против нее. Король нынче живет в самой столице, на глазах у всего народа, и всегда готов внимать ему. Он не скрывается в своего рода пустыне, окруженный толпой рабов в позолоченном платье. Он пребывает в центре своего государства, подобно тому как солнце — в центре вселенной. И это для него лишняя узда, которая всегда удерживает его в границах долга. Глас народа, беспрепятственно идущий прямо к трону, — вот единственный источник, из коего король может узнать о том, что ему надобно знать. Мешать этому голосу значило бы нарушить наши законы, ибо монарх принадлежит народу, народ же ему не принадлежит.

Глава сорок третья

НАДГРОБНАЯ РЕЧЬ ПОСЕЛЯНИНУ

Охваченный желанием посмотреть собственными глазами, каким же стал тот самый Версаль, где наблюдал я, с одной стороны, королей в ослепительнейшем блеске их великолепия, а с другой — бесстыднейшее племя беспредельно наглых и ленивых борзописцев, я увидел во сне, будто, подобно Иисусу Навину,[1] останавливаю солнце; оно как раз склонялось к западу и по моей просьбе остановилось, как сделало это во времена библейского полководца; только полагаю, что моя цель была более высокой.

* Каким тяжким бедствием оказывается типографское искусство, когда с его помощью всему народу сообщается о том, что такой-то тогда-то прибыл ко двору, дабы играть там постыдную роль раба; что другой торжественно опозорил свое имя, а третий дождался наконец награды за все свои подлости! Какое-то собрание пошлостей! И что за подлый, подобострастный тон!

Из города я выехал в карете, отнюдь не похожей на те, которые в мои времена назывались «ночными горшками».*[2] Ехать пришлось кружным путем, ибо прямой дороги на Версаль не оказалось. Проезжая через одну деревню, я увидел толпу поселян, входивших в храм с опущенными долу и мокрыми от слез глазами. Это поразило меня. Я велел остановить карету и последовал за ними. Посреди церкви на возвышении лежал усопший. Это был старик в крестьянской одежде с длинными седыми волосами, свисавшими до самой земли. Местный священник поднялся на невысокую кафедру и обратился к собравшимся со следующей речью:

— Граждане! Человек, которого вы здесь видите, в течение девяноста лет был нашим всеобщим благодетелем. Сын хлебопашца, он, будучи еще ребенком, слабыми своими ручонками старался приподнять сошник плуга. Он следовал за своим отцом на пашне еще тогда, когда ножки его едва могли переступить борозду. Едва он вырос и обрел силу, о которой мечтал, он сказал отцу: «Теперь отдыхайте», — и с тех пор изо дня в день, от зари до зари он пахал, сеял, сажал деревья, собирал урожай. Он распахал более двух тысяч арпанов земли. Он окружил виноградниками все окрестные селения, и это ему обязаны вы теми фруктовыми деревьями, кои дают плоды сей деревне и осеняют ее своей тенью. Не корысть заставляла его быть столь неутомимым, а любовь к труду, для которого, говорил он, и рожден человек, да еще великая и святая вера в то, что, когда он трудится в поте лица, дабы прокормить детей своих, бог видит его.

Он женился и имел двадцать пять детей. Всем им сумел он внушить любовь к труду и добродетелям, все они стали честными людьми. Он дал им молодых супруг и сам с улыбкой проводил к алтарю счастья. Все внуки воспитывались в его доме, и вы знаете, какой чистой радостью всегда светились их детские лица. Все дети его любят друг друга, ибо он сам умел любить и дал им почувствовать, как сладостна взаимная нежность.

В дни сельских праздников он первым заставлял музыкантов браться за инструменты; вспомните — его голос, взгляд или жест служили сигналом к всеобщему веселью. Вспомните, как охотно предавался он радости, сему прекрасному порождению чистой души; вспомните его речи, всегда остроумные, всегда полные здравого смысла! Он мастер был пошутить, но никогда никого не обидел он своими шутками. Найдется ли кто среди вас, кому он отказал в услуге? Проявлял ли он когда-нибудь бесчувствие к чужому горю или всеобщему бедствию? Кто видел его равнодушным в годину, когда решалась судьба родины? Сердце его принадлежало ей: она была средоточием всех его разговоров. Он жаждал ее процветания. Он всем сердцем поддерживал законный порядок, ибо обладал врожденной любовью к добродетели.

Видели вы его и тогда, когда годы уже согнули его спину и ноги стали нетверды. Вы видели, как он карабкался к самой вершине горы,

---

* Так прозвали те кареты, в которых ездят ко двору. Обычно ими пользуются лакеи всякого рода, коими Версаль кишмя кишит. В этом смысле кареты эти действительно вмещают в себя самые отбросы Франции.

дабы своим опытом поделиться с молодыми хлебопашцами. В памяти своей он надежно хранил все наблюдения, кои накопил за восемьдесят лет труда. Какое-нибудь дерево, посаженное собственными его руками в том или ином году, было неразрывно связано с воспоминанием о божьей милости или божьем гневе. Он помнил то, что люди обычно забывают: кто когда умер, в каком году был обильный урожай, кто когда отказал свое состояние бедным. У него был какой-то дар предвидения: стоило ему поразмыслить в лунную ночь, и он уже знал, какие семена лучше посеять на огороде. Накануне смерти своей он сказал: «Дети мои, близок мой час, я ухожу от вас к Преблагому творцу, коего я всегда почитал и на коего уповаю; завтра с утра вам надобно будет обрезать грушевые деревья, а к вечеру, на закате, похороните меня подле моего поля».

Вы похороните его там, дети мои, и да послужит он вам примером; но прежде, чем земля покроет эти седые волосы, которые даже издали вызывали чувство почтения и привлекали к нему молодых людей, взгляните на эти покрытые мозолями славные руки; вот она — священная печать долгих лет труда!

И тогда говоривший взял окоченевшую руку покойного и приподнял ее. Она была большой и огрубевшей от ежедневного соприкосновения с заступом; и видно было, что никакие колючки, никакие шипы и острые камни были ей не страшны.

Священник благоговейно приложился губами к сей достойной руке, и все последовали его примеру. Сыновья подняли его на трех снопах хлеба, отнесли на поле, похоронили, как он хотел, и положили на могилу его садовый нож, заступ и сошник плуга.

— Ах, — воскликнул я, — когда бы люди, коих прославляли Боссюэ, Флешье, Маскарон, Невиль,[3] обладали хоть сотой долей добродетелей сего хлебопашца, я простил бы им все их высокопарное и пустое красноречие!

Глава сорок четвертая и последняя

ВЕРСАЛЬ

Прибыв сюда, я стал искать глазами тот роскошный дворец, где решались судьбы многих народов. Но что это? Передо мной были какие-то обломки: разверстые стены, изуродованные статуи; лишь несколько полуразрушенных портиков позволяли смутно представить себе былое величие сего строения. Я шел средь этих руин, когда заметил вдруг какого-то старца, сидевшего на капители одной из разрушенных колонн.

— Ах, — сказал я ему, — что случилось с этим огромным дворцом?

— Он рухнул.

— Каким образом?

— Рухнул под собственной тяжестью. Некий нетерпеливый человек в гордыне своей задумал здесь припеволить природу — он принялся нагромождать одно здание на другое; в своем неистовом стремлении осуще-

ствить эту причуду он совершенно истерзал своих подданных. Сюда ушли все средства королевства;[1] здесь текла река слез, заполняя собой все эти бассейны, от коих ныне не осталось даже следа. Сии развалины — все, что сохранилось от этого гигантского здания, которое было возведено миллионами рук и ценой столь тяжких усилий. При строительстве дворца была допущена ошибка в расчете фундамента; он явил собой верный образ величия того, кто его построил.* Королям, которые правили после него, пришлось бежать отсюда без оглядки, дабы не оказаться раздавленными. Пусть же послужат сии развалины грозным предупреждением всем государям, пусть помнят они, что тот, кто во зло употребит мимолетное свое могущество, лишь обнаружит свои слабости перед лицом грядущих поколений.

Сказав это, он вновь залился слезами и с сокрушенным видом поднял глаза к небу.

— Почему же вы плачете? — спросил я его. — Ведь все теперь счастливы, а эти развалины менее всего говорят о нищете народа?

Возвысив голос, он сказал:

— О, горе мне!.. Узнайте же, я тот самый Людовик XIV, что построил несчастный этот дворец. Божественная справедливость вновь зажгла угасший светильник моих дней, дабы я собственными глазами увидел плачевный итог моих деяний. Как непрочны памятники, что возводит гордыня!.. Я плачу, я буду плакать вечно... Ах, почему не знал я тогда...**

Я собрался было расспросить его поподробнее, но тут одна из змей, коими все еще был наполнен сей приют, внезапно бросилась на меня с полуразрушенной колонны, вкруг которой обвивалась, ужалила в шею, и я проснулся.

---

* У нас всячески превозносят те великолепные зрелища, что предлагались римскому народу. Отсюда хотят сделать вывод о его величии. Но народ сей стал несчастен с того самого времени, как стал видеть эти роскошные празднества, где бесстыдно расточались плоды побед его. Кто построил цирки, театры, термы?[2] Кто вырыл искусственные озера, где, словно в открытом море, плавал целый флот?[3] Они, эти коронованные чудовища, эти тираны, что в гордыне своей разоряли одну половину народа, чтобы потешить взоры другой. Эти гигантские пирамиды, коими хвалится Египет, суть памятники деспотизма. Республиканцы сооружают акведуки, проводят каналы, прокладывают дороги, украшают площади, строят рынки. Но в каждом дворце, возводимом монархом, таится зерно грядущего бедствия.

** Какое королевство являет собой Франция! — Расположенное в самом сердце Европы, оно господствует и над океаном, а благодаря протяженности и изгибам берегов своих — и над водами, омывающими Фландрию, Испанию, Германию; оно прилегает к Средиземному морю и т. д. Казалось бы, какой народ имеет большее право на счастье?

ПРИЛОЖЕНИЯ

П. Р. Заборов

УТОПИЧЕСКИЙ РОМАН МЕРСЬЕ

Франция XVIII в. дала миру ряд выдающихся мыслителей и писателей, сыгравших огромную роль в истории освободительного движения, философии и литературы. Вольтер и Руссо, Гольбах и Даламбер, Дидро и Гельвеций, Монтескье и Бомарше — эти имена пользовались некогда широчайшей известностью; с уважением и глубокой признательностью произносят их и сегодня. У этих великих людей, которые, по словам Ф. Энгельса, «просвещали головы для грядущей революции», было множество соратников и учеников, делавших общее с ними дело и двигавшихся к той же цели. О них в наши дни вспоминают сравнительно редко и еще реже издают их сочинения, хотя среди этих сочинений — немало замечательных образцов просветительской мысли и литературы.

Одним из таких видных французских писателей-просветителей «второго плана» был Луи-Себастьен Мерсье. Человек пытливого и острого ума, наделенный незаурядным литературным дарованием и творческим воображением, любознательный и трудолюбивый, он на протяжении всей своей жизни с исключительным упорством и воодушевлением боролся с невежеством, с сословными и религиозными предрассудками, с нетерпимостью и фанатизмом и вместе с тем настойчиво стремился к усовершенствованию традиционных и открытию новых художественных форм.

Мерсье родился 6 июня 1740 г. в Париже в состоятельной семье торговца оружием; до девятилетнего возраста воспитывался дома, а затем был определен в качестве экстерна в Коллеж четырех наций, откуда вынес знание древних языков и сильнейшую неприязнь к господствовавшей там архаической системе обучения.

В конце 1750-х годов Мерсье обратился к литературе, но, по-видимому, еще колебался в выборе основного занятия: в 1763 г. он перебрался в Бордо, где получил место преподавателя в коллеже, однако пробыл там недолго. В 1765 г. он снова в Париже; отныне он — профессиональный литератор.

Свою литературную деятельность Мерсье начал как поэт. В 1760 г. появилось его стихотворное послание (героида) «Гекуба к Пирру», за

ним последовали новые — «Канака к Макарею», «Гипермнестра к Линкею» и «Филоктет к Пеану» (1762), «Медея к Ясону после умерщвления своих детей», «Умирающий Сенека к Нерону» и «Элоиза к Абеляру» (1763), «Калас на эшафоте к своим судьям» (1765) и другие более или менее удачные его поэтические опыты.[1] Одновременно Мерсье напечатал несколько речей и похвальных слов, а также ряд беллетристических сочинений — романов и повестей. В 1769 г. увидела свет его первая драма «Женневаль, или Французский Барневельт»; в следующем десятилетии появились «Дезертир» (1770), «Олинд и Софрония» (1771), «Неимущий» (1772), «Жан Аннюйе, епископ Лизье» (1773), «Судья» (1774), «Тележка уксусника» (1775), «Мольер» (1776) и т. д. Вслед за Дидро Мерсье явился видным реформатором французского театра, одним из теоретиков и создателей «третьесословной» социальной драмы.[2]

В июне 1781 г. после столкновения с парижской полицией Мерсье покинул Францию и обосновался в Швейцарии; он прожил там около пяти лет, знакомясь со страной, с ее природой и людьми, но ни на мгновение не прекращая литературного труда. В швейцарский период им было написано и опубликовано несколько пьес и, в частности, «Портрет Филиппа II, короля испанского» (1785), «свободная» (книжная) драма в духе хроник Шекспира, которому Мерсье поклонялся; но главным плодом его творческих усилий явилась двенадцатитомная «Картина Парижа», обширная серия замечательных по своей достоверности очерков, едва ли не самая блестящая страница в истории литературного урбанизма XVIII в.[3]

В начале 1786 г. Мерсье возвратился в Париж и в дальнейшем уже с ним не расставался. Исключение составляет его кратковременная поездка осенью 1787 г. в Германию, в Мангейм; там он, между прочим, присутствовал на состоявшемся по его просьбе представлении «Разбойников» Шиллера, драматургическое творчество которого чрезвычайно высоко ценил.[4]

С первых дней революции Мерсье выступил в ее поддержку. Первоначально он был близок к якобинцам, но по мере развития событий эволюционировал вправо. В 1792 г. он был избран от департамента Сены и Уазы в Конвент, где примыкал к левому крылу Жиронды; в качестве депутата он принимал участие в работе Комитета по народному образо-

---

[1] См.: Béclard L. Sébastien Mercier, sa vie, son oeuvre, son temps. Avant la Révolution. 1740—1789. Paris, 1903, p. 14—18.

[2] О драматургии Мерсье см.: Белицкий Г. Себастьян Мерсье. — В кн.: Ранний буржуазный реализм. Л., 1936, с. 333—384; Левбарг Л. Луи Себастьян Мерсье. Л.—М., 1960; Zollinger O. Louis-Sébastien Mercier als Dramatiker und Dramaturg Strassbourg, 1899.

[3] См.: Minder R. Paris in der neueren französischen Literatur (1770—1890). Wiesbaden, 1965, S. 24.

[4] См.: Eggli Edm. Schiller et le romantisme français, t. 1. Paris, 1927, p. 26—27, 79—81.

ванию.[5] В период якобинской диктатуры Мерсье, подобно многим жирондистам, подвергся аресту и пробыл более года в различных парижских тюрьмах. Позднее он входил в состав термидорианского Совета пятисот. Во время революции Мерсье редактировал (совместно с Ж.-Л. Карра) журнал «Патриотические и литературные анналы Франции», а также сотрудничал в других периодических изданиях; в 1791 г. появилась его книга «О Руссо», в которой была сделана попытка всесторонне охарактеризовать этого «гениального человека», осмыслить его вклад в просветительское движение и понять его значение для революционного преобразования французского общества и формирования новой идеологии. Однако немало сил отдал он и художественному творчеству: из-под его пера вышли в эту пору ряд пьес и продолжение «Картины Парижа» — «Новый Париж» в шести томах, посвященный жизни французской столицы в революционную эпоху.

С приходом к власти Наполеона Бонапарта Мерсье отошел от политики. В течение недолгого времени он занимался преподаванием истории в одной из так называемых Центральных школ (по другим сведениям — в Лицее на улице Валуа),[6] а затем вновь погрузился в литературные дела. Своей неприязни к Наполеону (которого он на первых порах горячо приветствовал, призывая всех республиканцев на него равняться) Мерсье не скрывал и едва не поплатился за это свободой.[7] Впрочем, и как литератор он испытывал теперь немало трудностей и огорчений. Мерсье продолжал — хотя и с меньшей энергией — трудиться: в 1801 г. вышла в свет двухтомная «Неология, или Словарь новых слов» — труд, направленный против языкового пуризма; в следующем году — шеститомная «История Франции», задуманная как история страны и народа, а не королей и полководцев; но и читающая публика, и собратья по перу все больше к нему охладевали. К презрительным характеристикам, принадлежавшим его идейным и литературным противникам прежних лет («неутомимый писака», «площадной Руссо», «обезьяна Дидро»), прибавились новые, осуждавшие в нем оригинала, фантазера, чудака. Не случайно В. Л. Пушкин, как бы суммируя подобные высказывания (хотя и по частному поводу), сообщил из Парижа Н. М. Карамзину (в письме от 12 сентября 1803 г.): «Мерсье — не что иное, как сумасшедший».[8]

Молодые люди относились к Мерсье с некоторым любопытством, но их сочувствия и уважения он не ощущал. Тем временем его дружеский круг, некогда весьма обширный, постепенно редел; особенно тяжелую утрату понес он в 1806 г., когда скончался самый преданный его друг и единомышленник — писатель Н.-Э. Ретиф де ля Бретон. На материальное благополучие не было и намека: соотечественники и иностранцы,

---

[5] См.: Berkowe L. Louis-Sébastien Mercier et l'éducation. — Modern Language Notes, 1964, vol. 79, № 5, p. 496—497.

[6] Ibid., p. 497.

[7] См.: Mémoires de Fleury, de la Comédie-Française (1757—1820), t. 3. Paris, 1836, p. 251—259.

[8] Пушкин В. Л. Соч. СПб., 1893, с. 147.

встречавшиеся с Мерсье в последние годы его жизни, обращали внимание на предельную скромность его домашнего быта и старомодность облика.[9] Изредка он появлялся на заседаниях Института (членом которого по разряду моральных и политических наук был с момента его основания в 1795 г.) и в управлении Национальной лотереей, где в качестве контролера получал небольшое жалованье.[10] Но силы уходили. В феврале 1814 г. Мерсье серьезно заболел. Единственное, что еще поддерживало его, по собственному признанию, была надежда увидеть конец наполеоновской тирании.[11] Судьба, не слишком к нему благосклонная, предоставила ему эту возможность. 6 апреля 1814 г. поверженный император французов подписал акт отречения от престола, а вскоре не стало «первого книгописца Франции» (как он сам себя называл). Он умер в ночь с 24 на 25 апреля 1814 г. в Париже[12] и был похоронен на кладбище Пер-Лашез.[13]

Смерть Мерсье не прошла незамеченной, но французская печать отозвалась на это событие сдержанно.[14] Мерсье пережил свою славу, и младшим его современникам нередко казалось, что слава эта вообще — плод его воображения. А между тем, в 1770—1790-х годах имя его было знаменито, сочинения его издавались, читались и ставились на сцене, о них писали в журналах и спорили в литературных салонах. Наибольшую известность во Франции и за ее пределами принесла Мерсье его драматургия. Широкой известностью пользовалась и «Картина Парижа». Самое же начало европейской известности Мерсье было положено изданием его утопического романа «Год две тысячи четыреста сороковой».

---

[9] «Старик Мерсье» с его «большой поношенной шляпой сомнительно-черного цвета», в «куцеватом сером сюртуке» и «допотопном длинном камзоле», фигурирует в воспоминаниях Ш. Нодье (Nodier Ch. Souvenirs, épisodes et portraits, t. 2. Bruxelles, 1831, p. 203—204); «старик Мерсье», «бедный и забытый», упомянут в мемуарах А. де Пюнмегра (Puymaigre A. de. Souvenirs sur l'émigration, l'Empire et la Restauration. Paris, 1884, p. 118). См. также дневниковую запись от 14 сентября 1811 г. Н. И. Тургенева: «M‹ercier› живет, как философ... очень просто... M‹ercier› стар и слаб» (Архив братьев Тургеневых, вып. 3. СПб., 1913, с. 87—88).

[10] См.: Monselet Ch. Les oubliés et dédaignés, t. 1. Alençon, 1857, p. 98.

[11] Показательно, что эту подробность отметил Герцен в «Былом и думах»: «Жирондист Мерсье, — писал он, — одной ногой уже в гробу, говорил во время падения первой империи: „Я живу еще только для того, чтобы увидеть, чем это кончится“» (Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти т., т. 11. М., 1957, с. 505).

[12] См.: Barroux R. Sébastien Mercier le promeneur qui ne sait où il va. — Mercure de France, 1960, avr., № 1160, p. 654—656.

[13] См.: Marchant de Beaumont F.-M. Le Conducteur au Cimetière de l'Est, ou du Père La Chaise. Paris, 1820, p. 230.

[14] См., например: Moniteur universel, 1814, 28 avr., № 118; Mercure de France, 1814, avr., № 752, p. 168. См. также: Annales littéraires, ou Choix chronologique des principaux articles de littérature insérés par M. Dussault dans le «Journal des Débats», t. 4. Paris, 1818, p. 285—293. Весьма характерен и русский некролог Мерсье, в котором, между прочим, говорилось: «Его достоинство как писателя невелико, талант его не отличный, и вообще он заслужил более славу странного человека, нежели имя достойного писателя, по крайней мере во Франции, где его произведения имеют справедливых судей» (Вестник Европы, 1814, ч. 85, № 12, с. 296—297).

К работе над романом Мерсье приступил в 1768 г. Этот год он указал сам в одном из примечаний ко второй главе. Более точная дата следует из письма Мерсье к одному из близких его друзей, известному в свое время литератору Антуану-Леонару Тома, от 22 июня 1768 г., где он сообщал, что «трудится над пространным изображением далекого две тысячи четыреста сорокового года».[15]

Издан роман был в Амстердаме, у Э. ван Харревельта. Принято считать, что произошло это в 1770 г. Однако ряд обстоятельств заставляет предположить, что впервые роман появился лишь в 1771 г.: с одной стороны, амстердамское издание 1770 г., на которое указывают французские библиографы,[16] отсутствует в таких крупнейших книгохранилищах мира, как например парижская Национальная библиотека, Британский музей, Гос. Публичная библиотека в Ленинграде, Библиотека Конгресса (США); с другой стороны, сведения, в разное время приводившиеся в этой связи самим Мерсье, не совпадают; иногда он определенно называет 1770 г., но подчас и 1771-й.

По-видимому, роман печатался на протяжении последних месяцев 1770 г. — и, возможно, действительно «под наблюдением автора», как он сам позднее писал,[17] — но вышел все же в самом начале следующего.[18] Впрочем, издание это, кажется, большого распространения не получило. Недаром оно даже не упомянуто ни в «Mémoires secrets pour servir à l'histoire de la République des lettres en France», ни в «Correspondance littéraire, philosophique et critique», заключающих в себе почти исчерпывающую культурную хронику эпохи.[19]

«Год две тысячи четыреста сороковой» — роман утопический: в нем изображены усовершенствованное общество, изменившиеся к лучшему люди, преобразованный быт. Однако в длинном ряду европейских утопий роман этот занимает особое место. У всех многочисленных предшественников Мерсье речь шла об идеальном, с их точки зрения, строе, реализованном в прошлом или настоящем вне пределов их собственной страны. Это воображаемый остров Утопия — у родоначальника жанра в литературе нового времени Томаса Мора (1516), остров Тапробана (Цейлон) — у Томмазо Кампанеллы (1623), остров Бенсалем в «неисследованной части» океана — у Френсиса Бэкона (1626), некий «юж-

---

[15] Цит. по кн.: Béclard L. Sébastien Mercier..., p. 76.

[16] См.: Quérard J.-M. La France littéraire, t. 6. Paris, 1834, p. 58; Barbier A.-A. Dictionnaire des ouvrages anonymes, t. 1. Paris, [s. a.], p. 161.

[17] Mercier L.-S. Fictions morales, t. 1. Paris, 1792, p. XIII.

[18] Это редкое издание имеется в Гос. Публичной библиотеке: L'An deux mille quatre cent quarante. Amsterdam, chez E. van Harrevelt, 1771 (шифр 17.5.9.14).

[19] К сожалению, вопрос о первом издании «Года две тысячи четыреста сорокового» не разрешен и в новейшем — в целом весьма удачном — очерке об этом произведении, который принадлежит Р. Труссону: Mercier Louis-Sébastien. L'An deux mille quatre cent quarante. Rêve s'il en fut jamais. Ed., introd. et notes par Raymond Trousson. Bordeaux, 1971, p. 34—35 (далее — Trousson, Introduction). Рецензию на эту книгу см.: Rev. d'histoire littéraire de la France, 1972, № 4. p. 725—726.

ный континент» — у первых французских утопистов Габриэля де Фуаньи (1676) и Дени Вераса (1677), север Европы — у Симона Тиссо де Пато («Путешествие в Гренландию», 1720), богатая и плодородная страна «среди широкого моря» — у Морелли («Базилиада», 1753), несуществующий остров Ажао — у анонимного автора «Республики философов» (1768), а также недра земли, солнце, луна, Меркурий и т. п.[20] Не так обстоит дело у Мерсье. «Гражданское благоустройство», нарисованное в его романе, открыто героем не во время путешествий в иные широты и на иные планеты, но в результате путешествия в две тысячи четыреста сороковой год.

Герой (он же — автор) романа не покидает Парижа, он лишь переносится в двадцать пятый век: утомленный долгой беседой со стариком-англичанином, который резко осуждает французские нравы и порядки (как это и полагалось представителю самого свободного, в понимании Мерсье и многих его соотечественников, из европейских народов),[21] он засыпает, и все дальнейшее — только сон. Как известно, жанр сатирических «снов», «сновидений» (и шире — «видений») существовал в литературе издавна. К нему обращались писатели разных стран и эпох; достаточно напомнить «Сновидение» древнегреческого сатирика Лукиана, «Менипову сатиру» голландского гуманиста Юста Липсия, знаменитые «Сны» крупнейшего испанского сатирика XVII в. Франсиско де Кеведо. Немалое распространение получил этот жанр и во французской просветительской литературе, в первую очередь благодаря Мерсье. Его «Философские сны» (1768) сыграли важную роль в становлении жанра и вызвали множество подражаний.[22] Неудивительно поэтому, что роман его явился одновременно утопией и «философским сном», иными словами — сплавом двух литературных жанров.[23] Изображение будущего и критика настоящего у Мерсье нераздельны. Он стремится не просто изобразить Францию двадцать пятого столетия, но в такой же или, быть может, даже в большей мере противопоставить ее Франции времен Людовика XV — Франции, ему современной.

Как же устроено, в представлении Мерсье, это государство будущего, и прежде всего какова его социальная структура? В отличие от государ-

[20] См.: Свентоховский. А. История утопий. М., 1910; Chinard G. L'Amérique et le rêve exotique dans la littérature française au XVII et XVIII siècle. Paris, 1913, chap. 4; Atkinson G. The extraordinary voyage in French literature from 1700 to 1720. Paris, 1922; Dufrenoy M.-L. L'Orient romanesque en France. 1704—1789. Montréal, 1946, t. 1, chap. 9.

[21] См.: Baldensperger F. L'Angleterre et les Anglais vus à travers la littérature française. — Bibliothèque universelle et Rev. suisse, 1905, t. 38, p. 320—321.

[22] См., например: Коплан Б. Философические письма «Почты Духов» (1789). — В кн.: А. Н. Радищев. Материалы и исследования. М.—Л., 1936, с. 382—393; Сенников Г. И. О сатирических «снах» в русской литературе XVIII века. — В кн.: Проблемы изучения русской литературы XVIII века. От классицизма к романтизму, вып. 1. Л., 1974, с. 66—74.

[23] См.: Занадворова Т. Л. Утопический роман Мерсье «2440-й год». — Учен. зап. Магнитогор. гос. пед. ин-та (кафедра рус. и зарубеж. лит.), 1960, вып. 1, с. 154—155.

ства утопийцев или северамбов, в нем сохраняется частная собственность и продолжает существовать имущественное неравенство; общество делится на богатых и бедных, знатных и простых, однако все они в равной степени содействуют его процветанию. Каждый член этого общества старается быть полезным — и скромный земледелец, и ремесленник, и торговец, и вельможа. В нем нет места лишь людям праздным.

Общество это лишено противоречий: крестьянский труд из подневольного, почти рабского, превратился в источник радости, а его продолжительность — от зари до зари — сведена всего к нескольким часам. Богатые добровольно передают избыток имеющихся у них средств на сооружение новых зданий, на развитие наук и искусств, знатные занимаются филантропической деятельностью. Впрочем, и самая знатность их приобретает теперь особый смысл: титулы более не наследуются, не продаются и не покупаются, их даруют за заслуги перед отечеством, и, следовательно, знатный человек — это всегда человек достойный. По мысли Мерсье, в обществе будущего пользуется уважением всякий труженик, независимо от его занятия. Однако наибольшим почетом окружен крестьянин, земледелец. «Всеобщий благодетель», обеспечивающий богатство нации, он является не только ее кормильцем, но и нравственной основой.

Форму правления в этом воображаемом государстве Мерсье определяет как «разумную», «мудрую», «созданную для людей». Доверять одному человеку всю полноту власти, полагает он, безрассудно. Абсолютная монархия враждебна интересам народа, рано или поздно она вырождается в губительную для него тиранию. Власть короля во Франции двадцать пятого века ограничена. Законодательная власть принадлежит Собранию народных представителей, исполнительная — Сенату, король же следит за соблюдением законов, единолично решая лишь вопросы непредвиденные и особенно сложные.

В отличие от бесчувственных чиновников «старого режима», которые вели себя подобно завоевателям, сенаторы ныне могут по праву называться «отцами народа»; их основная забота — благополучие сограждан. В стране, где некогда царил произвол, господствует закон — выражение общей воли, и никому не дозволено его нарушать. Во главе этой преобразованной в духе идей «Общественного договора» Руссо монархии [24] стоит просвещенный и справедливый, благочестивый и милосердный государь. Чистая совесть и незапятнанная честь, утверждает Мерсье, для монарха важнее, чем гений, который нередко приносит стране одно лишь зло. Понимание нужд и потребностей народа и деятельное сострадание ему в его горестях — вот что в первую очередь вменяется в обязанность монарху, и он ежегодно, в соответствии со «священным законом», торжественно подтверждает свое согласие с этим «предписанием», соблюдая трехдневный пост. Вообще через трудности и лишения, настаивает

[24] См.: Бернадинер Б. М. Социально-политическая философия Жан-Жака Руссо. Воронеж, 1940, с. 96—130; Волгин В. П. Развитие общественной мысли во Франции в XVIII веке. М., 1958, с. 226—245.

Мерсье, надлежит пройти всякому, кто находится у власти. Испытания научат его сильнее сочувствовать несчастным.

Любовью к ближнему неизменно движимы во Франции двадцать пятого века и все — от простого священника до прелата — служители культа, столь непохожие на их предшественников, нетерпимых, алчных, развратных, умевших лишь читать молитвы и поучать. Жизнь этих «святых людей» — высочайший образец человеческой добродетели, их главная миссия на земле — утешение страждущих, умиротворение враждующих между собой, предотвращение любого кровопролития; они исполнены самоотверженности и готовы принести себя в жертву другим, отнюдь не кичась при этом своим благородством и не рассчитывая на награду. Единственная цель их — угодить Всевышнему, и только от него ждут они воздаяния за добрые дела.

Религия, которую исповедуют обитатели государства будущего, мало напоминает католицизм. Несколько больше походит она на протестантство, но в сущности это одна из разновидностей той универсальной «философской» религии, о которой мечтали многие французские просветители и прежде всего Руссо.[25] Правда, по сравнению с «естественной религией» Руссо, освобожденной от всякой догмы, культ Верховного существа у Мерсье весьма традиционен. Обширный храм, увенчанный куполом, скамейки для молящихся, алтарь, курение фимиама, органная музыка, хоровое пение, проповедь, молитва — все это было привычно для современников Мерсье. Но в храме этом отсутствуют живопись и скульптура, алтарь лишен каких-либо украшений; сквозь стеклянный купол просвечивает небо и как бы слышится голос природы; незамысловатая, трогательная, искренняя проповедь почти не отличается от беседы родителя с детьми; наконец, молитвой служит взволнованное и поэтичное воззвание, идущее от сердца. Предпочитая всякого рода «ложным», «выдуманным» религиям понятный и доступный каждому «естественный закон», религию нравственности, Мерсье далек от мысли совершенно освободить ее от искусственных культовых форм. Обряд, им предложенный, — нечто среднее между католическим церковным ритуалом и «идеальной» религией Руссо, храмом которой является природа, а служителем — любой добродетельный человек.

Естественно, что в таком государстве не существует монастырей и монахов, нет в нем места и богословам, а труды их, оставшиеся в огромном количестве от прежних времен, хранятся под запором в библиотечных подвалах. Там же находятся старые книги по юриспруденции, и не потому, что наука эта утратила свое значение: они ушли в прошлое вместе с судебной практикой и законами тех лет.

Во Франции двадцать пятого века — неподкупные судьи, бескорыстные и уважаемые адвокаты, непродолжительная и несложная судебная процедура, т. е. нечто прямо противоположное тому, что было во Фран-

[25] См.: Masson P.-M. La religion de Rousseau. La «profession de foi» de Jean-Jacques. Paris, 1916, chap. 3—5.

ции 1760—1770-х годов; и, с другой стороны, вместо неоправданно жестоких, противоречащих один другому законов, составленных в угоду имущим, — новое уголовное законодательство, которым правители государства могут с полным основанием гордиться. Это законодательство исключает произвол — необоснованное лишение свободы, пытку при допросе, предполагает публичное наказание виновных, изгнание неисправимых и лишь в редких случаях допускает пролитие крови. Каждый смертный приговор — горестное событие для всей страны, и выносится он только с согласия верховного блюстителя законов — монарха.

В этом справедливом и гуманном законодательстве, цель которого — предупреждение преступлений и исправление преступников в большей мере, нежели их наказание, нетрудно уловить воздействие «замечательного» (по определению Мерсье) трактата итальянского просветителя, юриста и публициста Чезаре Беккариа «О преступлениях и наказаниях» (1764), французский перевод которого, сделанный аббатом Морелле, появился в конце 1765 г.[26] Не прошло для Мерсье бесследно и его знакомство с екатерининским «Наказом» (1767). Впрочем, это сочинение российской императрицы, как известно, в немалой степени восходило к тому же самому трактату.[27]

В государстве будущего — необычайный расцвет наук. Средства, которые некогда расходовались на военные нужды, теперь предназначаются для систематического изучения природы. Целеустремленным, упорным трудом ряда поколений удалось, наконец, разгадать множество ее тайн и употребить эти открытия на пользу человечеству, например победить некоторые особенно страшные болезни, уродовавшие и уносившие тысячи жизней. Облегчить труд призвана математика, и даже акустические эффекты применяются с назидательной целью: властителям, одержимым военной страстью, при их помощи внушается отвращение к истреблению людей.

Мир и покой царят во Франции двадцать пятого века. Преобразованы — по рецептам Руссо[28] — семейные отношения и воспитание детей, упрощены одежда и домашний быт. Неузнаваем Париж, где усовершенствования встречаются на каждом шагу (городское управление, строительство, транспорт, больницы, уличное освещение и т. д.). Коснулись перемены и всех без исключения сторон культурной жизни. Реформирована система образования: вместо обязательного во времена Мерсье обучения мертвым языкам во Франции будущего широко изучается родной язык, а также итальянский, английский, немецкий и испанский (что способствует сближению народов и постепенному исчезновению национальных предубеждений и предрассудков); вместо механического запомина-

[26] См.: Maestro M. T. Voltaire and Beccaria as reformers of criminal law. New York, 1942, p. 51—72.

[27] См.: Чечулин Н. Д. Об источниках «Наказа». — ЖМНП, 1902, ч. 340, № 4, с. 279—320.

[28] Ср.: Château J. Jean-Jacques Rousseau, sa philosophie de l'éducation. Paris, 1962.

ния огромного множества исторических фактов, имен, дат, названий изучается физика — «ключ к природе»; в Сорбонне более не слышно бесплодных теологических диспутов, в ней обучают медицине, и из ее старинных стен выходят не шарлатаны-вымогатели, как прежде, а ученые и человеколюбивые врачи. Иначе устроена Французская Академия: из замкнутого и косного учреждения, на три четверти заполненного духовными особами, военачальниками, аристократами, королевскими цензорами и финансистами, она превратилась в некое святилище, в содружество мыслителей и поэтов, видящих смысл своей жизни в служении высоким идеалам.

Вообще главным критерием в оценке писателя для Мерсье является нравственный пафос его творчества. Мерсье готов простить ему недостаток изобретательности и стилистические промахи, но только не нарушение принципов «здоровой морали». Удел писателя, совершившего подобное преступление, — позор и одиночество. В отличие от Франции XVIII столетия, где свирепствовала цензура, в государстве будущего — полная, ничем не ограниченная свобода печати, каждый волен писать то, что думает, но общественное мнение вправе его осудить и вынести ему свой — подчас весьма жестокий — приговор. Впрочем, поводов для этого бывает немного. Подобно своим предшественникам — современникам Мерсье, которые внесли столь весомый вклад в борьбу за свободу и справедливость, — писатели двадцать пятого века поистине неутомимы в их стремлении принести пользу своему народу, он же, в свою очередь, платит им безграничным уважением и любовью.

Авторов, с точки зрения Мерсье недостаточно нравственных (и самобытных), в этой новой Франции не читают и не знают. В «Королевской библиотеке» отсутствуют, например, певец любви Анакреон, материалист Лукреций, славословивший королей Боссюэ, а из сочинений «пошлого царедворца» Горация оставлена лишь часть, равно как и из сочинений слишком плодовитого и однообразного Вольтера. Между тем в этой библиотеке — весь Плутарх, «Освобожденный Иерусалим» Тассо, Шекспир, Мильтон, Поп, Юнг и Ричардсон, весь Корнель, Мольер, Лафонтен и, конечно, весь Жан-Жак Руссо.[29] Находятся в ней и такие образцы современной просветительской мысли, как «Дух законов» Монтескье и «Об уме» Гельвеция, речи Тома, «Велизарий» Мармонтеля.

Общедоступной школой морали и хорошего вкуса сделался в двадцать пятом столетии французский театр. Трагедии на далекие зрителю сюжеты, господствовавшие на сцене Комеди Франсез, грубые, непристойные фарсы, которые игрались актерами бульварных и ярмарочных театров, нелепые, громоздкие оперы уступили место новым жанрам (прозаической драме — иногда с музыкальным сопровождением, пантомиме и другим), преследующим единственную цель — совершенствование человека, воспитание в нем гражданских доблестей, душевной твердости, чувствительности

[29] См. в этой связи: Katz W. Le rousseauisme avant la Révolution. — In: Dix-huitième siècle, № 3. Paris, 1971, p. 209.

и благородства. Изменилось и общественное положение актера, который из существа презренного превратился в полноправного гражданина. По-иному устроены также театральные здания, некогда расположенные в самом центре Парижа и весьма неудобные, особенно для зрителей из народа, а теперь рассредоточенные и сконструированные по образцу античных амфитеатров.

Реформе подверглись изобразительные искусства. Живописцев перестали привлекать мифологические темы, они обратились к сюжетам, прославляющим милосердие, великодушие, преданность, смелость и прочие человеческие добродетели; кроме того, они достигли большого технического совершенства. Скульпторы перестали лепить толстосумов и королевских прислужников, охладели они и к игривым сценам, посвятив себя увековечению великих деяний. Широкое распространение получила гравюра, которая учит граждан добродетели и героизму.

Таким образом, феодально-абсолютистскому государству, основанному на жестоком угнетении народных (прежде всего крестьянских) масс, сковывавшему силы нации, ее экономическую и умственную жизнь, Мерсье противопоставляет некое идиллическое содружество разных классов и сословий, нечто вроде парламентской монархии, основные гражданские свободы, всеобщее материальное благополучие, всесторонний духовный подъем. Но каким же способом в представлении Мерсье удалось его соотечественникам превратить их страну в это «царство разума»? Как и когда это произошло?

Слово «революция» встречается в романе неоднократно. Однако нетрудно заметить, что здесь (как и в других памятниках эпохи) [30] оно означает «общественное преобразование», «изменение», а отнюдь не насильственное низвержение старого и утверждение нового общественного строя. Мерсье опасается резких перемен и со страхом говорит о гражданских войнах, хотя и признает в некоторых случаях их неизбежность и необходимость. Он — сторонник постепенного обновления общества и твердо верит в благотворность этого мирного пути. Новая Франция, изображенная в романе, — результат долгих усилий «философов», иными словами — мыслителей, писателей, ученых, неустанно сражавшихся с деспотизмом, невежеством, фанатизмом. Победа, одержанная философией как бы незаметно, явилась итогом длительного и сложного процесса раскрепощения умов.

В немалой степени, в представлении Мерсье, этому торжеству справедливости способствовала также деятельность просвещенных властителей страны. Монарх-философ, с детских лет воспитанный для наилучшего выполнения своей высокой миссии, довершает то, что было подготовлено трудами «друзей человечества», осуществляет все их замыслы и мечты. Отдельные черты такого монарха — благодетеля своих подданных — Мерсье находит в Генрихе IV, но больше всех к его идеалу приближа-

[30] См.: Будагов Р. А. Развитие французской политической терминологии в XVIII веке. Л., 1940, с. 114—117.

ется Екатерина II, «воплощение всех добродетелей и всего, что есть хорошего на земле», мудрая законодательница, осчастливившая свой народ. Само собой разумеется, что в основе этих восторженных суждений лежал «Наказ» и та информация, которая по различным каналам распространялась во Франции и в других европейских странах прежде всего стараниями самой императрицы.[31]

В еще большей степени полагается Мерсье на индивидуальную волю и личный героизм в избавлении народов от столь ненавистного ему (как и всем французским просветителям) [32] колониального рабства. Движение это начал и возглавил некий смелый и мудрый негр, боготворимый миллионами спасенных им людей, и никакому монарху-реформатору не сравниться с этим необыкновенным человеком, с этим благородным мстителем, величественный памятник которому воздвигнут в самом центре «нового» Парижа.

О судьбе колониальных стран Мерсье сообщает немного. На американском континенте создано две мощных империи; восстановлены в правах индейцы, возрождена их древняя культура; в Марокко ведутся плодотворные астрономические наблюдения; жители Огненной Земли и близлежащих островов образовали взаимовыгодный союз; на бескрайней земле папуасов не осталось ни одного обездоленного и т. п. Отдельными штрихами обозначает Мерсье и наиболее важные сдвиги в общественном и духовном развитии некоторых европейских государств — Италии, Испании, Голландии, Польши, России, достижения которой, с его точки зрения, особенно велики.

Дух философии и просвещения распространился повсюду, однако в разной мере: в 2440 г. в Пекине и в Константинополе поставлен вольтеровский «Магомет», созданный в 1741-м! Впрочем, и Франция, так далеко опередившая все страны в их прогрессивном движении, по мысли Мерсье, — отнюдь не идеальное государство. Обитателям этой «новой» Франции предстоит еще много потрудиться, прежде чем они достигнут предельных высот. Вообще, полагает Мерсье, совершенство на земле едва ли возможно, однако стремиться к нему необходимо, и только так в конце концов удастся сделать жизнь хотя бы терпимой.

Построение «Года две тысячи четыреста сорокового» традиционно для произведений утопического жанра. Это роман-обозрение, в котором последовательно характеризуются все сферы жизни воображаемого общества — политическая система, государственное устройство, экономика, воспитание и образование, нравы и обычаи, внешний облик людей и т. д. Жизнь эта является герою романа постепенно, по мере того как он вновь открывает для себя родной Париж. Впечатления его обусловливают нарочитую хаотичность повествования: почти сразу же после своего чудесного превращения он попадает в лавку подержанного платья, где ему подбирают

[31] См.: Lortholary A. Le mirage russe en France au XVIII siècle. Paris, 1951, p. 2 («La légende de Catherine»).

[32] См. об этом: Seeber E. D. Anti-slavery opinion in France during the second half of the eighteenth century. Baltimore, 1937.

«современный» наряд; между тем посещение тронного зала, за которым следует рассказ о форме правления и наследнике престола, отнесено в заключительную часть романа.

Впрочем, повод для такого рассказа Мерсье удается найти далеко не всегда, и тогда его заменяет «наивный» вопрос недоумевающего героя. С вопросами он обращается к ученому старцу, который первоначально сопровождает его в прогулках по Парижу, а после неожиданного и в сущности необъясненного исчезновения старца (гл. 28) к различным должностным лицам, случайным спутникам или прохожим, с которыми его сталкивают обстоятельства. В последней же главе, где идет речь о разрушении Версаля, собеседником героя оказывается Людовик XIV, страдающий от тяжких угрызений совести и жестоко наказанный судьбой. Из подобных ответов и состоит бóльшая часть романа.

Изредка прибегает Мерсье и к иным приемам: то он сообщает речи, услышанные на улице или в публичном собрании, то интерпретирует надписи, выбитые на фронтонах и стенах общественных зданий, а также на монументах, то, наконец, «приводит» выдержки из парижских газет 2440 г. — хронику французской и иностранной жизни.

Однако и это часто не удовлетворяет Мерсье: не нарушая повествования, не прерывая и не ломая его, писатель почти на каждой странице комментирует его, дополняет, иллюстрирует примерами из древней и новой истории и литературы, высказывает по ходу дела всевозможные соображения и предположения. Этот вынесенный в подстрочные примечания вспомогательный текст — своего рода «книга в книге» и притом книга совсем другого жанра, отчасти напоминающая знаменитые «Опыты» Монтеня.

Весьма сложна стилистическая ткань романа. Спокойное повествование нередко прерывается живописной картиной или поэтичным монологом. Особенно примечателен один такой фрагмент, включенный в главу «Похоронная процессия» и названный «Лунное затмение», — образец «почного» (или «кладбищенского») жанра, распространившегося во Франции под воздействием «Ночных раздумий» Э. Юнга, в 1769 г. переведенных на французский язык Пьером Летурнером (с которым Мерсье связывала, между прочим, многолетняя тесная дружба).[33] Что же касается примечаний, то их тональность и форма колеблются почти непрерывно: фактическая справка соседствует с пространным рассуждением на отвлеченную тему, за анекдотом следует патетическое воззвание, максима предшествует подробному доказательству какой-либо идеи, рядом с забавной историей находится обширное извлечение из ученого труда, в прозу вкраплены стихотворные строки и т. д. Иными словами, Мерсье использует в своем романе широкий круг разнообразных выразительных средств,

---

[33] См.: Baldensperger F. Young et ses «Nuits» en France. — In: Baldensperger F. Études d'histoire littéraire. Paris, 1907, p. 55—90; Cushing M. G. Pierre Le Tourneur. New York, 1908, p. 12, 13, 16—18.

и выбор их определен в каждом конкретном случае стоящей перед ним общественной и литературной задачей.

«Год две тысячи четыреста сороковой» был напечатан анонимно. Несмотря на все старания, французскому посланнику в Амстердаме так и не удалось обнаружить его автора.[34] Само собой разумеется, что книга была немедленно запрещена. Однако, подобно многим другим «крамольным» сочинениям, роман вскоре получил известность во Франции: распространение изданий такого рода было налажено в ту пору превосходно, хотя и являлось делом отнюдь не безопасным.[35]

Откликов во французской печати роман Мерсье, естественно, не вызвал. Правда, существуют два отзыва на его первое лондонское издание (1771), увидевшие свет позднее. Один из них — очень лаконичный — принадлежал Матье-Франсуа де Мероберу, которому понравился лишь «благородный и возвышенный тон» предисловия. Остальное, по его мнению, было чем-то вроде Апокалипсиса и требовало подробного обсуждения. «Странным» показалось ему и название книги.[36] В другом отзыве роман характеризовался весьма обстоятельно. Против заключенной в книге «самой желчной критики всего на свете» автор отзыва не возражал, но положительная ее программа была, с его точки зрения, беспочвенной и нереальной. Для ее осуществления, пусть частичного, полагал он, следовало бы изменить человеческую природу. Он не находил это сочинение ни интересным, ни увлекательным; некоторого одобрения удостоился только его стиль.[37]

Печатные сообщения о «Годе две тысячи четыреста сороковом» появились в периодических изданиях на французском языке, выходивших вне Франции,— главным образом в Голландии. Гаагский журнал «Bibliothèque des sciences et des beaux-arts» называл анонимного автора книги «ревностнейшим другом добродетели и народа» и «явным врагом Откровения и нынешнего режима у него на родине», а самый роман — сочинением «смелым» и «необыкновенным», но несколько странным и далеко не всегда справедливым.[38] Весьма сочувственной была статья в амстердамской «Gazette littéraire de l'Europe». Автор статьи увидел в романе мечтания «честного человека» и «хорошего гражданина», наделенного чувствительным и отзывчивым сердцем. Пророчества Мерсье восхищали его ясностью, доступностью, они не выходили за пределы правдоподобия и основывались на принципах «здоровой и просвещенной философии»: «Он не возвещает ни гибели вселенной, ни знамений, ни чудес;

[34] См. свидетельство Мерсье: Mercier L.-S. De J. J. Rousseau considéré comme l'un des premiers auteurs de la révolution, t. 2. Paris, 1791, p. 179.

[35] См.: Belin J.-P. Le commerce des livres prohibés à Paris de 1750 à 1789. Paris, 1913, p. 103.

[36] Mémoires secrets pour servir à l'histoire de la République des lettres en France... par feu M. de Bachaumont, t. 5. Londres, 1777, p. 336. (Меробер продолжил дело Башомона после его смерти в апреле 1771 г.).

[37] Correspondance littéraire, philosophique et critique, par Grimm, Diderot, Raynal, Meister etc., t. 9. Paris, 1879, p. 395—396.

[38] Bibliothèque des sciences et des beaux-arts, 1771, t. 36, partie 1, p. 116—117.

он предсказывает реформу законов и нравов; он предлагает восприимчивым читателям заманчивую и приятную перспективу счастливого и радостного будущего, которым они не воспользуются, но которым могут воспользоваться их потомки».[39]

По всей вероятности, Мерсье не прошел мимо этих отзывов, и в таком случае он должен был испытать немалое удовлетворение. Однако в еще большей степени о полезности его труда свидетельствовал читательский успех книги, издания которой следовали одно за другим. Выходили они по преимуществу в Лондоне, как и прежде — анонимно и без ведома автора, с огорчением открывавшего в них добавления и искажения. К досаде Мерсье, отдельные фрагменты его романа вскоре перекочевали в сочинения других литераторов, например в трактат Лапжюинe «Совершенный монарх» [40] и в знаменитую «Историю обеих Индий» аббата Рейналя.[41] Наконец, в качестве автора «Года две тысячи четыреста сорокового» называли то Руссо, то Дидро, то Вольтера, а иногда и второстепенных сочинителей, что не могло не раздражать Мерсье, лишенного возможности объявить о своем авторстве открыто. Стремясь обезопасить себя и свое детище от подобных посягательств, он в 1786 г. выпустил новое (опять-таки анонимное) издание романа, в предисловии к которому осудил все эти огорчительные нарушения авторской воли. Что же касается самого романа, то он из однотомного сделался трехтомным и сильно от этого пострадал: введенные в него 38 новых глав лишили его стройности, цельности, единства. Впрочем, Мерсье думал иначе: все дальнейшие издания «Года две тысячи четыреста сорокового» воспроизводили именно эту пространную редакцию и, кроме того, включали в качестве приложения один из самых известных его «снов» — «Железный человек».[42]

Романом своим Мерсье гордился. Он, по собственному признанию, испытывал «редкостное удовольствие» от того, что некоторые его пророчества сбылись «ко всеобщей пользе», а отдельные мысли были вскоре подхвачены другими.[43] Однако особое удовлетворение он ощутил в первые годы революции. Полагая, что это великое событие обязано своим

---

[39] Цит. по: Trousson, Introduction, p. 64.

[40] Le monarque accompli, ou Prodiges de bonté, de savoir et de sagesse...par Mr de Lanjuinais. t. 1. Lausanne, 1774, p. 117—119, 289. Об этом см.: Занадворова Т. Л. Утопический роман Мерсье «2440-й год», с. 148—149.

[41] Raynal G.-Th. Histoire philosophique et politique des établissemens et du commerce des Européens dans les deux Indes, t. 3. Genève, 1780, p. 204. Об этом см.: Mercier R. L'Afrique noire dans la littérature française. Les premières images (XVII—XVIII siècle). Dakar, 1962, p. 142, 156—158.

[42] В этих новых главах, как правило, получали дальнейшее развитие и детальную разработку сюжеты и темы, затронутые или намеченные в первоначальном варианте. В подтверждение приведем названия некоторых из них: «Всеобщая история», «Людовик XIV», «Христианство», «Основной закон», «Флот», «Государственные пенсии», «Об Африке», «Индия», «Общественное мнение», «Мифология», «Семейное законодательство», «Благотворительные учреждения», «Свобода печати», «Роскошь».

[43] Mercier L.-S. Le Tableau de Paris, t. 2. Amsterdam, 1782, p. 346—347; t. 8. Amsterdam, 1783, p. 8; L'An deux mille quatre cent quarante. Rêve s'il en fut jamais, suivi de l'Homme de fer, songe, t. 2. [S. l.], 1787, p. 40.

происхождением «трудам литераторов», он «поздравлял себя» с тем, что некогда опубликовал свой «пророческий» роман, в котором была предсказана революция «за девятнадцать лет до того, как она произошла»,[44] и говорил о «нежданных радостях», которые приносило ему сопоставление многих страниц романа с национальными декретами 1789-го и последующих лет,[45] а позднее прямо назвал себя «подлинным пророком революции».[46] Роль свою в предреволюционном движении Мерсье несомненно преувеличивал, но некоторые основания для таких заявлений все же имелись: далеко не каждый писатель предвидел в 1770 г. падение Бастилии или созыв Генеральных штатов.[47]

В последний раз «Год две тысячи четыреста сороковой» при жизни Мерсье появился в самом начале XIX в. Это было тринадцатое издание романа на французском языке!

За пределами Франции о романе Мерсье узнали почти сразу же после его выхода в свет.[48] Особенно сильный интерес к нему (как и к творчеству Мерсье вообще) проявлялся в Германии.[49] В немецком переводе роман издавался дважды — в 1772 и 1782 гг. Очень рано на него обратил внимание Кристоф-Мартин Виланд, что нашло подтверждение и в творчестве писателя.[50] Роман вызвал восхищение известного философа Фридриха-Генриха Якоби; [51] его с сочувствием упомянул Гете; [52] «золотой кни-

---

[44] Mercier L.-S. De J. J. Rousseau, t. 1, p. 61; t. 2, p. 207.

[45] Mercier L.-S. Fictions morales, t. 1, p. XIV.

[46] Mercier L.-S. L'An deux mille quatre cent quarante. Rêve s'il en fut jamais, suivi de l'Homme de fer, songe. Nouv. éd. impr. sous les yeux de l'aut. Paris, an VII, p. II.

[47] Подобные претензии вызывали иногда раздражение. Так, по свидетельству самого Мерсье, внесенное им на заседании Конвента в 1793 г. предложение разрушить — как символ королевской власти — Версаль было отвергнуто под тем предлогом, что он стремится лишь подтвердить одно из своих давних пророчеств (Mercier L.-S. Le Nouveau Paris, vol. 1. Paris, [1798], p. 147). См.: Ricken U. Louis-Sébastien Mercier et ses deux nouveaux Paris. — In: Dix-huitième siècle, № 7. Paris, 1975, p. 301—313.

[48] В 1772 г. роман появился на английском языке, а затем трижды переиздавался (1797, 1799, 1802), в 1792 г. — на голландском. Распространялся он и в Испании, где, однако, подвергся жестокому преследованию инквизиции и был осужден особым королевским указом (1778) как книга «нечестивая, дерзостная и богохульная». См.: Zollinger O. Eine Utopie des 18. Jahrhunderts vor der spanischen Inquisition. — Z. für französische Sprache und Litteratur, 1897, Bd. 19, S. 305—308.

[49] См.: Pusey W. W. Louis-Sébastien Mercier in Germany, his Vogue and Influence in the Eighteenth century. New York, 1939.

[50] См.: Fuchs A. Les apports français dans l'oeuvre de Wieland de 1772 à 1789. Paris, 1934, p. 319.

[51] Сообщая в письме к Софи Ларош от 18 января 1772 г. свои первые впечатления о романе, Якоби писал: «Мне трудно сказать вам, дорогой друг, до какой степени это сочинение меня восхищает... Книга эта насыщена значительными и сильными мыслями, она рождена в порыве вдохновения». И далее приводил суждение Виланда, видевшего в романе Мерсье «весьма замечательное явление, верный признак начавшегося обновления французского общества» (Fr. H. Jacobi's auserlesener Briefwechsel, Bd. 1. Leipzig, 1825, S. 62—64).

[52] См.: Barnes B. Goethe's Knowledge of French Literature. Paris—Oxford, 1937, p. 79.

гой» назвал его видный деятель периода «бури и натиска», писатель и музыкант Кристиан-Фридрих-Даниэль Шубарт.[53]

Наряду с драматургией и прозой Мерсье «Год две тысячи четыреста сороковой» нашел также, несмотря на цензурные преграды, почитателей в России.

В 1782 г. в одном из передовых периодических изданий эпохи — «Утра» — в статье «Нечто о переводах», «изъясняя», хотя он и считал это излишним, пользу, извлекаемую из чтения «книг иностранных», анонимный автор ее призывал «упражняющихся в переводах» дать русскому читателю возможность «прочесть на природном нашем языке» ряд «остроумных романов» — старинных и современных — и в числе последних упомянул «L'An deux mille quatre cent quarante».[54]

В середине 1780-х годов романом Мерсье заинтересовался Г. С. Винский (находившийся тогда в Уфе). «Увидевши в каталоге книгу под названием L'An 2440, я тотчас ее выписал. С первых глав: Сон, Греза обезохотили было меня заняться сею книгою: но, прочитавши внимательнее приношение самому лету (т. е. «Посвящение Году две тысячи четыреста сороковому», — *П. З.*), я ощутил в душе моей неизъяснимое влечение полюбить сего смелого сочинителя, твердого поборника истины и неустрашимого защитника прав человечества. С сего времени сей знаменитый писатель и ему соответствующие сделались моими любимейшими авторами»,— писал он впоследствии в своих воспоминаниях, примечательном памятнике русской мемуарной литературы.[55]

Приблизительно в то же время русский историк И. Н. Болтин воспользовался отдельными страницами «Года две тысячи четыреста сорокового» в качестве источника достоверных сведений о современной Франции, необходимых ему для опровержения некоторых мыслей «Истории древней России» Н.-Г. Леклерка (1783—84). Полемизируя с Леклерком, Болтин доказывал, что темные стороны русской жизни, отмеченные в «Истории», в еще большей мере типичны для его собственной страны. Рассуждая о «крайней бедности» французского народа и прежде всего крестьян, Болтин ссылался на роман Мерсье: «Чтоб не упрекнули меня излишеством по какой-либо страсти, представлю на сказанное мною о крайнем притеснении французских поселян свидетельства, коими г. Мерсье избыточественно меня снабдевает. Жалкое состояние их описывает он в жалобе, от общего их лица приносимой к Государям».[56]

---

[53] Deutsche Chronik auf das Jahr 1774. 4. und 5. Beil. (Nov. und Dez.), S. 50.

[54] Утра, 1782, л. 4, с. 160. Об этом издании см.: Козьмин М. Б. Журнал «Утра» и его место в русской журналистике XVIII века. — XVIII век, сб. 4. М.—Л., 1959, с. 104—135.

[55] Мое время. Записки Г. С. Винского. СПб., [1914], с. 120. Примечательно, что на этот факт обратил внимание А. И. Тургенев, ознакомившийся с воспоминаниями Винского в рукописи в начале 1845 г., т. е. задолго до их появления в печати (Тургенев А. И. Хроника русского. Дневники (1825—1826 гг.). М.—Л., 1964, с. 249).

[56] Примечания на Историю древния и нынешния России г. Леклерка, сочиненные... Иваном Болтиным, т. 1. СПб., 1788, с. 236.

И далее приводил в своем переводе эту «жалобу» — страстный протест против угнетения крестьян: «Мы вознесли величие ваше выше наших глав; мы жертвовали нашими имениями и нашею жизнию велелепию вашего престола и безопасности вашея особы. Вы нам обещали в замену того доставить нам обилие, тишину и спокойствие. Кто б мог поверить, чтоб при вашем правлении веселие из жилищ наших сокрылося, чтоб праздники наши обратилися в сетование, чтоб страх и ужас заступил место сладкия доверенности. Прежде поля наши зеленеющие осклаблялися в глазах наших; нивы наши обещевали нам награду за наши труды. Ныне плоды наших потов преходят в чужие руки; хижины наши, кои украшать почитали мы себе забавою, от ветхости валятся; старики наши и дети не знают, где главы подклонити; наши жалобы теряются в воздухе, и каждый день бедность тягчайшая последует тяготившей нас накануне. Едва остаются в нас некоторые черты образа человеческого; и скоты, жвущие траву, суть, без сумнения, меньше несчастливы, нежели мы... Пьют кровь нашу и запрещают нам жаловаться... Нужды, ежедневно рождающиеся и непрестанно нас томящие, изменили тихость наших нравов; обман и хищение водворилися между нас, понеже недостаток пищи преодолевает добродетель... Многие из наших сограждан отреклися от произведения на свет детей, коих глад похищал еще в зыбке. Другие, в их отчаянии, произносили хулу противу Провидения... Если угнетение еще приумножится, мы падем и отечество наше разрушится: разрушаяся, оно сокрушит наших тиранов».[57] С аналогичной целью сообщал Болтин и другие «свидетельства» Мерсье — о «податях», обременяющих французское крестьянство, и о страсти французов «являть себя знатоком в вещах неизвестных».[58]

В том же 1788 г. в журнале «Утренние часы» (с которым связано начало творческой деятельности И. А. Крылова) [59] увидели свет два фрагмента «Года две тысячи четыреста сорокового» — «Надгробная речь одному крестьянину» и упомянутое выше «Лунное затмение».[60] Перевод их принадлежал И. Г. Рахманинову, игравшему важную роль в издании журнала.[61] Как известно, делом его жизни явилась пропаганда в России сочинений Вольтера. Но одновременно русский вольнодумец в немалой степени способствовал также ознакомлению соотечественников с твор-

---

[57] Там же, с. 236—237.

[58] Там же, с. 238, 506. См.: Сухомлинов М. И. История Российской Академии, вып. 5. СПб., 1880, с. 152—161.

[59] См.: Берков П. Н. История русской журналистики XVIII века. М.—Л., 1952, с. 362—365.

[60] Утренние часы, 1788, ч. 2, неделя 26, с. 193—199; ч. 3, неделя 28, с. 17—31.

[61] На принадлежность Рахманинову первого из этих переводов указал в свое время Ф. А. Витберг, в распоряжении которого имелся экземпляр «Утренних часов» (ч. 1—2) с обозначением авторов и переводчиков (Витберг Ф. А. Первые басни И. А. Крылова. Исправленный оттиск. СПб., 1900, с. 33). Трудно допустить, что второй перевод из того же произведения был сделан кем-либо другим, тем более что и стилистическое их сходство несомненно.

чеством Мерсье и — с помощью летурнеровского перевода — Юнга.[62] «Надгробная речь», по всей вероятности, привлекла его как гимн простому труженику, «Лунное затмение» — как подражание автору «Ночных раздумий», «утешителю несчастных» — «славному Йонгу», авторитет которого у нас был в ту пору чрезвычайно высок.[63] Не случайно восемь лет спустя тот же самый отрывок (за исключением нескольких последних строк) был опубликован в новом — анонимном — переводе на страницах журнала «Муза» в очень характерном окружении, состоявшем из всевозможных образцов «преромантического жанра».[64]

Позднее «Год две тысячи четыреста сороковой» неоднократно упоминался в русской печати, но преимущественно в статьях переводных.[65] Из оригинальных статей следует указать «Нечто о морали, основанной на философии и религии» К. Н. Батюшкова, который, рассуждая о «поражении зла», отсылал читателей к «мечтаниям Мерсье под названием L'An 2440». Правда, речь у него шла о «сне» «Железный человек», присоединенном к роману в 1786 г.[66] Не исключено также, что именно этот роман имел в виду А. С. Пушкин, который, набрасывая в 1830—1831 гг. критическую статью о втором томе «Истории русского народа» Н. А. Полевого, между прочим заметил: «Один из остроумнейших людей XVIII столетия предсказал Камеру французских депутатов и могущественное владычество России».[67]

Наконец, «Годом две тысячи четыреста сороковым» навеяно несколько русских утопий первой половины XIX в. — интереснейший «Сон» А. Д. Улыбышева (1819), деятельного члена литературного общества «Зеленая лампа» (одной из «побочных управ» декабристского Союза Благоденствия),[68] «Правдоподобные небылицы, или Странствование по

---

[62] См.: Мартынов Б. Ф. Журналист и издатель И. Г. Рахманинов. Тамбов, 1962; Полонская И. М. И. Г. Рахманинов — издатель сочинений Вольтера. — Труды Гос. б-ки СССР им. В. И. Ленина, т. 8. М., 1965, с. 126—162; Иван Андреевич Крылов. Проблемы творчества. Л., 1975, с. 56—61 (автор раздела — Н. Д. Кочеткова).

[63] См.: Левин Ю. Д. Английская поэзия и литература русского сентиментализма. — В кн.: От классицизма к романтизму. Из истории международных связей русской литературы. Л., 1970, с. 210—225.

[64] Муза, 1796, ч. 4, с. 48—57.

[65] Северный вестник, 1804, ч. 2, № 4, с. 21; Вестник Европы, 1805, ч. 19, № 2, с. 126—127; 1814, ч. 75, № 12, с. 296; ч. 78, № 23, с. 271.

[66] Российский музеум, 1815, ч. 4, № 12, с. 238. Ср.: Сын отечества, 1816, ч. 28, № 9, с. 83.

[67] Пушкин А. С. Полн. собр. соч., т. 7, М., 1958, с. 144. Попутно напомним еще два факта, свидетельствующие об интересе у нас к «Году две тысячи четыреста сороковому». Это пометы русского читателя на полях романа, обратившие на себя внимание Т. Л. Западворовой (книга эта — лондонское издание 1771 г. — ранее находилась в библиотеке Петербургского университета, а затем оказалась в Перми; нам она, к сожалению, осталась недоступной), и упоминание этого сочинения в переписке М. И. Антоновского и К. А. Лубьяновича (1816), о котором сообщил В. Э. Вацуро (Россия и Запад. Из истории литературных отношений. Л., 1973, с. 167).

[68] Текст «Сна» в переводе с французского см.: Модзалевский Б. Л. К истории «Зеленой лампы». — В кн.: Декабристы и их время, т. 1. М., 1928, с. 53—57. См. также: Нечкина М. В. Движение декабристов, т. 1. М., 1955, с. 242—247.

свету в двадцать девятом веке» Ф. В. Булгарина (1824), который, поясняя свой замысел, назвал в качестве одного из предшественников «известного французского писателя Мерсье»,[69] и незавершенный роман «4338-й год. Петербургские письма» В. Ф. Одоевского.[70]

И все же судьбу в России «Года две тысячи четыреста сорокового» трудно назвать особенно счастливой: по-настоящему он был известен лишь весьма узкому кругу образованных людей и, в отличие от ряда сочинений Мерсье и множества других иностранных произведений, так никогда и не сделался фактом русской литературы.

За два столетия, отделяющие нас от появления утопического романа Мерсье, человечество прошло огромный исторический путь, полный поражений и побед, о которых французский просветитель не мог подозревать. Тем не менее нельзя не отдать должное его удивительной прозорливости, его умению видеть то, что тогда еще только намечалось, формировалось, вызревало, а осуществилось многие годы и десятилетия спустя. Памятник далекой эпохи, роман Мерсье и сегодня восхищает своей устремленностью в будущее, в завтрашний день, своей оптимистической верой в человека, в могущество разума, в социальный и нравственный прогресс. Вместе с тем немного найдется сочинений, в которых предреволюционная Франция была бы изображена столь полно и разносторонне, с такой обличительной силой и убежденностью в неминуемой гибели «старого режима».

Можно не сомневаться, что советский читатель откроет для себя немало важного и поучительного в этой умной и смелой книге и по достоинству оценит литературный талант и гражданское мужество ее творца.

---

[69] Литературные листки, журнал нравов и словесности, 1824, ч. 3—4. См.: Святловский Вл. Русский утопический роман. Пг., 1922, с. 35—36.

[70] Утренняя заря, альманах на 1840 год. СПб., 1840, с. 307—352. Более полная публикация: 4338-й год. Петербургские письма. М., 1926. См.: Сакулин П. Русская Икария. — Современник, 1912, кн. 12, с. 193—206.

ПРИМЕЧАНИЯ

Настоящий перевод сделан с новейшего французского издания романа: Mercier Louis-Sébastien. L'an deux mille quatre cent quarante. Rêve s'il en fut jamais. Ed., introd. et notes par Raymond Trousson. Bordeaux, 1971, — текст которого сверен с лондонским изданием 1771 г. В примечаниях использован ряд сведений, приведенных в комментариях Р. Труссона.

Эпиграф заимствован из сочинения немецкого философа Готфрида-Вильгельма Лейбница «Начала философии» (1720).

Предуведомление

[1] *Подобно Платону... предаюсь... мечтам...* — Имеется в виду трактат (диалог) Платона «Государство» (между 389 и 369 до н. э.).

Глава первая

[1] *Кладбище Невинно-убиенных...* — Кладбище основано не позднее X в., первоначально находилось вне Парижа, с конца XII в. оказалось в черте города, позднее — в его центральной части. Во времена Мерсье кладбище это обслуживало шестнадцать приходов и три больницы. В 1766 г. хоронить на нем было запрещено, но фактически оно было закрыто лишь в 1780 г. и упразднено пять лет спустя.

[2] *...три... театра.* — Речь идет о Королевской Академии музыки (Опере), Французском Театре (Комеди Франсез) и Итальянской Комедии. Первый из названных театров после пожара, уничтожившего в 1763 г. его здание, и вплоть до 1770 г. помещался в «машинном зале» Тюильри; труппа второго играла в старом здании на улице Фоссе-Сен-Жермен-де-Пре; Итальянская Комедия давала свои спектакли в бывшем помещении Бургундского отеля.

[3] *...какую-нибудь наперсницу...* — Наперсники в классической трагедии — приближенные героев и героинь, второстепенное, но совершенно обязательное амплуа.

[4] *Мом* — у древних греков олицетворение злословия и насмешки, изображался с бубенчиками или погремушкой.

[5] *...узкий партер... вплотную друг к другу...* — До начала 1780-х годов партер во всех парижских театрах был стоячим (и предназначался только для мужчин). В опыте «О театре» Мерсье с негодованием говорит о партере Французского Театра — «особенно невыносимом и губительном в летнюю жару, когда из него извлекают людей бесчувственных и бездыханных» ([Mercier L.-S.] Du théâtre. Amsterdam, 1773, p. 175).

[6] *...об этом превосходно сказал Руссо.* — Ср.: «Все столицы похожи друг на друга, там происходит невообразимое смешение народов и нравов; если кто желает изучить какую-нибудь нацию, пусть не едет в столицу. В моих глазах Париж и Лондон один и тот же город». — Руссо Ж.-Ж. Избр. соч., т. 1. М., 1961, с. 694 («Эмиль»); «Известно, что столицы не очень отличаются одна от другой — национальные характеры в них стираются и большею частию смешиваются под влиянием королевских дворов, всюду одинаковых, и под воздействием многочисленного и сплоченного светского общества, которое почти всегда одинаково во всем мире и в конце

концов берет верх над самобытными чертами национального характера». — Там же, т. 2, с. 198 («Новая Элоиза»).

Глава вторая

[1] *Крики на парижских улицах...* — Восходящая к давним временам традиция оповещения и зазывания покупателей и клиентов мелкими торговцами, разносчиками, ремесленниками, у каждой разновидности которых крики эти имели особое построение и особую интонацию. См.: Fournel V. Les cris de Paris. Paris, 1887.

[2] *Вы... считаете своим государем не Людовика XV...* — Людовик XV правил Францией с 1723 (номинально — с 1715) по 1774 г.

[3] *Енох и Илия... девятьсот лет.* — Согласно библейскому преданию, Енох прожил 365 лет и был взят богом на небо; унесен живым на небо был также пророк Илия; Мафусаил прожил 969 лет, и т. д.

[4] *Никола Фламель* (1330—1418) — копиист Парижского университета, известный своей благотворительной деятельностью. Легенда приписывает ему занятия алхимией, якобы увенчавшиеся проникновением в тайну философского камня и эликсира жизни, с помощью которых он обрел огромное богатство и бессмертие.

Глава третья

[1] *...непристойно... вешать себе на бок шпагу...* — Шпага с XVI в. являлась отличительным оружием дворянского сословия.

[2] *...полоска муслина...* — Муслин — хлопчатобумажная или шелковая ткань полотняного переплетения.

Глава четвертая

[1] *Карл VII, король Франции* (1403—1461) — правил с 1422 г., коронован в 1429 г. Жанной д'Арк.

[2] *...праздник тела господня.* — Католический праздник, установленный в 1264 г. папой Урбаном IV; отмечался (в первый четверг после Троицына дня) с большой пышностью и торжественностью. Об этом Мерсье писал подробно в «Картине Парижа». См.: Mercier L.-S. Tableau de Paris, t. 3. Nouv. éd. Amsterdam, 1782, p. 78—82 (далее: Tableau de Paris).

[3] *Не было здесь тех несчастных людей...* — О парижских носильщиках — мужчинах и женщинах — см.: Tableau de Paris, t. 4, p. 29—38.

Глава пятая

[1] *...нет ни откупщиков...* — Откуп государственных налогов частными лицами возник во Франции в XIII в. и просуществовал вплоть до революции 1789 г.; тема откупщика получила отражение в художественной литературе (см., например, «Графиню д'Эскарбаньяс» Мольера, «Тюркаре» Лесажа, «Персидские письма» Монтескье и др.).

[2] *...ни петиметров.* — Первоначально петиметрами называли молодых дворян, настроенных оппозиционно к королевской власти; позднее (конец XVII—первая половина XVIII в.) — светских щеголей, представителей «золотой молодежи».

[3] *Генрих IV* (1553—1610) — король Франции и Наварры; убит Ф. Равайаком. Деятельность его была направлена на укрепление национального единства и территориальной целостности Франции. Имя Генриха IV окружено легендой, представляющей его «народным королем»; идеализированный образ его получил воплощение во французском искусстве и литературе, особенно в просветительский период.

Глава шестая

[1] *...синие, красные и желтые ленты...* — Имеются в виду орденские ленты, к которым обычно прикреплялись крест или звезда.

[2] *У древних тщеславие... происхождение от богов.* — Об этом см., например: Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей. М., 1966, с. 6, 172.

[3] *...почетное положение... не покупается.* — В дореволюционной Франции широко практиковалась продажа должностей (и военных чинов), служившая абсолютистскому правительству одним из дополнительных источников дохода.

[4] *Ахилл* — согласно древнегреческим сказаниям, сын Пелея, царя мирмидонян, и морской богини Фетиды, наделенный красотой, ловкостью, несравненной силой и храбростью, добрый, великодушный, верный в дружбе.

[5] *Терсит* — простой греческий воин, вступивший в спор с Агамемноном и другими вождями на собрании войска под Троей и за это жестоко избитый Одиссеем; изображен в Илиаде болтливым, злобным, безобразным; по поздним сказаниям, был убит Ахиллом за клевету на него и надругательство над телом павшей царицы амазонок Пентесилеи.

[6] *Мидас* — мифический царь Фригии, славившийся несметными богатствами.

[7] *Плутос* — бог богатства у древних греков.

[8] *...шапками, только те были красными.* — Речь идет об одном из знаков отличия высших сановников католической церкви — кардиналов, который вручается им папой во время церемонии посвящения, в Ватикане.

Глава седьмая

[1] *Лувр, наконец, построен!* — Существующий с конца XII в. королевский замок, затем дворец, Лувр неоднократно перестраивался. Особенно значительной реконструкции подвергся он при Людовике XIV, когда по проекту Кл. Перро была сооружена его знаменитая колоннада. После 1680 г. строительство почти прекратилось, а в 1688 г. со смертью Перро было оставлено совсем. Такое положение сохранялось более шести десятилетий; впрочем, некоторое оживление строительства в 1754 г. не принесло сколько-нибудь существенных результатов. В 1770 г. Лувр являл собой печальное зрелище: фасад заслоняли обветшалые леса, горы гравия поднимались до второго этажа, двор был загроможден лавками торговцев. Начало работ по приведению дворца в порядок относится к 1772 г.; продолжались они до 1776 г. В предреволюционное время и в первые годы революции в Лувре проживали некоторые деятели французской культуры, помещались мастерские художников. В 1813 г. строительство ненадолго возобновилось; завершено оно было лишь в 1857 г. Именно тогда и осуществилось соединение Лувра с дворцом Тюильри, о котором мечтал Мерсье. См.: Vitet L. Le Louvre. — Rev. contemporaine, 1852, t. 3, p. 363—446.

[2] *Новый мост* — один из старейших мостов через Сену, строительство которого было окончено в 1607 г.; служил местом торговли и гуляний; в 1614—1635 гг. мост был украшен конной статуей Генриха IV (в 1792 г. была перелита на пушки; позднее восстановлена). См.: Fournier Ed. Histoire du Pont-Neuf. Paris, 1862.

[3] *...Лопиталя, Сюлли, Жаннена, Кольбера.* — Мишель де Лопиталь (1507—1573) — канцлер Франции в 1560—1568 гг. и главный управитель финансов, сторонник религиозной терпимости; Максимильен де Бетюн, барон де Рони, герцог де Сюлли (1559—1641) — сподвижник и друг Генриха IV, государственный секретарь, главный управитель финансов и смотритель дорог; Пьер де Жаннен (1540—1623) — президент Дижонского парламента, министр Генриха IV и Марии Медичи, способствовал подготовке Нантского эдикта; Жан-Батист Кольбер (1619—1683) — французский государственный деятель, министр Людовика XIV, осуществил ряд преобразований в экономике и управлении, всячески поощрял торговлю, покровительствовал наукам и искусствам.

Глава восьмая

[1] *Мост менял* — один из старейших парижских мостов, первоначально деревянный; в 1621 г. сгорел (пожар был вызван фейерверком); в 1639—1647 гг. на его место был построен каменный мост, просуществовавший до середины XIX в.

[2] *Коллеж четырех наций* — учебное заведение в Париже; создан по завещанию кардинала Дж. Мазарини (1602—1661) для выходцев из четырех провинций, присоединенных к Франции по Вестфальскому и Пиренейскому мирным договорам; открыт 1 октября 1688 г.; упразднен в период революции. См.: Franklin A. Recherches historiques sur le Collège des Quatre-Nations. Paris, 1862.

[3] *Городская ратуша...* — Сооружена в 1533—1605 гг. на Гревской (позднее Ратушной) площади. Гревская площадь — место празднеств и народных гуляний; на площади этой совершались также публичные казни.

[4] *...если бы стояли на площадях...* — Во времена Мерсье на Королевской площади находилась статуя Людовика XIII, на площади Победы и на Вандомской площади — статуи Людовика XIV, и т. д.

[5] *...фигуры закованных в цепи рабов...* — Четыре фигуры рабов украшали пьедестал статуи Людовика XIV на площади Победы.

[6] *Людовик XIV как-то сказал... турецкий.* — Об этом пишет Монтескье в «Персидских письмах» (письмо 37).

[7] *...нет на них раболепных надписей...* — Такими надписями (на латинском языке) были снабжены все статуи французских королей, воздвигнутые в Париже. См.: Description historique de Paris, t. 1. Paris, 1779, p. 66—73, 78—81, 84—88, 90—99, 107—108.

[8] *Бастилия* — крепость в Париже, построенная между 1370 и 1382 гг.; вскоре была превращена в королевскую тюрьму; взята восставшим народом 14 июля 1789 г. и разрушена; день этот явился первым днем революции и стал национальным праздником.

[9] *«...секретное предписание об аресте»...* — Подразумевается приказ, подписанный королем и министром с приложением государственной печати (термин впервые встречается в ордонансе 1560 г.). Эти предписания часто служили для расправы без суда и следствия с неугодными; нередко были предметом торговли; упразднены в период революции. См.: Funck-Brentano F. Les lettres de cachet. — Rev. des deux mondes, 1892, t. 113, p. 821—853.

[10] *...азиатских удавок.* — Имеются в виду шелковые веревки, при помощи которых осуществлялась расправа с неугодными в средневековой Турции. См.: Nouveau dictionnaire pour servir du supplément aux dictionnaires des sciences, des arts et des métiers, t. 2. Amsterdam, 1776, p. 601. — Сопоставление азиатских удавок и секретных предписаний об аресте выдержано в духе «Персидских писем».

[11] *Тюильри* — сад, разбитый при Генрихе IV, впоследствии заново устроен по проекту А. Ленотра; первоначально народ допускался в этот королевский сад один раз в год, в день св. Людовика: позднее вход в него был разрешен всем, кроме солдат, лакеев и плохо одетых людей; за пользование скамейками взималась плата.

[12] *Площадь Людовика XV* — была оформлена в середине XVII в. по проекту архитектора Ж.-А. Габриэля; ныне — площадь Согласия.

[13] *«...конного памятника».* — Статуя Людовика XV, изображавшая короля в виде римского императора, была установлена на площади его имени в 1763 г. (скульптор Э. Бушардон; завершено Ж.-Б. Пигалем). Статуя (особенно лошадь и фигуры, поддерживавшие пьедестал), а также ее местоположение (непомерно большая площадь) вызывали критические замечания и насмешки (см.: Description historique de Paris, t. 1, p. 105). Уничтожена в 1792 г.

[14] *Депарсье Антуан* (1703—1768) — французский математик и изобретатель, составил проект водоснабжения Парижа из реки Иветт (1762).

[15] *Городская больница* — старейшая парижская больница, основана в 600 г.; в середине XVIII в. число больных в ней доходило до пяти и даже шести тысяч — при 1200 местах.

[16] *Приют для бедных* — основан в 1656 г., включал несколько благотворительных учреждений: собственно приют для бедных (Сальпетриер), Бисетр — приют для престарелых, исправительную тюрьму и дом умалишенных и др.

[17] *...пытка Мезенция...* — Пытка, изобретенная легендарным этрусским царем Мезенцием; состояла в том, что жертву привязывали к трупу. Об этом рассказывает Вергилий в «Энеиде» (кн. 8, ст. 485).

[18] *Роскошь... разъедала самые здоровые члены тела нашего государства...* — Отклик на так называемый «спор о роскоши», волновавший французское общество с 20-х годов XVIII в. В середине столетия главным защитником «роскоши», в которой он видел одно из необходимых условий материального прогресса и процветания нации, был Вольтер, а ее основным противником — Ж.-Ж. Руссо.

[19] *...заставить нищих работать...* — Нищенство и бродяжничество преследовались на протяжении всей французской истории; известно множество королевских ордонансов и парламентских постановлений, осуждавших нищих и бродяг; неоднократно делались попытки принудить их к оседлой жизни и систематическому труду.

[20] *...количество жителей королевства...* — В середине XVIII в. население Франции составляло 21 млн, население Парижа превышало 650 тыс. человек. Ср. в «Эмиле» Руссо: «Дурное распределение населения... вредит интересам государства» (Руссо Ж.-Ж. Избр. соч., т. 1, с. 696).

[21] *...пороховой склад... в самом центре города?* — Арсенал, в котором находился и пороховой склад; официально он был ликвидирован в 1788 г., фактически же — только в начале XIX в.

Глава девятая

[1] *...один чиновник...* — Антуан-Реймон-Жан-Гальбер-Габриэль де Сартин (1729—1801), в 1759—1774 гг. возглавлял парижскую полицию; позднее — морской министр.

Глава десятая

[1] *Ювенал не был себялюбивым сатириком, подобно льстецу Горацию или этому плоскому Буало.* — Децим Юний Ювенал (50—60-е годы I в.—после 127) — римский сатирик, поэтическое наследие которого пользовалось большим сочувствием передовых кругов предреволюционной Франции. Созвучная их устремлениям обличительная, «негодующая» сатира Ювенала нередко противопоставлялась в это время «смеющейся» сатире другого римского поэта — Квинта Горация Флакка (65—8 до н. э.), направленной против ложных путей к счастью, погони за мнимыми благами и т. п. «Льстецом» Горация называли, имея в виду его четвертую книгу од, в которых содержалось прославление Августа и его политики. См., например, сравнение Ювенала и Горация в предисловии Дюзо к его переводу сатир Ювенала: «Гораций больше склонен был нравиться, нежели исправлять... Никто лучше него не понял могущество лести... Ювенал сделал для современных нравов и свободы то, что Гораций для приличий и хорошего вкуса... В своих творениях Гораций предстает перед нами ловким царедворцем, Ювенал — настоящим гражданином» (Satires de Juvénal trad. par M. Dusaulx, t. 1. Paris, 1770, p. IV—XV). Никола Буало-Депрео (1636—1711) — французский поэт и теоретик классицизма, особенно знаменит стихотворным трактатом «Поэтическое искусство». Сатирическое творчество Буало (ему принадлежит 12 сатир) лишено политической направленности и обличительной силы; отсюда осуждение им «крайностей» Ювенала — при полном сочувствии Горацию («Гораций умерял веселым смехом гнев»). Эта умеренность Буало и узость его эстетических представлений, а также его близость ко двору Людовика XIV и подразумеваются в данном фрагменте.

[2] *...министр юстиции, придворный злодей, говорит...* — Цитируются слова Баланса, обращенные к откупщику Вольсану из 4-й сцены 2-го акта драмы Ж. Фонтен-Малерба «Бракосочетание королевского сына, или Наставник» (1770).

[3] *...всякое сочинение пропускалось у нас как бы через сито...* — Речь идет о цензурном гнете, препятствовавшем свободному развитию просветительской мысли в дореволюционной Франции. Надзор над всей книжной продукцией осуществлялся «королевскими цензорами»; предварительной цензуре подлежала также каждая театральная пьеса.

Глава одиннадцатая

[1] *Цицерон* Марк Туллий (106—43 до н. э.) — древнеримский оратор, писатель, политический деятель. Об отношении к нему в эпоху Просвещения см.: Gawlick G. Cicero and the Enlightenment. — Studies on Voltaire and Eighteenth century, vol. 25. Genève, 1963, p. 657—682.

[2] *...своего зоила...* — Имя Зоил, принадлежавшее древнегреческому грамматику IV—III в. до н. э., сделалось нарицательным для обозначения пристрастного, недоброжелательного критика.

[3] *...котурн Корнеля... на голове Ришелье.* — Арман Жан дю Плесси де Ришелье (1585—1642) — кардинал, французский государственный деятель, фактический правитель Франции при Людовике XIII; всячески покровительствовал литераторам, выступившим против Пьера Корнеля в ходе дискуссии в связи с появлением его трагедии «Сид» (1637); оказывал давление на Французскую Академию при подготовке «Мнения... о трагикомедии „Сид"». См.: Collas G. Richelieu et le «Cid». — Rev. d'histoire littéraire de la France, 1936, p. 568—572.

[4] *...окажутся головы и в митрах, и без оных...* — Речь идет о церковных и правительственных гонениях, которым подвергались Ж.-Ж. Руссо и Вольтер.

[5] *...Бюффона, Мирабо и других.* — Жорж-Луи Леклер, граф де Бюффон (1707—1788) — французский естествоиспытатель и писатель; Виктор Рикетти, маркиз де Мирабо (1715—1789) — французский экономист.

[6] *«Энциклопедия»* — «Энциклопедия, или Всеобщий словарь наук, искусств и ремесел», выдающийся памятник французской просветительской мысли; издавалась в 1751—1772 гг. группой писателей и ученых во главе с Дидро и Даламбером; дважды издание приостанавливалось правительством, в 1759 г. оно было осуждено Ватиканом. См.: Proust J. L'Encyclopédie. Paris, 1965.

[7] *...напыщенном пиите...* — Имеется в виду Жан-Батист Руссо (1670—1741). «Философская школа» относилась к нему неприязненно, особенно непримиримым его противником был Вольтер; представители антипросветительского лагеря называли его «современным Горацием» и «великим Руссо». См.: Grubbs H. A. The Vogue of Jean-Baptiste Rousseau. — PMLA, 1940, vol. 55, № 1, p. 139—166.

Глава двенадцатая

[1] *Королевская Академия надписей* — основана в 1663 г. Кольбером для сочинения надписей к памятникам и медалям (отсюда ее первоначальное название — Академия надписей и медалей); с 1716 г. — Королевская Академия надписей и изящной словесности; в ведении ее находились история, археология, лингвистика; упразднена в 1793 г., восстановлена в эпоху Реставрации.

[2] *...о голове Анубиса, об Осирисе...* — Анубис, в верованиях древних египтян, — покровитель загробного мира; изображался в виде волка, шакала или человека с головой шакала. Осирис — бог преисподней, в позднейшие времена египетской культуры — верховное божество.

[3] *Демосфен* (384—322 до н. э.) — древнегреческий оратор, особенно прославился речами против Филиппа, царя македонского («филиппики»); сочетал в себе совершенное владение искусством красноречия и пламенный пафос борца.

[4] *Французский язык повсюду взял верх.* — Обязательное обучение древним языкам (при весьма архаической системе преподавания) в ущерб языку родному вызывало протест во французских просветительских кругах. К 1770 г. положение

несколько изменилось: французский язык вытеснил латынь в преподавании некоторых дисциплин, но до окончательной его победы было еще очень далеко.

[5] *Сначала сделаны были переводы... древних авторов.* — Отзвук так называемого спора «древних» и «новых», возникшего в 80-х годах XVII в. и продолжавшегося до конца XVIII в. Мерсье склоняется к точке зрения «новых» с их предпочтением современной литературы литературе античной и переводов — изучению древних авторов в оригинале.

[6] *Тит Ливий* (59 до н. э.—17 н. э.) — древнеримский историк, автор монументального произведения «От основания города»; труд его в течение долгого времени оставался важнейшим источником сведений о республиканском периоде римской истории и образцом художественной историографии.

[7] *...итальянский, английский, немецкий и испанский.* — Впоследствии Мерсье изменил точку зрения и рекомендовал отказаться от изучения иностранных языков как от излишней роскоши. См.: Berkowe L. Louis-Sébastien Mercier et l'éducation. — Modern Language Notes, 1964, vol. 79, № 5, p. 509—510.

[8] *Сорбонна, эта старшая дочь королей?* — Сорбонна — парижский университет, старейший в Европе, основан в 1253 г. Робером де Сорбоном. «Старшей дочерью королей» ее впервые назвал французский король Карл V. К середине XVIII в. Сорбонна сделалась центром мракобесия; закрыта в 1794 г., воссоздана в 1808 г. См.: Jourdain Ch. Histoire de l'Université de Paris au XVII et XVIII siècle. Paris, 1862.

[9] *...тошнотворное, варварское наречие... язык века Августа.* — Тошнотворное, варварское наречие — средневековая схоластическая латынь, употреблявшаяся в научном обиходе, медицине и т. д.; язык века Августа — латинский язык начала классического периода.

[10] *Французская Академия* — основана в 1634 г. кардиналом Ришелье; академики («бессмертные») избирались пожизненно, пополнение академии происходило только в случае смерти одного из сорока ее членов, причем сам претендент выдвигал свою кандидатуру. С 1673 г. церемония приема новых академиков стала публичной (женщины не допускались на нее до 1703 г.); с 1683 г. присутствие на заседаниях оплачивалось (так называемая система жетонов, при которой каждый присутствовавший получал небольшое вознаграждение). В состав Академии входили многие выдающиеся деятели литературы и культуры (хотя и далеко не все — среди них не было Мольера, Ж.-Ж. Руссо, Дидро и др.), но также и представители аристократии и духовенства, ничем себя не прославившие. В течение долгого времени Академия помещалась в Лувре; в 1793 г. была упразднена, позднее восстановлена и существует поныне. См.: Gaxotte P. L'Académie française. Paris, 1965.

[11] *Военная школа* — готовила офицеров для французской армии; создана в 1753 г., первоначально находилась в Венсенне, в 1756 г. обосновалась в построенном для нее здании на Марсовом поле; существовала до 1793 г.

[12] *Лучшая из этих книг...* — Имеется в виду «Эмиль» Руссо; книга увидела свет 24 мая 1762 г., вскоре была запрещена, а 11 июня публично сожжена.

[13] *Когда в Париже только еще появилось книгопечатание... «Начала» Евклида...* — Первая типография в Париже была устроена в 1470 г. «Начала геометрии» Евклида во французском издании на латинском языке вышли в 1516 г., в переводе на французский — в 1564 г.

[14] *Стиль — это человек...* — Ставшие афоризмом слова из «Речи о стиле» Бюффона, произнесенной 25 августа 1753 г. по случаю избрания его во Французскую Академию.

[15] *...история есть повар человечества...* — Мысль эта перекликается с суждением Руссо в романе «Новая Элоиза» (кн. 1, письмо 12). Впоследствии Мерсье пересмотрел свою точку зрения. В предисловии к «Истории Франции» он, между прочим, писал: «Можно до некоторой степени пренебрегать историей древней... но новая история приносит несравненно больше реальной пользы, она проливает свет на многие события сегодняшнего дня и позволяет нам их понять, ибо исторические факты — звенья одной цепи, тесно между собой связанные, и весьма трудно, даже сейчас, от этого уйти» (Mercier L.-S. Histoire de France, t. 1. Paris, 1802, p. I—III).

[16] *Фарамон* — легендарный первый король франков.

[17] *Мы ни в грош не ставим метафизику...* — В старой, домарксовой философии под метафизикой понимали ту часть философии, которая трактовала вопросы, выходящие за пределы опыта (о боге, душе, свободе воли и т. п.); термин буквально означает «после физики» — поскольку в сочинениях Аристотеля учение о философии помещалось систематизаторами их после учения о физике.

Глава тринадцатая

[1] *...во дворце...* — Имеется в виду дворец кардинала Ришелье (Пале-Кардиналь), построенный в 1629—1634 гг. по проекту архитектора Ж. Лемерсье. В 1636 г. Ришелье подарил дворец Людовику XIII, но не покидал его до смерти (1642), после чего он перешел в собственность королевской семьи и получил наименование Пале-Рояль; с 1692 г. принадлежал Филиппу Орлеанскому, регенту Франции, затем перешел к его сыну Филиппу-Эгалите; при нем (в 1781—1786 гг.) к дворцу была пристроена галерея, где помещались кафе, игорные заведения и т. п.

[2] *Хирургия... в мире с врачеванием...* — Возникшая в глубокой древности хирургия на протяжении многих веков не считалась отраслью медицины, и на занятия хирургией смотрели как на недостойные врача. Во Франции хирургия была уравнена в правах с собственно медициной лишь в 1743 г.

[3] *...корыстолюбивые, бесчеловечные шарлатаны...* — О современной медицине как о «вошедшем в доверие дерзком шарлатанстве» Мерсье писал позднее (Tableau de Paris, t. 2, p. 95—101); там же см. уничтожающую характеристику медицинского факультета Сорбонны (p. 102—105).

Глава четырнадцатая

[1] *Дворец прививок.* — В главе идет речь о первоначальном способе оспопрививания — вариоляции, издавна известной в Африке и на Дальнем Востоке, впоследствии получившей распространение в Турции и — через ее посредство — в ряде европейских стран, в первую очередь в Англии (1720-е годы). Во Франции способ этот стал применяться значительно позднее: по крайней мере в статье «Оспопрививание», помещенной в восьмом томе «Энциклопедии» (1765), видный швейцарский врач (друг Вольтера, Руссо и Дидро) Т. Троншен всячески настаивал на этой «важной и полезной практике» и призывал правительство оказать ей поддержку.

[2] *Плутон* — владыка подземного мира и царства мертвых в представлении древних греков.

Глава пятнадцатая

[1] *Фемида* — у древних греков богиня права, законного порядка и предсказаний; изображалась с повязкой на глазах (символ беспристрастия), с рогом изобилия и весами в руках.

[2] *Имена Ликургов, Солонов...* — Ликург — легендарный спартанский законодатель IX в. до н. э.; Солон (ок. 640—ок. 558 до н. э.) — афинский законодатель и государственный деятель.

[3] *Новый свет воссиял нам с далекого Севера...* — Слова эти перекликаются с известным стихом из послания Вольтера «Российской императрице Екатерине II» (1771) — «C'est du Nord aujourd'hui que nous vient la lumière».

[4] *...издание «Наказа» Екатерины II.* — Написанный Екатериной II «Наказ» — руководство для Комиссии по составлению нового Уложения (1767) — образец «словесного либерализма» русской императрицы; был издан в Голландии в 1771 г., во Франции распространению книги воспрепятствовала цензура; сообщение Мерсье о том, что книга была сожжена, недостоверно.

Глава шестнадцатая

[1] *...с увещевательным письмом...* — Такие письма адресовались консисторским судьей прихожанам с целью получить от них сведения о совершенном преступлении.

[2] *«Трактат о преступлениях и наказаниях»...* — Точнее, трактат «О преступлениях и наказаниях» (1764) итальянского юриста-просветителя Чезаре Беккариа, оказавший огромное воздействие на европейское уголовное законодательство. Мерсье приводит его французское заглавие (перевод аббата Морелле)

[3] *...государи охотнее приходят к согласию, когда речь идет о преследовании иезуитов.* — Ввиду вмешательства иезуитов в политическую и государственную жизнь ряда стран по ходатайству их правительства папа Климент XIV в 1773 г. запретил этот орден; однако фактическая деятельность его не прекратилась, а в некоторых странах была и весьма активной.

[4] *Агесилай* — Имеется в виду Агесилай II (ок. 442—358 до н. э.), спартанский царь, выдающийся полководец и мудрый правитель; приведенный эпизод Мерсье мог заимствовать из кн.: Les Apophtegmes des anciens... Paris, 1664, p. 143.

[5] *«Векфилдский священник»* — роман английского писателя О. Голдсмита (1766); в 1768 г. был издан во французском переводе, которым, по-видимому, и пользовался Мерсье. Текст примечания представляет собой изложение одного из фрагментов гл. 8 второго тома этого издания (Le Ministre de Wakefield, histoire supposee écrite par lue-même, t. 2. Londres—Paris, p. 85—86). К тому же источнику восходят и заключительные строки основного текста данной главы романа Мерсье.

Глава семнадцатая

[1] *...молинисты или янсенисты?* — Речь идет о враждовавших между собой течениях внутри французского католицизма; молинизм (от имени испанского богослова Луиса Молины, 1535—1601) — разновидность католической реакции; янсенизм (от имени голландского богослова Корнелия Янсения, 1585—1638) являлся формой оппозиции абсолютизму. Первая янсенистская община возникла во Франции в 1636 г. в монастыре Пор-Рояль, вокруг нее группировались богословы, проповедники, ученые; в начале XVIII в. янсенизм в результате правительственных и церковных преследований прекратил свое существование.

[2] *...капуцины... кордельеры... кармелиты...* — монашеские ордена.

[3] *...никогда не быть мужчинами...* — Обет безбрачия предписан католической церковью всем священнослужителям; уничтожен во Франции в революционный период, позднее восстановлен.

[4] *...их заставляли вступать на поприще, о котором они не имели понятия...* — В феодально-абсолютистской Франции духовная карьера нередко оказывалась уделом не имевших права на наследство младших сыновей дворян, если они не годились к военной службе и не располагали средствами для покупки государственных должностей.

[5] *Лютер* Мартин (1483—1546) — немецкий богослов, проповедник, церковный реформатор; против обязательного безбрачия священников выступал неоднократно, например в послании «К христианскому дворянству немецкой нации» (1520).

[6] *...так много красивых молодых девушек...* — Тема эта получила художественное воплощение в ряде литературных произведений; особенно известен роман Дидро «Монахиня» (1760, напечатан в 1796 г.); сам Дидро называл его «страшнейшей сатирой против монастырей» (см.: Diderot D. Correspondance, t. 15. Paris, 1970, p. 191).

[7] *Она была рождена... бесплодной.* — Ср. «Персидские письма», письмо 117: «Промысел безбрачия уничтожил больше людей, чем все моровые язвы и самые кровопролитные войны. В каждом монастыре видишь вечную семью, в которой никто не родится и которая существует за счет других семей. Монастыри зияют, точно бездны, где погребаются будущие поколения» (здесь и далее цит. по кн.: Монтескье. Персидские письма. М., 1956).

[8] *Кого это вы называете римским епископом?* — Титул «папа» до конца V в. употреблялся как почетное наименование всех епископов, с конца V в. он относился по преимуществу к римскому епископу, с 1075 г. — исключительно к нему.

[9] *...каноникат, буллы, бенефиции...* — Каноникат — должность каноника, т. е. штатного священнослужителя кафедрального собора; буллы — грамоты, рассылаемые от имени римского папы; бенефиции — церковные должности, дающие права на недвижимое имущество и доходы с него.

[10] *Мы уже не целуем туфлю наместнику некоего апостола...* — Имеется в виду обычай во время аудиенции у римского папы целовать его туфлю; папа традиционно считается наместником апостола Петра.

[11] *...за индульгенции...* — Так назывались грамоты, выдававшиеся католической церковью в знак отпущения грехов верующих; служили предметом купли и продажи; нападки на индульгенции были одним из первых моментов реформационного движения.

[12] *...непогрешимость муфтия... на Венгрию.* — Муфтий (точнее — Великий муфтий) — высшая духовная должность в средневековой Турции; возможно, что далее идет речь о венгерском походе Амурата III (1594). См.: Cantimir D. Histoire de l'empire ottoman, t. 3. Paris, 1743, p. 48.

[13] *...этой частью Италии...* — С 756 г. и вплоть до 1871 г. Рим и значительная часть Средней Италии находились под светской властью пап (так называемая Папская область).

[14] *Титов и Марков Аврелиев...* — Тит Флавий Веспасиан (39—81) — римский император. Марк Аврелий Антонин (121—180) — римский император, философ-стоик; оба — в традиционном представлении — образцы мудрых правителей.

[15] *...чудовищ в человеческом обличьи* — Здесь подразумеваются такие прославившиеся своей жестокостью и развращенностью римские императоры, как Тиберий (43 до н. э.—37), Клавдий (10 до н. э.—54), Нерон (37—68) и др.

Глава восемнадцатая

[1] *Кого же причисляют ныне к святым?* — Имеется в виду посмертная канонизация людей, пострадавших за веру, прославившихся благочестием или оказавших большие услуги церкви.

[2] *...советник парламента...* — Парламент — во Франции XIII—XVIII вв. высшее судебное учреждение, наделенное также большими политическими правами.

[3] *...не облекаем их трупы в скверный металл...* — Речь идет о почитании мощей «святых» (традиция ведет свое начало от первых времен христианства).

Глава девятнадцатая

[1] *О Высшем существе... им самим.* — Источник цитаты не установлен. Здесь и далее стихотворные фрагменты даются в переводе А. А. Энгельке.

[2] *монах-картезианец...* — Монашеский орден картезианцев был основан в 1084 г.; утвержден папой в 1170 г.; устав его предписывал монахам весьма суровый образ жизни (соблюдение строгих постов, молчание и т. п.).

[3] *Никакой мирской, никакой развлекательной музыки.* — По сведениям, приведенным в «Картине Парижа», церковная служба во времена Мерсье нередко сопровождалась и музыкой светской, в частности танцевальной (Tableau de Paris, t. 2, p. 81).

[4] *...не должен человек оставаться праздным...* — Нечто подобное утверждал в «Философском словаре» Вольтер, видевший в этой «узаконенной праздности» следствие варварства и рабства и всячески настаивавший на необходимости и святости труда.

[5] *...ветхозаветные патриархи...* — Согласно библейскому преданию, родоначальники еврейского народа; странническая жизнь вынуждала их менять место богослужения, которое совершалось на вершинах гор, в дубравах и т. д.

[6] *...бесконечная цепь разнообразных миров...* — Тема эта вошла во французскую литературу с появлением «Бесед о множестве миров» Фонтенеля (1686), где в «галантной» манере были изложены новейшие достижения математики и астрономии.

[7] *Еще Пифагор заметил... в другое...* — Имеется в виду одна из форм представлений о загробной жизни, в соответствии с которой человеческая душа после смерти тела возрождается в другом человеке, животном или растении (метемпсихоз).

Глава двадцатая

[1] *...первого из апостолов.* — Имеется в виду св. Петр.

Глава двадцать первая

[1] *Монтескье где-то говорит...* — В «Персидских письмах (письмо 125).

[2] *«...свою жизнь!»* — Весь этот фрагмент (от начала главы) навеян «Мыслями» (разд. 2, § 72) французского философа, писателя и математика Блеза Паскаля (1623—1662).

[3] *...одного святого...* — Франциска Ассизского (1182—1226).

[4] *...на языке, которого не понимал...* — Католическое богослужение совершалось — и совершается поныне — на латинском языке.

[5] *...китайских мандаринах...* — Об атеизме китайцев еще в 1704 г. писал Пьер Бейль (Bayle P. Oeuvres diverses, t. 3. La Haye, 1727, p. 397—398); Вольтер неоднократно полемизировал с этой точки зрения, приписывая китайцам деистические воззрения и философскую мораль. См. об этом: Державин К. Н. Китай в философской мысли Вольтера. — В кн.: Вольтер. Статьи и материалы. Л., 1947, с. 95—98.

[6] *Это говорилось уже множество раз...* — «Естественная религия» складывалась во Франции постепенно, с конца XVII в.; наиболее полное обоснование получила у Вольтера, Руссо и Дидро.

Глава двадцать вторая

[1] *...Варфоломеевскую ночь... на ее земле...* — В ночь на 24 августа (по католическому календарю — день св. Варфоломея) 1572 г. в Париже произошла кровавая резня, в которой было истреблено более двух тысяч протестантов-гугенотов, собравшихся в столицу по случаю бракосочетания Генриха Наваррского (будущего Генриха IV) и Маргариты Валуа; главной вдохновительницей резни явилась мать короля Карла IX — Екатерина Медичи; убийства продолжались еще несколько дней, затем перекинулись в провинцию; в общей сложности погибло около 25 000 человек. Нантский эдикт — указ Генриха IV, обнародованный 13 апреля 1598 г., — легализировал во Франции протестантизм; отменен 18 октября 1685 г. Людовиком XIV, что положило начало новым гонениям на протестантов, по существу остававшихся во Франции вне закона вплоть до революции. Мудрецы, о которых говорит Мерсье, — это французские гуманисты Э. Доле, сожженный на костре 5 августа 1546 г., П. Рамус, убитый 26 августа 1572 г., но также и его современники — Руссо, Вольтер, энциклопедисты и многие другие.

[2] *Англия, отрекаясь от своего изуверства, от обеих своих роз...* — Имеются в виду феодальные распри, война Белой и Алой роз — иными словами, борьба Йорков и Ланкастеров (между 1455 и 1485 гг.), окончившаяся с гибелью последнего из Йорков — короля Ричарда III, а также некоторые события и эпизоды английской революции XVII в.

[3] *...секты Гомара и Арминия и казнь достойного Барневельта.* — Франц Гомар (1563—1641) — голландский богослов; Якоб Арминий (1560—1609) — голландский богослов, глава секты ремонстрантов; Гомар боролся против Арминия и его последователей и в конце концов добился их отлучения от реформатской церкви. Ян ван Барневельт (1547—1619) — голландский политический и государственный деятель, стал на сторону арминиан, за что был предан суду и обезглавлен.

[4] *...Германия... со стыдом вспоминала историю своих внутренних раздоров... и богословские страсти...* — Речь идет о Крестьянской войне 1525 г., реформационном движении, Тридцатилетней войне (1618—1648).

[5] *...презренных конфедератов...* — Подразумеваются участники временных союзов (конфедераций), создававшихся польской шляхтой для определенных политических целей; особое значение конфедерации приобрели в XVI—XVIII вв., в условиях ослабления королевской власти и сейма. В отличие от Мерсье, Ж.-Ж. Руссо относился к конфедерациям с большим сочувствием как к единственному средству сохранения и укрепления польского государства. См. его «Рассуждение об образе правления в Польше», гл. 9.

[6] *Испания, еще более преступная...* — Имеется в виду испанская колонизация в XVI в. Центральной и Южной Америки, сопровождавшаяся насильственным обращением в христианство, ограблением и истреблением туземных племен, варварским уничтожением их древней культуры.

[7] *...животных... лакать человеческую кровь.* — Речь идет о собаках, которых испанские завоеватели широко использовали для преследования и истребления индейских племен.

[8] *Какую книгу можно было бы написать о европейцах в Новом Свете!* — Первая книга на эту столь волновавшую французских просветителей тему появилась почти одновременно с романом Мерсье — «Философская и политическая история поселений и торговли европейцев в обеих Индиях» Г.-Т. Рейналя (1770).

[9] *Италия, принесшая миру столько бед...* — Речь идет о католической церкви.

[10] *...нации, что разбила оковы, в которых она томилась по воле своих тиранов.* — Подразумевается Швейцария, возникшая в результате длительной борьбы швейцарских кантонов за свою независимость против гнета австрийских феодалов; начало Швейцарской конфедерации было положено объединением в 1291 г. трех кантонов — Ури, Швица и Унтервальдена; во времена Мерсье их насчитывалось 13.

[11] *Телль* Вильгельм — легендарный швейцарский стрелок, герой национально-освободительной борьбы.

[12] *...преступным городом... ангел смерти...* — Согласно библейскому преданию, города Содом и Гоморра за грехи своих жителей были уничтожены огненным дождем и землетрясением; ангел смерти истребил первенцев египетских семей (десятая казнь египетская).

[13] *...великодушных квакеров...* — Имеется в виду религиозная секта, возникшая в XVII в. в Англии; свобода неграм была дарована квакерами в 1734 г. на территории основанной ими в Северной Америке колонии — Пенсильвании.

Глава двадцать третья

[1] *...уставы корпораций...* — В дореволюционной Франции насчитывалось более 100 различных корпораций, объединявших ремесленников и торговцев; деятельность их была строго регламентирована, функции разграничены; между корпорациями постоянно возникали распри и судебные тяжбы.

[2] *Г-н Ленге... над глупыми книготорговцами...* — Упоминаемая брошюра французского адвоката и публициста Симона-Никола-Анри Ленге (1736—1794) была написана в 1769 г. в защиту П.-Ж.-Ф. Люно де Буажермена, автора многих учебников и учебных пособий, который, полагая, что издание их обогащает лишь книготорговцев, сделал попытку отказаться от обычного способа их распространения; попытка эта вызвала протест корпорации книготорговцев, добившейся осуждения Люно де Буажермена. См.: Linguet S.-N.-H. Mémoires et plaidoyers, t. 3. Amsterdam, 1773, p. 80—466.

[3] *...коварный напиток...* — Для улучшения вкусовых качеств вина к нему во времена Мерсье часто примешивали окись свинца, что делало вино ядовитым. Об этом с возмущением писал Руссо в «Эмиле» (кн. 3).

[4] *У нас интересы хлебопашца и потребителя уравновешены...* — Здесь и далее Мерсье подвергает критике (впрочем, сравнительно сдержанной) воззрения физио-

кратов, оказавшие некоторое воздействие на французскую экономическую мысль и политику. Убежденные в том, что только земледельческий труд является производительным, физиократы выдвигали в качестве основной задачи развитие сельского хозяйства; программа их предполагала поощрение высоких хлебных цен и свободу вывоза хлеба за границу.

[5] *...один ревностный гражданин...* — На строительстве во Франции разветвленной сети каналов всячески настаивал Ленге. См.: Linguet S.-N.-H. Canaux navigables, ou Développement des avantages qui résulteraient de l'exécution de plusieurs projets en ce genre pour la Picardie, l'Artois, la Bourgogne, la Champagne et toute la France en général. Amsterdam—Paris, 1769.

[6] *Этот пресловутый закон...* — Закон о свободном вывозе хлеба за границу был принят 18 июля 1764 г.; следствием его явилось повышение хлебных цен, голод, народные волнения и т. п. 14 июля 1770 г. закон был отменен.

[7] *«Они... соки из народа».* — Мерсье цитирует сочинение Ленге «Письма о теории гражданских законов» (Linguet S.-N.-H. Lettres sur la théorie des lois civiles. Paris, 1770, p. 14). Ленге был противником учения физиократов. См.: Linguet S.-N.-H. Du pain et du bled. Londres, 1774.

[8] *«Эфемериды»* — «Ephémérides du citoyen», ежемесячное издание, выходившее с 1765 по 1772 г. под редакцией аббата Бодо; с 1767 г. — орган физиократов.

[9] *...hic labor, hoc opus.* — Неточная цитата из «Энеиды» Вергилия (кн. 6, ст. 129: «вот в чем задача, в чем труд»).

[10] *...бесправный в жалкой доле своей... быка.* — Ср. образ крестьянина в «Характерах» Лабрюйера: «Порою на полях мы видим каких-то диких животных мужского и женского пола: грязные, землисто-бледные, иссушенные солнцем, они склоняются над землей, копая и перекапывая ее с несокрушимым упорством; они наделены, однако, членораздельной речью и, выпрямляясь, являют нашим глазам человеческий облик; это и в самом деле люди» (Лабрюйер Жан де. Характеры, или Нравы нынешнего века. М.—Л., 1964, с. 263).

[11] *...напоминая о бойне.* — Подробнее об этом см.: Tableau de Paris, t. 1, p. 123—129. — За городскую черту бойни были вынесены специальным декретом Наполеона I (1810).

[12] *Банья* — торгово-ростовщическая каста в Индии. Сведения о ней Мерсье почерпнул во «Всеобщей истории путешествий» (Histoire générale des voyages, t. 10. Paris, 1753, p. 65, 260—262).

Глава двадцать четвертая

[1] *...бессмысленного изобилия еды...* — Сходная мысль присутствует в «Эмиле» Руссо (кн. 4).

[2] *...то, что написали об охоте Монтень, Руссо...* — Французский писатель и философ Мишель Эйкен Монтень (1533—1592) в своих «Опытах» (кн. 2, гл. 11) решительно осуждал охоту; Руссо с неодобрением отзывался об охоте-убийстве ради забавы в «Эмиле» (кн. 4).

Глава двадцать пятая

[1] *...презренном и грязном балагане.* — Имеется в виду Комеди Франсез, единственный тогда в Париже национальный драматический театр; с момента основания (1680) он представлял собой актерское товарищество (société); отсюда сравнительно благополучное материальное положение актеров этого театра, в особенности так называемых «сосьетеров» (см.: Alasseur Cl. La Comédie-Française au 18-e siècle, étude économique. Paris, 1967, chap. 2, 5). В эпоху Мерсье состав группы Комеди Франсез был очень сильным; достаточно назвать такие актерские имена, как Лекен, Кино-Дюфрен, Моле, м-ль Клерон и Дюмениль.

[2] *...гнусными фарсами.* — Пренебрежительное отношение к фарсовому театру характерно для многих французских просветителей; отчасти оно было оправдано невысоким художественным уровнем его репертуара, что в значительной мере явля-

лось следствием цензурных преследований и нажима со стороны привилегированных театров.

[3] *...у Николе...* — Подразумевается театр, принадлежавший Жан-Батисту Николе (1728—1796); возник он в 1759 г., первоначально в нем давались танцевальные представления, акробатические номера и т. п., затем в его репертуаре начали появляться короткие комические пьески; несмотря на всевозможные налагавшиеся на него запреты (об одном из них и упоминает Мерсье), театр привлекал многочисленную, по преимуществу демократическую, публику. См.: Cain G. Anciens théâtres de Paris. Paris, 1906, p. 4—8.

[4] *Сколько презрения к бедному люду!* — С еще большей отчетливостью Мерсье выразил эту мысль в опыте «О театре», в гл. 20: «Должен ли драматический поэт творить для народа?».

[5] *...каждое полустишие...* — В обязательном для французской классической трагедии двенадцатисложнике после шестого слога стояла цезура, которая делила стих на два равные полустишия.

[6] *...школу, в коей обучаются добродетелям и гражданским доблестям.* — Та же формула — в предисловии к драме Мерсье «Женневаль, или Французский Барневельт» (1769).

[7] *...живописать современные нам, нынешние нравы.* — Аналогичные требования содержатся в опыте «О театре», а также в предисловиях к драмам Мерсье «Судья», «Хильдерик I», «Тележка уксусника», «Мольер» и др.

[8] *Направо — Талия... Налево — Мельпомена...* — Талия — муза комедии, изображалась в виде юной девушки с комической маской в левой руке; Мельпомена — муза трагедии, изображалась высокой женщиной в театральной мантии, с трагической маской в одной и с мечом или палицей в другой руке.

[9] *Сцена представляла собой полукружие...* — Господствовавшей во французской театральной архитектуре «аристократической» ярусной системе Мерсье противопоставляет систему, основанную на традициях античного театра.

[10] *...союз, существовавший между поэзией и музыкой у древних.* — Античная трагедия по своему происхождению являлась одним из ответвлений хоровой лирики.

[11] *Ваша опера... пренелепую смесь.* — Критическое отношение к современному им оперному искусству характерно для французских просветителей. См.: Hirschberg E. Die Encyclopädisten und die französische Oper im 18. Jahrhundert. Leipzig, 1903.

[12] *...ее Капитолий, ее капитулов...* — Капитолий — тулузский магистрат; капитулы — члены Капитолия.

[13] *...семейство несчастного Каласа...* — Жан Калас, тулузский торговец, протестант, был ложно обвинен в убийстве сына, якобы совершенном для того, чтобы помешать ему перейти в католичество; тулузский парламент приговорил Каласа к смерти; 9 марта 1762 г. он был колесован; семья его подверглась репрессиям. Возглавленная Вольтером борьба за оправдание Каласа в конце концов увенчалась успехом: 9 марта 1765 г. парижский парламент признал его и его семью невиновными. Во французской драматургии события эти получили отражение лишь в годы революции («Жан Калас» Ж.-Л. Лейа, 1790; «Жан Калас, или Фанатизм» Л. Лемьера, 1790; «Калас, или Школа судей» М. Ж. Шенье, 1791).

[14] *...скукой наших рифмованных строк.* — Вслед за Дидро Мерсье ратовал за прозаическую драму и последовательно проводил это требование в жизнь.

[15] *Давид* — второй царь израильский, согласно библейскому преданию, в юном возрасте одержал победу над исполином Голиафом.

[16] *«Кромвель, или Смерть Карла Первого»...* — К теме английской буржуазной революции XVII в. обращался ряд современных Мерсье драматургов — П. Марион («Смерть Кромвеля», 1764), А. Майе-Дюклерон («Кромвель», 1764), а также П. Кребийон-старший, впрочем не осуществивший своего замысла (см.: Tableau de Paris, t. 10, p. 24—25). В эпоху романтизма тема эти привлекла Мериме, Бальзака, В. Гюго и др.

[17] *...«Охоту Генриха IV».* — Имеется в виду трехактная прозаическая комедия Ш. Колле (1766); первоначально игралась на провинциальной сцене, в 1774 г. представлена в Комеди Франсез; позднее неоднократно возобновлялась.

[18] *...победитель Лиги...* — Так называемая Священная Лига была создана в 1576 г. в качестве оплота французского католицизма в его борьбе с протестантами; прекратила свое существование в начале правления Генриха IV.

[19] *...ремеслу, коему сопутствовала распущенность нравов.* — О распущенности актерских нравов писали многие французские просветители, видевшие в этом прямое следствие униженного положения, в котором находились актеры. Так, в «Письме к Даламберу о зрелищах» (1758) Руссо отмечал, что «унизительность общественного положения порождает низменные взгляды на жизнь, и пороки разделяют тех, кого должны были бы объединить общие интересы» (Руссо Ж.-Ж. Избр. соч., т. 1, с. 139).

[20] *...дабы они пели женскими голосами.* — Подразумевается пение кастратов в папской капелле; кастраты выступали и на оперных сценах. Обычай этот установился в Италии в XII в., поддерживался до конца XVIII в.

[21] *...трагедию «Магомет»...* — Точнее: «Фанатизм, или Пророк Магомет» (1741), трагедия Вольтера.

[22] *...искусство пантомимы...* — Возникнув в древней Греции, особого расцвета пантомима достигла в древнем Риме. Пожелание Мерсье предвосхитил Дидро в трактате «О драматической поэзии» (гл. 11).

Глава двадцать шестая

[1] *...не ослепляли... окулистам.* — Мерсье критикует систему уличного освещения, введенную в 1766 г. Ср.: Tableau de Paris, t. 1, p. 212—214.

[2] *...непотребные девицы...* — По сведениям, приводимым в «Картине Парижа», во французской столице насчитывалось до 40 000 публичных женщин (Tableau de Paris, t. 3, p. 110—120).

[3] *Подобны... не согревая.* — Цитата из «Любовного послания Элоизы к Абеляру» Ш.-П. Колардо (1758).

[4] *Карл XII* (1682—1718) — король Швеции; в 1700 г. заставил капитулировать Данию и нанес поражение русским войскам под Нарвой, в 1701 г. вторгся в Литву и Польшу; в 1704 г. добился низложения польского короля Августа II. Вторичное вторжение в Россию (1708) окончилось полным разгромом шведских войск и бегством Карла в Турцию. Дальнейшие его попытки изменить положение в пользу Швеции ни к чему не привели. Своей политикой Карл XII, по словам Ф. Энгельса, «погубил Швецию и воочию показал неприступность России» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 2, с. 17). Противопоставление монарху-завоевателю монарха-реформатора навеяно «Историей Карла XII» Вольтера.

[5] *... читает Квинта Курция...* — Речь идет об «Истории Александра Великого, царя Македонского» римского историка Квинта Курция Руфа (I в. н. э.), пользовавшейся большим успехом и в новое время. Об интересе к ней Карла XII Мерсье мог прочесть в названном выше сочинении Вольтера (кн. 1).

[6] *...о том молчаливом договоре... с королями...* — Имеется в виду философская и юридическая доктрина, которая объясняет возникновение государственной власти соглашением между людьми, вынужденными перейти от не обеспеченного защитой естественного состояния к состоянию гражданскому («общественный договор»).

[7] *...несбыточными мечтами честного человека...* — Фрагмент этот вдохновлен «Проектом вечного мира» аббата де Сен-Пьера (1713). «Несбыточными мечтами честного человека» его трактат назвал кардинал Г. Дюбуа, первый министр Франции (в период Регентства), прославившийся своей беспринципностью.

[8] *...о взаимной ненависти...* — Имеются в виду войны за испанское (1701—1714) и австрийское (1740—1748) наследство, а также Семилетняя война (1756—1763), в которых Англия выступала против Франции и поддерживавших ее государств.

Глава двадцать седьмая

[1] *...некогда сопровождали ваши катафалки...* — Ср. в «Персидских письмах»: «Я бы упразднил все погребальные торжества. Людей следует оплакивать при рождении, а не по смерти. К чему церемония и вся та мрачная обстановка, которыми

окружают умирающего в его последние минуты, к чему даже слезы его родных и горе друзей, как не для того, чтобы еще усугубить предстоящую ему утрату» (письмо 40).

[2] *...превращены в пепел.* — Во Франции кремация была разрешена только в 1797 г.

[3] *«...Он меня слышит!».* — Рассуждение это навеяно «Новой Элоизой» Руссо («Сколь утешительна мысль, что, пока ты жив, на тебя взирают те, кто был тебе так дорог. Ведь оттого они для нас мертвы лишь наполовину» (кн. 6, гл. 11).

[4] *Юнг* Эдуард (1685—1765) — английский поэт-преромантик, автор «Ночных раздумий» («The Complaint, or Night-Thoughts on Life, Death and Immortality», 1742—1746); поэма эта оказала большое воздействие на европейскую поэзию XVIII—начала XIX в.; прозаический перевод ее на французский язык (1769) был сделан Пьером Летурнером (1736—1788).

Глава двадцать восьмая

[1] *Вавилонская башня* — согласно библейскому преданию, башня до небес, которую потомки Ноя начали возводить, дабы прославить имя свое; бог осудил это намерение и покарал их смешением языков, вследствие чего они перестали понимать друг друга.

[2] *...из сочинений П..., де ла Г... и аббата А...* — Имеются в виду Шарль Палиссо (1730—1814), французский литератор, автор комедии-пасквиля против энциклопедистов «Философы»; Жан-Франсуа де Лагарп (1739—1803), французский поэт и драматург; аббат Франсуа Арно (1721—1784), французский литератор антипросветительского направления.

[3] *...сарацинов, которые шедеврами топили свои бани...* — Сарацинами в европейской литературе называли арабов и вообще мусульман. По преданию, халиф Омар, взяв в 642 г. Александрию, приказал сжечь ее знаменитую библиотеку; при этом он заявил, что если книги эти повторяют Коран, то они бесполезны, и если ему противоречат, то вредны. Книгами этими будто бы в течение полугода отапливались общественные бани.

[4] *...из греков оставлены были... мерзкий Аристофан...* — Еврипид (ок. 480—406 до н. э.) — трагический поэт; Плутарх (ок. 46—после 120) — писатель, автор «Параллельных жизнеописаний», пользовался большой известностью и в новое время, был одним из любимых писателей Руссо (см.: Аверинцев С. С. Плутарх и античная биография. М., 1973, с. 89); Геродот (ок. 484—ок. 425 до н. э.) — историк; отрицательное отношение к нему Мерсье, по-видимому, было вызвано наивностью его представлений о движущих силах истории, а также обилием в его труде легендарного и анекдотического материала; Сапфо (VI в. до н. э.) — поэтесса, прославилась своей любовной лирикой; Анакреон (вторая половина VI в. до н. э.) — лирический поэт, основные темы его поэзии — вино и любовь; Аристофан (ок. 446—385 до н. э.) — комедиограф; иногда в нем без достаточных оснований усматривали противника демократии, что, по всей вероятности, и объясняет уничтожающий отзыв Мерсье.

[5] *...латинских авторов... Квинтилиан...* — Публий Вергилий Марон (70—19 до н. э.) — поэт, автор «Энеиды»; Гай Секунд Плиний (23 или 24—79) — писатель и ученый, автор «Естественной истории»; Тит Лукреций Кар (ок. 98—55 до н. э.) — поэт, автор поэмы «О природе», выдающегося памятника античного материализма; Гай Саллюстий Криспа (ок. 86—35 до н. э.) — историк; Публий Овидий Назон (43 до н. э.—18 н. э.) — поэт; Луций Анней Сенека (3 до н. э.—65 н. э.) — поэт, прозаик, драматург; о его трагедиях Мерсье с презрением отзывался в опыте «О театре»; Гай Валерий Катулл (80-е гг.—ок. 54 до н. э.) — поэт-лирик; Гай Петроний (ум. 66) — автор «Сатирикона»; Марк Фабий Квинтилиан (ок. 30—96) — преподаватель риторики, автор обширного трактата «Обучение оратора».

[6] *...книги английские... Поп...* — Джон Мильтон (1608—1674) — эпический поэт, автор «Потерянного рая»; о судьбе творчества Шекспира во Франции XVIII в. см.: Jusserand J.-J. Shakespeare en France sous l'ancien régime. Paris, 1898, chap. 3—4; Baldensperger F. Esquisse d'une histoire de Shakespeare en France. — Études

d'histoire littéraire, 2-me sér. Paris, 1910, p. 155—180. Мерсье принадлежат три адаптации шекспировских пьес («Веронские гробницы», «Старик и три его дочери», «Тимон Афинский»); Александр Поп (1688—1744) — поэт и философ.

[7] *...Юнг, на мой взгляд, прав...* — По всей вероятности, подразумевается фрагмент десятой «Ночи» французского перевода поэмы Юнга (Les nuits d'Young trad. de l'anglois par M. Le Tourneur, t. 1. Paris, 1769, p. 258—259).

[8] *Спросите об этом Брута, Катона...* — Марк Юний Брут (85—42 до н. э.) — глава республиканского заговора против Юлия Цезаря; потерпев поражение в битве при Филиппах, лишил себя жизни; Марк Порций Катон Утический (95—46 до н. э.) — республиканец, оказавший сопротивление Цезарю; покончил с собой, видя, что дело его партии окончательно проиграно.

[9] *Ричардсон* Сэмюэл (1689—1761) — английский романист.

[10] *Мелочные упреки... высказывали им...* — Мерсье мог иметь в виду вольтеровскую критику английских драматургов в «Философских письмах» (1733).

[11] *...опасные скептики...* — Возможно, Джозеф Гленвилл (1636—1680) и Дэвид Юм (1711—1776).

[12] *«Освобожденный Иерусалим»* — эпическая поэма Торквато Тассо (1544—1595); в числе ее французских критиков XVII в. — Ж. Демаре, П. Лемуан, Д. Буур, Ж. Шаплен и Буало. См.: Beall Ch. B. La fortune du Tasse en France. Eugene, Oreg., 1942, chap. 5.

[13] *Декарт, Монтень и Шаррон.* — Рене Декарт (1596—1650) — французский философ и ученый; Пьер Шаррон (1541—1603) — французский проповедник и философ, последователь Монтеня.

[14] *...и мечтательный Мальбранш... и жестокий Бурдалу.* — Никола Мальбранш (1638—1715) — французский философ-мистик: Пьер Николь (1625—1695) и Антуан Арно (1612—1694) — французские теологи, главные теоретики янсенизма; Луи Бурдалу (1632—1704) — французский проповедник.

[15] *«Письма к провинциалу»* — направленное против иезуитов сочинение Б. Паскаля. Эта «первая выдающаяся книга в прозе» (по определению Вольтера) сыграла важную роль в истории французской литературы и французского языка.

[16] *...о древних друидах.* — Друиды — жрецы у древних кельтов.

[17] *...«отцами церкви»...* — Речь идет о церковных деятелях и писателях, которых христианская церковь считает высшими авторитетами в вопросах богословия.

[18] *...Локкам и Кларкам...* — Джон Локк (1632—1704) — английский философ, один из основоположников сенсуализма; Сэмюэл Кларк (1675—1729) — английский философ и теолог.

[19] *Боссюэ* Жак-Бенинь (1627—1704) — французский проповедник и писатель, автор «Рассуждения о всемирной истории» и «Надгробных речей». Далее имеются в виду речи памяти Мишеля Летелье, Анны Гонзаго и принца Конде. Полное собрание его сочинений (в 20, а не в 14 томах ин-кварто) увидело свет в 1743—1753 гг.

[20] *Этого орла...* — Боссюэ называли «орлом из Мо» («l'aigle des Meaux»). Мо — город, епископом которого он был с 1681 г. до конца жизни.

[21] *Кальвин, Меланхтон, Эразм...* — Жан Кальвин (1509—1564) — один из вождей Реформации; Филипп Меланхтон (1497—1560) — немецкий гуманист и реформатор, приверженец Лютера; Эразм Роттердамский (1467—1536) — голландско-немецкий гуманист (Мерсье имеет в виду его спор с Лютером по теологическим вопросам).

[22] *...слова Монтеня...* — Мерсье цитирует «Опыты» (кн. 1, гл. 25).

[23] *...от основания Рима...* — Годом основания Рима принято считать 753 (или 754) г. до н. э.

[24] *Фенелон* Франсуа де Салиньяк де ла Мот (1651—1715) — французский писатель, автор моралистического романа «Приключения Телемака», в котором современники видели скрытую сатиру на Людовика XIV и его двор; роман выдержал множество изданий и был переведен почти на все европейские языки; на русский язык его переложил В. К. Тредиаковский (1766).

[25] *...похвальное слово ему...* — В 1771 г. Французская Академия удостоила награды похвальное слово Фенелону, сочиненное Лагарпом. См.: Chérel A. Fénélon au XVIII siècle en France. Paris, 1917, chap. 4.

[26] ...*особенно вышедшие из-под пера г-на Тома.* — Антуану-Леонару Тома (1732—1785) принадлежит ряд похвальных слов и речей; наибольшей известностью пользовалось похвальное слово Марку Аврелию (1770).

[27] ...*комментарии к ним были сожжены.* — По-видимому, подразумеваются комментарии Вольтера к сочинениям Корнеля (Женева, 1764; 12 томов) и Мольера (Амстердам и Лейпциг, 1765; 12 томов), а также комментарии Люно де Буажермена (фактически — Блен де Сен-Мора) к сочинениям Расина (Париж, 1768; 7 томов).

[28] ...*картиной Лесюэра или Пуссена...* — Эсташ Лесюэр (1617—1655), Никола Пуссен (1594—1665) — французские художники.

[29] ...*безнравственного у вас было куда больше, чем забавного.* — Характеристика эта в значительной мере навеяна «Письмом к Даламберу о зрелищах» Руссо.

[30] ...*в некоем похвальном слове Мольеру...* — Автором его был С.-Р.-Н. де Шамфор (1769). Речь эта удостоилась премии Французской Академии (см.: Mercure de France, 1769, sept., p. 176).

[31] ...*с улицы Сен-Дени.* — Улица Сен-Дени — оживленная торговая артерия Парижа.

[32] *Расин и умер-то... на него.* — Отзвук опровергнутой ныне биографической легенды, которой способствовали мемуаристы — герцог де Сен-Симон и сын писателя Луи Расин. См.: Picard R. La carrière de Jean Racine d'après les documents contemporains. Paris, 1956, p. 469—490, 540—542.

[33] *Время... сказано было еще в его эпоху.* — Сравнение Корнеля и Расина традиционно для французской литературы XVII—XVIII вв. Мерсье мог иметь в виду отзыв П. Бейля в его «Похвальном слове г-ну Корнелю» (Nouvelles de la République des lettres, 1685). См.: Deltour F. Les ennemis de Racine au XVII siècle. Paris, 1859, p. 401.

[34] *Кребийон* Проспер Жолио де (1674—1762) — французский драматург, создатель трагедии ужасов и жестоких страстей; наиболее известная из его пьес — «Радамист и Зенобия» (1711).

[35] ...*Лафонтена... бессмертие.* — Мерсье имеет в виду слова, якобы сказанные Мольером в ответ на насмешки Буало и Расина над Лафонтеном (в присутствии всех троих): «Наши остроумцы напрасно стараются, этого простака им не затмить» (См.: Hervier M. Les écrivains français jugés par leurs contemporains, t. 1. Paris, 1936, p. 520).

[36] *Костар* Пьер (1603—1660) — французский литератор.

[37] ...*басни Ламотта и Нивернуа.* — Антуан Удар де Ламотт (1672—1731) — французский драматург и баснописец; Луи-Жюль Барбон Манчини-Мазарини, герцог де Нивернуа (1716—1798) — дипломат и писатель, основная часть его литературного наследия — басни.

[38] ...*ордена Святого Духа...* — Речь идет о высшем ордене в дореволюционной Франции; его удостоивались избранные представители знати и духовенства.

[39] *«Великие события, вызванные малыми причинами».* — Принцип объяснения событий из самих событий, как бы ничтожны они ни были, весьма характерен для методологии Вольтера-историка (в противоположность провиденциализму его предшественников); не исключено, что «книга», о которой говорит Мерсье, — это вольтеровский «Опыт о нравах и духе народов» (1756).

[40] ...*имя Генриха IV навсегда сделает ее бессмертной.* — Имеется в виду эпическая поэма Вольтера «Генриада» (1728).

[41] *Ла Г.* — Лагарп. О нем см. примеч. 2.

[42] ...*в последние пятнадцать лет...* — Подразумеваются пятнадцать лет, предшествовавшие появлению романа Мерсье.

[43] ...*осыпать пошлой, грубой бранью Жан-Жака Руссо...* — Полемика Вольтера с Руссо происходила на протяжении многих лет; среди его сочинений, направленных против Руссо, — «Мнение граждан» (1764), «Письмо г. де Вольтера к доктору Жан-Жаку Пансофу» (1766) и др.

[44] *«Письма с горы»* — антиклерикальный трактат Руссо (1764); в феврале 1765 г. книга была осуждена женевскими властями, в марте того же года — сожжена в Париже.

[45] *«Дух законов»... «Беседы Фокиона».* — «Дух законов» Монтескье (1748); «Естественная история» Бюффона (1749—1789); «Об уме» Кл.-А. Гельвеция (1758), — комментариев, по мысли Мерсье, сочинение это потребует ввиду его материалистической и атеистической направленности; «Друг человечества» В. Рикетти де Мирабо (1767); «Велизарий» Ж.-Ф. Мармонтеля (1767). Жозеф-Мишель-Антуан Серван (1737—1807) — французский магистрат и публицист; Шарль-Маргерит-Жан-Батист Дюпати (1746—1788) — президент Бордоского парламента, писатель; «Нравственные речи» Летурнера вышли в свет в 1768 г.; «Беседы Фокиона о связи нравственности с политикой» — трактат аббата Г. де Мабли (1763).

[46] *...располагать статьи по алфавиту...* — Такой порядок расположения материала в «Энциклопедии» вызывал нарекания современников; позднее было предпринято новое аналогичное издание, в основу которого был положен методический принцип.

[47] *...писание всемирной истории...* — Подразумеваются «Всемирные истории» А. д'Обинье (1616—1620) и Ж. де ла Барра (1703), «Рассуждением о всемирной истории» назывался труд Боссюэ и т. п.

[48] *...царствование Карла VI, Людовика XIII?* — Карл VI (1368—1422) — французский король с 1380 г., фактически пришел к власти в 1388 г., но вскоре впал в безумие и в управлении страной не участвовал; Людовик XIII (1601—1643) — французский король с 1610 г., до 1617 г. страной правила его мать Мария Медичи, позднее — кардинал Ришелье.

[49] *...покров на его наготу.* — Согласно библейскому преданию, так поступили Сим и Иафет, увидев, что отец их Ной, упившись, уснул в своем винограднике обнаженным.

[50] *...Вольтерова «Века Людовика XIV».* — «Век Людовика XIV» появился в 1752 г.; Вольтеру же принадлежит краткий «Очерк века Людовика XV» (1768), не принятый Мерсье в расчет.

Глава двадцать девятая

[1] *...отвергни то, чему... поклонялся...* — Навеяно знаменитыми словами архиепископа реймского Ремигия, произнесенными 24 декабря 496 г. при крещении им короля франков Хлодвига («Сожги то, чему поклонялся, поклонись тому, что сжигал»).

[2] *...Локусту... умер Британник.* — Сын римского императора Клавдия Британник (42—56) был отравлен приемным сыном Клавдия императором Нероном, который опасался Британника как возможного соперника. История эта рассказана у Тацита («Анналы», кн. 13, гл. 15—17) и Светония («Жизнь двенадцати цезарей», кн. 6), а также воплощена в трагедии Расина «Британник».

[3] *...трагедию Эсхила, его «Прометея»...* — точнее, «Прикованного Прометея» Эсхила (525 или 524—456 или 455 до н. э.). По определению К. Маркса, «Прометей — самый благородный святой и мученик в философском календаре» (К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве, т. 1. М., 1967, с. 274).

Глава тридцатая

[1] *Монмартр* — от лат. Mons Mercurii — Гора Меркурия, или Mons Martis — Гора Марса, или Mons Martyrum — Гора мучеников; последнее более вероятно. Во времена Мерсье — холм в окрестностях Парижа; в карьерах его с давних пор добывался гипс. В черту города Монмартр был включен в 1860 г.

[2] *...физиогномике.* — Так называется определение характера человека по строению черепа и выражению лица. Во Франции эта теория возникла в начале XVIII в.; в 1770-х годах получила развитие в трудах швейцарского ученого Лафатера, почитателем которого был Мерсье; оказала воздействие и на литературу (см.: Baldensperger F. Les théories de Lavater dans la littérature française. — Etudes d'histoire littéraire, 2-me sér., p. 51—91).

[3] *...в Салоне живописи...* — Салонами назывались выставки живописи и скульптуры, учрежденные в 1662 г.; происходили они в большом квадратном салоне Лувра, устраивались каждые два года.

[4] *...говорящую куклу...* — По-видимому, речь идет об одном из автоматов французского изобретателя Жака де Вокансона (1709—1782).

[5] *Кольте* Гийом (1598—1659) — французский поэт, один из первых членов Французской Академии; выполнял литературные заказы кардинала Ришелье.

[6] *Некий весьма малозначительный автор...* — Речь идет о статье Лагарпа «Присуждение премий Парижского университета», в которой, наряду с неумеренными похвалами «этой славной корпорации», содержались и самовосхваления, — впрочем, несколько преувеличенные Мерсье.

[7] *...risum teneatis amici...* — Цитата из «Послания к Пизонам» Горация, ст. 5: «...друзья, вы могли б удержаться от смеха?».

[8] *Людовик IX* Святой (1215—1270) — французский король с 1226 г.; канонизирован в 1297 г.; провел ряд реформ, которые способствовали усилению центральной власти. Мерсье имеет в виду его покровительство церкви, участие в крестовых походах, а также издание в 1269 г. свода законов.

[9] *...охранялся фузилёрами...* — Фузилёр — пехотный солдат, вооруженный кремневым оружием.

[10] *Сегье* Пьер (1588—1672) — канцлер Франции с 1635 г., после смерти Ришелье был покровителем Французской Академии.

[11] *...будешь почивать под мраморным надгробием...* — Похвальное слово умершему академику произносил его преемник.

[12] *...как сказал Монтескье...* — В «Персидских письмах» (письмо 110); слова его приведены приблизительно.

[13] *Нередко истина.... глубоко.* — Цитата из трагедии Вольтера «Китайский сирота» (1755), акт 2, сцена 2.

[14] *...аббат де Сен-Пьер восстановлен здесь в своих правах...* — В 1718 г. за критику Людовика XIV в «Рассуждениях о полисинодии» Шарль-Ирене Кастель, аббат де Сен-Пьер (1658—1743) был по предложению кардинала де Полиньяка и маршала де Вильруа исключен из Французской Академии (это предложение поддержали все академики, кроме Фонтенеля); место его, однако, оставалось вакантным вплоть до его смерти.

[15] *Христина* (1626—1689) — королева Швеции с 1644 г.; в 1654 г. отреклась от престола, в дальнейшем жила в различных европейских странах, последние годы — в Риме; интересовалась наукой и искусством; 11 мая 1658 г. посетила Французскую Академию.

Глава тридцать первая

[1] *Королевская коллекция* — собрание образцов растительного и животного мира, созданное в 1635 г.; в 1793 г. преобразовано в Музей естественной истории.

[2] *...наш король занимается врачеванием...* — Французским королям издавна приписывался чудесный дар исцелять — возложением рук — больных золотухой.

[3] *...до иссопа.* — Иссоп — многолетнее растение из семейства губоцветных.

[4] *...природа... стремилась к созданию человека...* — Телеологический взгляд на органическую природу, согласно которому всякое развитие является осуществлением заранее предопределенной цели.

[5] *Намерение написать естественную историю...* — Речь идет о «Естественной истории» Бюффона, выходившей с 1749 по 1789 г.

[6] *В трудах Академии наук...* — Академия эта была основана в 1666 г. Мерсье имеет в виду издававшиеся с 1699 г. ежегодники: «Histoire de l'Académie royale des sciences».

[7] *Мабийон* Жан (1632—1707) — французский историк.

[8] *Машина, которая движет воду, омывающую Марли...* — Гидравлическая машина для питания водой Версаля (сооружена в 1676 г.) находилась недалеко от Марли — королевской резиденции в 10 км к северу от Версаля.

[9] *...все, что было у древних... апиева приправа.* — О ковком стекле, которое будто бы производилось в Риме при императоре Тиберии, рассказывает Плиний Старший в «Естественной истории» (кн. 36); там же сообщается о прозрачном камне — селените, добывавшемся в Италии, Испании, на Кипре, в Африке и т. д.; тирский пурпур, т. е. изготовлявшийся в г. Тир, политическом и торговом центре Финикии; зеркало Архимеда — сферическое зеркало, с помощью таких зеркал Архимед, по преданию, сжег римский флот, осаждавший Сиракузы; негасимая лампа — лампа на несгораемом масле, изобретение которого приписывалось древним римлянам; апиева приправа — одно из изобретений римского гастронома (времен Августа и Тиберия) Марка Габия Апия.

[10] *...займись собиранием растений!* — Руссо увлекался ботаникой, составлял гербарий, совершая для этого походы по различным областям Франции, швейцарской Юре и т. д. Об этом он писал в «Прогулках одинокого мечтателя». См.: Jansen Alb. J.-J. Rousseau als Botaniker. Berlin, 1885.

[11] *...шуту Вольтеру.* — Мерсье имеет в виду, в частности, повести «Кандид» (гл. 4) и «Человек с сорока экю» (гл. 11).

[12] *...убавляется количество людей.* — Ср. сходное рассуждение Монтескье: «...к чему государству вся эта масса детей, томящихся в нищете? Почти все они погибают по мере того, как рождаются; в жизни их ожидают одни лишь горести; слабые и хилые, они умирают поодиночке от тысячи причин, а частые повальные болезни, вызываемые нищетой и дурной пищей, уносят их во множестве. Те же, кому удастся избежать смерти, даже в зрелом возрасте не входят в силу и чахнут всю жизнь» («Персидские письма», письмо 122).

[13] *Из-за какого-то небольшого жезла, из-за красной или синей ленточки, из-за эмалевого крестика...* — Имеются в виду маршальский жезл, орденские ленты и кресты.

[14] *Иных сводил с ума даже один вид кокарды...* — Кокарда — небольшой бант, прикреплявшийся к головным уборам военных.

[15] *Мысль эта принадлежит г-ну Гайару.* — Фрагмент восходит к речи Габриэля-Анри Гайара «Преимущества мира» (1767). См.: Gaillard G.-H. Mélanges académiques, poétiques, littéraires, philologiques et historiques, t. 1. Paris, 1806, p. 75—77.

[16] *Езекия* — иудейский царь; сведения, сообщаемые Мерсье, в Библии отсутствуют.

[17] *...некий монах открыл...* — Согласно преданию, порох был изобретен францисканским монахом Северинусом Бертольдом Шварцем в первой трети XIV в.

[18] *...бросил его в реку.* — Мерсье не вполне точно излагает содержание строф 89—91 девятой песни поэмы Л. Ариосто «Неистовый Роланд».

Глава тридцать вторая

[1] *...в Академии живописи.* — Эта Академия была основана в 1655 г., позднее стала называться Академией изящных искусств.

[2] *Кино* Филипп (1635—1688) — французский драматический поэт, автор многочисленных лирических трагедий, балетных либретто, пасторалей; постоянный сотрудник Ж.-Б. Люлли.

[3] *Лебрен* Шарль (1619—1690) — французский художник, придворный живописец Людовика XIV; более двадцати его полотен, изображавших различные эпизоды правления этого короля, находятся в Версале; Мерсье имеет в виду плафон в Зале войны.

[4] *Тенирс* Давид (1610—1690) — фламандский художник, мастер жанровой живописи.

[5] *...назывались «любителями»...* — Нападки на коллекционеров, собирающих произведения искусства в угоду моде, встречаются еще у Лабрюйера («Характеры», гл. 13); из современников Мерсье о них с раздражением писали Руссо и Дидро.

[6] *Художники уже не тратили... в минуты опасности.* — Ср. у Руссо: «Как вы думаете, что изображают выставленные на всеобщее обозрение в наших садах

статуи и в галереях картины? Эти лучшие произведения искусства? Защитников отечества или, быть может, еще более великих людей, тех, кто обогатил его своими добродетелями? О нет, это образы всех заблуждений сердца и ума, старательно извлеченные из древней мифологии» (Руссо Ж.-Ж. Избр. соч., т. 1, с. 60).

[7] ...*примеры душевного величия государей... язвы несчастного...* — Саладин, правильнее Салах-ад-Дин (1137—1193), султан Египта и Сирии, мусульманский герой, по преданию, чувствуя приближение смерти, приказал выставить у своей резиденции (в Дамаске) вместо знамени саван и при этом повторять: «Вот все, что покоритель Востока Саладин извлек из своих побед» (приведено в «Опыте о нравах и духе народов» Вольтера, гл. 56). Генрих IV пропускал мешки с мукой в осажденный им Париж; Сюлли резко осуждал расточительство Генриха IV (см.: Mémoires de Sully, t. 4. Paris, 1788, p. 310—312); «Я слишком любил войну» — слова из предсмертного наставления Людовика XIV дофину, будущему Людовику XV (Oeuvres de Louis XIV, t. 2. Paris, 1806, p. 492); Траян (98—117) — римский император, в традиционном представлении — образцовый правитель.

[8] ...*Сент-Илера... налагающего на себя цепи.* — 27 июля 1675 г. в Зальцбахе ядром был убит французский полководец маршал Тюренн; тем же ядром раздробило руку его соратнику, начальнику артиллерии Сент-Илеру; присутствовавший при этом сын Сент-Илера бросился с рыданиями к отцу, на что тот воскликнул, указывая на Тюренна: «Перестань, дитя мое; вот кого надо будет оплакивать вечно, вот что непоправимо» (см.: «Век Людовика XIV» Вольтера, гл. 12). Жан Фабр (1727—1797) — французский гугенот; в 1756 г., находясь в кругу своих единоверцев, был застигнут солдатами, сумел бежать, но добровольно вернулся, чтобы спасти схваченного солдатами отца, и был сослан на каторгу, где пробыл до 1762 г.

[9] ...*вынудила Пуссена покинуть родину и погубила Лесюэра...* — Речь идет о французских художниках Н. Пуссене и Э. Лесюэре; первый, не выдержав лишений, переселился в Рим, второй стал жертвой интриг и преследований, несколько лет провел в монастыре и умер, так и не добившись признания.

Глава тридцать третья

[1] *Века невежества...* — Речь идет о средневековье, которое Мерсье, подобно многим просветителям, считал эпохой варварства и суеверий. Ср. в предуведомлении к «Опыту о нравах и духе народов» Вольтера: «...отвратим же взор от этих диких времен, которые являются позором человечества».

[2] ...*увлекал за собой толпы людей...* — Имеются в виду крестовые походы, предпринимавшиеся в XI—XIII вв. по призыву пап и религиозных проповедников на Ближний Восток для освобождения Иерусалима и «гроба господня» от мусульман.

[3] ...*круги Платона...* — В космологическом учении Платона речь идет о круге неподвижных по отношению друг к другу звезд и круге планет, перемещающихся на небесном своде относительно звезд и друг друга.

[4] ...*числа пифагорейцев...* — Пифагор утверждал, что между всеми силами природы в их взаимодействии существуют числовые соотношения, на которых зиждется подвижное равновесие вселенной.

[5] ...*стихи сивилл...* — Сивиллы — прорицательницы у древних евреев, греков, римлян и некоторых других народов; предсказания сивилл иногда облекались в стихотворную форму.

[6] ...*с астролябией.* — Астролябия — угломерный прибор, служивший для определения широт и долгот.

[7] *Астрология* — мнимая наука, пытавшаяся предсказывать судьбу отдельных людей и человечества в целом на основе наблюдений над положением небесных светил.

[8] ...*побежденного... и тем самым — виновного.* — Судебный поединок был в средние века одной из форм так называемого суда божьего.

[9] ...*споры о пустяках и отвлеченных предметах.* — Имеются в виду споры средневековых философов-схоластов.

[10] ...*ядовитому древу...* — Подразумевается упас-анчар, дерево из семейства

тутовых с ядовитым млечным соком (родина — Зондские острова); легенда приписывает ему свойства отравлять окружающий воздух и убивать людей, находящихся вблизи.

[11] *...эшафот... голова и корона.* — Речь идет о казни английского короля Карла I (1649).

Глава тридцать четвертая

[1] *Крез* (VI в. до н. э.) — последний царь Лидии; имя его стало нарицательным для обозначения несметно богатого человека.

[2] *...о прыгунах и канатоходцах.* — Представления с их участием во времена Мерсье давались ярмарочными театрами и пользовались большим успехом.

[3] *Следуя примеру Монтеня...* — «Опыты» Монтеня представляют собой обширный сборник заметок, наблюдений, воспоминаний, мыслей по разным вопросам и поводам и т. п. Эту архитектоническую прихотливость их и имеет в виду Мерсье.

[4] *...это была маленькая комната...* — Речь идет о Кабинете эстампов, созданном при Людовике XIV, в 1667 г.

[5] *...иллюстрации Энциклопедии...* — Энциклопедия состояла из 17 томов текста и 11 томов иллюстраций (рисунков, чертежей и т. п.), которые, как правило, отличались высоким качеством исполнения. См.: Proust J. L'Encyclopédie, p. 174—175.

[6] *Одраны* — династия французских граверов (XVII—XVIII вв.); родоначальники ее — Шарль и Клод Одран; наиболее известен Жерар Одран (1640—1703).

[7] *...«кошены»...* — Образовано от фамилии Шарля-Никола Кошена (1715—1790), французского графика и рисовальщика.

[8] *Господин де Вольтер... сию важную реформу.* — Об этом Вольтер писал, в частности, в связи с употреблением термина «cul-de-lampe» (заставка) в «Questions sur l'Encyclopédie» (1771).

[9] *...мелкими крапинками...* — Имеется в виду пунктирная гравюра, возникшая в XV в. вследствие стремления дополнить линейный рисунок тоном.

[10] *...«медь становится золотом».* — Речь идет о глубокой резцовой гравюре на меди; появилась в середине XV в., наибольшего блеска и выразительности достигла во Франции XVIII в.

Глава тридцать пятая

[1] *Юпитер-громовержец* — нередко служил мифологическим синонимом царствующего монарха.

[2] *Тай-цзун* (938—997) — китайский император, славился своей мудростью.

Глава тридцать шестая

[1] *...величия ее или упадка.* — Полемика с Монтескье, ставившим нравственный облик народа, характер его законов и образ правления в прямую зависимость от климата и географических условий.

[2] *...образ всякого государства...* — Традиционный поэтический образ, неоднократно встречающийся у древних авторов (Алкей, Феогнид, Цицерон, Гораций, Плутарх и др.). См.: Суздальский Ю. П. «Арион» Пушкина. — В кн.: Литература и мифология. Л., 1975, с. 14—17.

[3] *...интенданты...* — В дореволюционной Франции так назывались правительственные чиновники (происходившие по преимуществу из средних слоев общества), в руках которых была сосредоточена вся власть в провинциях — судебная, финансовая, полицейская, отчасти даже военная; официально провинции возглавлялись губернаторами, которые принадлежали к титулованной знати и смотрели на свою должность как на синекуру.

[4] *Суассон* — город к северо-востоку от Парижа.

[5] *Генеральные штаты* — высшее сословно-представительное учреждение во Франции XIV—XVIII вв.

[6] *Провинции уже не для того существуют... столицу.* — Ср. сходную мысль Руссо: «Говорят, что город Париж для французского короля дороже нескольких провинций, а я полагаю, что он обходится казне дороже нескольких провинций, ведь Париж во многих отношениях питается за счет провинций, большую часть их доходов поглощает столица, все эти деньги там так и остаются, они навеки потеряны и для народа, и для короля» (Руссо Ж.-Ж. Избр. соч., т. 1, с. 696).

[7] *Г-н Даламбер сказал... жалости.* — Приблизительное изложение фрагмента статьи «Воспоминания и размышления о Христине, королеве шведской» (D'Alembert J. Mélanges de littérature, d'histoire et de philosophie, t. 2. Amsterdam, 1760. p. 260).

[8] *...господам в бархатных шапочках...* — Речь идет о головном уборе французских магистратов.

[9] *...один даровитый человек...* — По-видимому, С.-Н.-А. Ленге, выступавший в защиту абсолютизма в своей «Теории гражданских законов» (Linguet S.-N.-H. Théorie des lois civiles, ou Principes fondamentaux de la société. Londres, 1767, t. 2, chap. 22, 23, 31). См.: Burmeister B. Les paradoxes de Linguet. — Dix-huitième siècle, vol. 7. Paris, 1975, p. 147—155.

[10] *...благоденствие государства с благоденствием частных лиц.* — Характерная для просветителей полемика с теорией «государственного интереса»; во Франции теория эта получила наиболее законченное выражение в «Политическом завещании» кардинала Ришелье (первое изд. — 1688).

[11] *Нарцисс* — вольноотпущенник и ближайший советник римского императора Клавдия (10 до н. э.—54 н. э.), человек жестокий, жадный и расточительный; покончил с собой по приказу вдовы Клавдия Агриппины в первые дни правления Нерона. Об этом см. у Тацита («Анналы», кн. 11, л. 29—38; кн. 13, гл. 1). Сопоставление Нарцисса с Нероном в значительной мере навеяно трагедией Расина «Британник», где Нарцисс, вопреки историческим фактам, изображен наперсником и «злым гением» Нерона.

[12] *...участвовать в собраниях нации...* — Имеются в виду Генеральные штаты 1355 г., созванные королем Жаном Добрым (1350—1364).

[13] *Понятие чести... стать душой республики...* — Полемика с Монтескье, в представлении которого честь — основной принцип монархических государств («О духе законов», кн. 3, гл. 6).

Глава тридцать седьмая

[1] *Гурон, запертый в Бастилии... этого эпизода.* — Речь идет о гл. 10—14 повести Вольтера: за время пребывания в Бастилии вместе со старым янсенистом Гордоном герой — «естественный человек» — усваивает основы просветительской философии. Судья — персонаж начальных глав, «первый на всю округу мастер по части расспросов».

[2] *...рассказывали занимательные истории.* — В «Сказках 1001 ночи» дочь великого визиря Шехеразада рассказывает индийскому султану Шахриару сказки для того, чтобы отдалить собственную гибель. Как и все его современники, Мерсье читал эти сказки во французском переводе А. Галлана, сыгравшем большую роль в истории европейского «литературного ориентализма». См.: Dufrenoy M.-L. L'Orient romanesque en France. 1704—1789, t. 1. Montréal, 1946, chap. 1.

[3] *Безумные рабы!.. в обитель.* — Цитата из второго акта трагедии Робера Гарнье «Иудейские женщины» (1583).

[4] *...королю-ребенку...* — Намек на Людовика XIV и Людовика XV, вступивших на престол в пятилетнем возрасте.

[5] *...король, достигший семидесяти лет, слагает с себя власть...* — Намек на Людовика XIV, умершего в возрасте 77 лет.

[6] *Издатель... не давал Людовику XIV спокойно уснуть.* — В Амстердаме (и других голландских городах) выходили французские эмигрантские издания, в которых политика Людовика XIV подвергалась постоянным нападкам.

[7] *...говорит Жан-Жак Руссо.* — В «Речи о политической экономии» (1755).

[8] *Первый герцог Виртембергский...* — Эберхард I Бородатый (1445—1496), просвещенный и миролюбивый правитель; об эпизоде, приведенном Мерсье, см.: Rößlin J. F. Leben des ersten und merkwürdigen Herzogs von Wirtemberg Eberhardt im Bart. Tübingen, 1793, S. 200—202.

[9] *...французами управляют скорее испанцы или итальянцы...* — На испанках были женаты Людовик XIII и Людовик XIV, на итальянках Генрих II и Генрих IV.

[10] *Большинство наших войн... якобы политических, браков.* — Династические распри и притязания сыграли существенную роль в возникновении таких войн как Столетняя, война за испанское наследство (1701—1714) и др.

[11] *...о страшной ночи на 30 мая 1770 года?* — Имеется в виду катастрофа, вызванная пожаром, причиной которого явился фейерверк по случаю бракосочетания дофина (будущего Людовика XVI) с австрийской принцессой Марией-Антуанеттой; огромная толпа устремилась с площади Людовика XV по запруженной экипажами Королевской улице, в давке погибло и от увечий умерло более 1000 человек. Мерсье, оказавшийся свидетелем этого события, не раз возвращался к нему в своих сочинениях (см., например: Tableau de Paris, t. 6, p. 138—139).

[12] *...древнюю басню...* — Речь идет о басне Эзопа «Лягушки», впоследствии переработанной Лафонтеном («Le soleil et les grenouilles»).

[13] *Сии властители... нищенства сыны!* — Источник цитаты не обнаружен.

Глава тридцать восьмая

[1] *Одна афинянка как-то спросила жительницу Лакедемона...* — Мерсье мог заимствовать этот эпизод из сборника «Les Apophtegmes des anciens» (p. 190).

[2] *...подобны женам древних галлов...* — О нравах галльских женщин с похвалой отзывался Страбон («География», кн. 4).

[3] *...папа Николай I... отменил развод...* — Николай I, папа римский с 858 по 867 г., отменил развод лотарингского короля Лотаря II и восстановил в правах его супругу Титбергу (865).

[4] *...будь разрешен развод...* — Во Франции развод был разрешен лишь в 1792 г.

[5] *...жизнь становится невыносимым бременем.* — Иной точки зрения придерживался Руссо, находивший, что смерть через самоубийство «постыдна и малодушна» и что «каждый полезен человечеству даже одним тем, что существует» («Новая Элоиза», ч. 3, письма 21—22).

[6] *...владычество женщин...* — Нечто подобное одновременно утверждал Ш. Колле: «Женщины настолько взяли во Франции верх, они до такой степени подчинили себе мужчин, что те и думают, и чувствуют лишь в соответствии с их волей». Цит. по кн.: Imbert de Saint-Amand. Les femmes de Versailles. Les dernières années de Louis XV (1768—1774). Paris, 1876, p. LIII.

[7] *Кебет изображает лицемерие...* — Кебет из Фессалии (V—IV в. до н. э.), древнегреческий философ, последователь Сократа; Диоген Лаэрций приписывает ему три диалога, из которых сохранился один, известный под названием «Картина»; о нем и идет речь у Мерсье.

[8] *...воспитанием, которое давали молодым людям греки...* — Речь идет о древнегреческих гимнасиях, предназначавшихся в первую очередь для гимнастических упражнений и спортивных состязаний, но также и для философских диспутов и всякого рода умственных занятий; возможно, что имеется в виду и Академия Платона, который беседовал со своими учениками, прогуливаясь по роще в окрестностях Афин.

[9] *Наслаждение... имя добродетели.* — Цитата из французского перевода «Ночных раздумий» Юнга (Les nuits d'Young, t. 2. Paris, 1769, p. 69).

Глава тридцать девятая

[1] *...постыдного налога, впервые введенного у евреев...* — Согласно Библии, он был введен царем Соломоном (см. III кн. царств, гл. IX, ст. 15). Во Франции пого-

ловный (подушный) налог — капитация — был установлен как временная мера в 1695 г., но просуществовал с небольшими перерывами вплоть до революции.

[2] *Фуке* Никола (1615—1680) — главный управитель финансов Франции с 1653 по 1661 г.; по выражению Вольтера («Век Людовика XIV», гл. 25), пользовался государственными финансами, как своими собственными; был арестован и после четырехлетнего разбирательства приговорен к изгнанию, замененному по требованию Людовика XIV пожизненным заключением.

[3] *...басню о верной собаке...* — Имеется в виду басня Лафонтена «Собака, которая носила обед своего хозяина».

[4] *...Август... двенадцать миллионов в год.*— Цезарь Октавиан Август (63 до н. э.— 14 н. э.), внучатый племянник Юлия Цезаря, им усыновленный; один из участников второго триумвирата, сосредоточивший затем в своих руках всю власть, включая и военную (императорскую); к началу его правления армия насчитывала до 50 легионов, однако позднее была вдвое сокращена. См.: Машкин Н. А. Принципат Августа. М.—Л., 1949, с. 507—513.

[5] *Амбуаз* Жорж де (1460—1510) — кардинал, с 1498 г. — первый министр Людовика XII; пользовался полным его доверием; осуществил ряд полезных государственных реформ.

[6] *...Сюлли... брачное обязательство Генриха IV!* — Будучи не согласен с намерением Генриха IV жениться на честолюбивой и корыстной Катрин-Анриетт Бальзак д'Антрэг, Сюлли в присутствии короля разорвал его обещание. Когда пораженный смелостью этого поступка король воскликнул: «Я полагаю, что вы лишились рассудка!», — Сюлли будто бы ответил: «Вы правы, государь, я лишился рассудка, и дай бог, чтобы во Франции это случилось со мной одним» (Mémoires de Sully, t. 2. Paris, 1788, p. 540—545).

[7] *...устраиваются ли у вас еще те лотереи...* — Лотереи существовали во Франции с 1533 г.; в 1700 г. была учреждена государственная лотерея, упраздненная в период революции как «бич, изобретенный деспотизмом», но затем восстановленная.

Глава сороковая

[1] *...с острова Барбадос...* — Барбадос относится к группе Малых Антильских островов; во времена Мерсье принадлежал англичанам.

[2] *...навсегда оседало в Индии...* — Имеется в виду приток в Индию — в результате ее интенсивной торговли с европейскими странами — золота, серебра и всякого рода ценностей и сосредоточение их в руках правителей и знати. Вероятный источник этих слов — соответствующее рассуждение в гл. 194 («Об империи Великих Моголов») вольтеровского «Опыта о нравах и духе народов».

[3] *...кошениль и индиго.* — Кошениль — общее название нескольких видов насекомых, из которых добывают красную краску — кармин (особенно ценилась мексиканская кошениль, культивировавшаяся в Центральной Америке, Северной Африке и Восточной Азии). Индиго — органическое красящее вещество синего цвета; до конца XIX в. добывалось из индигоносных растений — тропических кустарников в Индии, на о. Ява, в Южной Африке.

[4] *...в пожизненную ренту...* — Подразумевается особый вид государственного займа, при котором государство выплачивает своему кредитору определенный доход в течение всей его жизни.

[5] *...тонтины...* — сделки, при которых известная группа лиц связана между собой таким образом, что сделанный одним лицом взнос распределяется между теми из участвующих в сделке, которые ко дню смерти этого лица остаются в живых; название происходит от фамилии Л. Тонти, предложившего это нововведение кардиналу Мазарини; в 1763 г. устройство новых тонтин было запрещено, в 1770 г. они были упразднены.

[6] *...поплатились и рантье...* — Подробно о рантье см.: Tableau de Paris, t. 1, p. 242—245.

Глава сорок первая

[1] *Пирронизм* — скептицизм (название происходит от имени древнегреческого философа IV в. до н. э. Пиррона из Элиды).

[2] *...нелепое развлечение...* — Ср. суждение Руссо: «Страсть к игре, плод скупости и скуки, пускает корни в пустой голове и пустом сердце» («Эмиль», кн. 4).

[3] *...безумного государя...* — Мерсье имеет в виду французского короля Карла VI, правившего с 1380 по 1422 г. (См.: Mercier L.-S. Histoire de France, t. 2, p. 308—309). По другим сведениям, карты получили известность в Европе начиная с XIII в.

[4] *...усовершенствованная гармоника...* — клавишный музыкальный инструмент со стеклянными пластинками вместо струн; усовершенствования ее производились неоднократно, одно из них в 1760 г. осуществил Б. Франклин.

[5] *...в сералях...* — Сераль — резиденция турецкого султана; более узкое значение — гарем.

Глава сорок вторая

[1] *...английские газеты.* — Как правило, английские газеты имели большой формат.

[2] *«Цинна»* — трагедия П. Корнеля «Цинна, или Милосердие Августа» (1640).

[3] *Королевский канал...* — Большинство сведений о Китае, сообщаемых Мерсье, восходит к «Всеобщей истории путешествий» (Histoire générale des voyages, t. 5—6. Paris, 1748).

[4] *...на тех священников ... распрей.* — Речь идет о миссионерах-иезуитах, проникновение которых в Китай относится ко второй половине XVI в.

[5] *...«Очаровательному китайскому королю».* — Намек на послание Вольтера «Китайскому королю по случаю издания сборника его стихотворений», начинавшееся словами: «Прими мои поздравления, очаровательный китайский король». Обращенное к китайскому императору-поэту, правившему под девизом Цянь-лун (1736—1795), произведение это представляло собой обычную для Вольтера апологию Китая; опубликовано оно было в 1771 г. Мерсье мог с ним ознакомиться в списке. Ср.: Voltaire's Correspondence, t. 76. Genève, 1962, № 15532; t. 77, № 15732, 15742, 15778.

[6] *В Китае более не господствует палка...* — О «господстве палки» в Китае писал иезуит Ж.-Б. дю Альд (Du Halde J.-B. Description géographique, historique, chronologique, politique et physique de l'Empire de la Chine et de la Tartarie chinoise. Paris, 1735, t. 2, p. 134).

[7] *Конфуций* (551—478 до н. э.) — китайский мыслитель, в представлении французских просветителей и прежде всего Вольтера — образец мудрого законодателя и философа, один из творцов «естественной религии». См.: Guy B. The French image of Chine before and after Voltaire. — Studies on Voltaire and Eighteenth century, vol. 21. Genève, 1963, chap. 5.

[8] *Эдо* — древняя столица Японии; в 1868 г. переименована в Токио.

[9] *...Тайко, превратившего Дайри...* — Под именем Тайко вошел в историю Тоетоми Хидэёси (1536—1598), полководец и государственный деятель феодальной Японии; сосредоточив в своих руках всю светскую власть (официально он носил титул канцлера — кампаку), Тайко духовную власть оставил императору — Дайри. Возможный источник этих сведений: Charlevoix P.-F.-X. Histoire et description du Japon, t. 2. Paris, 1736, p. 101—102.

[10] *Амида* (Амитабха) — священный будда, культ которого возник в Японии в XII в. и существует поныне. Амидаизм — буддийское учение о рае («чистой стране»), где человека ожидает высшее блаженство — нирвана. Фрагмент восходит к «Опыту о нравах и духе народов» Вольтера (гл. 142).

[11] *Въезд в Японию свободен...* — С середины XVII в. въезд в Японию иностранцев и выезд из страны были запрещены.

[12] *Самоубийство...* — харакири, почетный вид самоубийства в средневековой Японии, пережиточно существовавший и позднее.

[13] *...красивые глаза...* — О том, что персидские монархи выкалывали глаза возможным претендентам на престол, Мерсье мог прочесть у Вольтера в «Опыте о нравах и духе народов» (гл. 158).

[14] *...священные книги Зороастра и Саддар...* — Имеется в виду Авеста, собрание священных книг зороастризма, религии, распространенной в древности и в раннем средневековье в Иране, Средней Азии, Азербайджане и Афганистане; Саддар — сборник извлечений из Авесты и их комментированных переводов на среднеперсидский язык; упоминается Вольтером в «Опыте о нравах и духе народов» (гл. 5).

[15] *...никто уже не вспоминает ни об Омаре, ни об Али.* — Другими словами: древняя религия персов возобладала над исламом. Омар I-ибн-аль Хаттаб (583 или 593—644) — второй халиф, один из ближайших сподвижников Магомета; Али-ибн-Али-Талиб (600—661) — четвертый халиф, зять Магомета. Последователи Омара образуют секту мусульман-суннитов, последователи Али — секту мусульман-шиитов.

[16] *Монтезума*, правильнее Монтекухсома (1466—1520) — правитель ацтеков с 1503 г., был взят в плен испанцами; выступил с призывом покориться завоевателям, за что был убит восставшими индейцами (по другой версии — умерщвлен испанцами).

[17] *Гватимозин*, правильнее Куатемок (1494—1525) — племянник Монтезумы, верховный правитель ацтеков; попал в плен к испанцам, был обвинен в заговоре против Кортеса и повешен. Слова, приведенные Мерсье, он произнес во время пыток, которым его подвергали испанцы; это был его ответ жаловавшемуся на свою судьбу министру, которого пытали рядом с ним.

[18] *...Новой Испанией?* — В 1535 г. на территории захваченной испанцами Мексики было создано вице-королевство Новая Испания.

[19] *...Магелланову землю...* — Мерсье так называет Огненную землю — группу островов на крайнем юге Южной Америки, отделенную от материка Магеллановым проливом.

[20] *...страну, лежащую по берегам Амазонки.* — Подразумевается территория нынешней Бразилии.

[21] *Германская империя* — так называемая «Священная Римская империя германской нации», просуществовавшая с 800 до 1806 г.

[22] *...под игом иезуитов...* — В начале XVII в. на территории Парагвая возникло государство иезуитов, всячески прославлявшееся католическим духовенством как идеальное теократическое государство. Легенде этой решительно противодействовал Вольтер (см.: Гордон Л. С. Вольтер и государство иезуитов в Парагвае. — В кн.: Вольтер. Статьи и материалы, с. 66—85). Мерсье в значительной мере разделял точку зрения Вольтера.

[23] *Из Марокко...* — Фрагмент мог быть внушен соответствующей статьей «Энциклопедии», где отмечались крайняя отсталость страны и царящий в ней произвол.

[24] *Из Сиама...* — Сведения, от которых отталкивается Мерсье в этом фрагменте, восходят к «Путешествию в Сиам» Ги Ташара (1688), широко использованному во «Всеобщей истории путешествий» (Histoire générale des voyages, t. 9. Paris, 1751, p. 138, 145—146, 297—299).

[25] *Вдова ... сожгли одного...* — Имеется в виду существовавший в Индии обычай, согласно которому вдове подобало сжечь себя на погребальном костре супруга; Малабарское побережье названо под впечатлением от трагедии А.-М. Лемьера «Малабарская вдова» (первое представление 30 июля 1770 г.).

[26] *Когда г-н де Бугенвиль открыл этот благодатный остров...* — Остров Таити был открыт 2 апреля 1768 г. во время первой французской кругосветной экспедиции, возглавлявшейся Луи-Антуаном де Бугенвилем (1729—1811); возвращаясь на родину, Бугенвиль взял с собой туземца по имени Аотуру, который прожил в Париже около года. Об этом подробно рассказано в книге Бугенвиля «Кругосветное путешествие на фрегате Будез и транспорте Этуаль» (1771; рус. изд. — М., 1961, с. 154—187).

[27] *....в Тавриде...* — По преданию, все чужеземцы, прибывшие в Тавриду, приносились в жертву богине Артемиде; с этим преданием связан сюжет трагедии Еврипида «Ифигения в Тавриде».

[28] *...отличались ... жестокостью и тиранством.* — Мерсье имеет в виду скифов,

с которыми в первые века нашей эры частично смешались тавры, издавна населявшие горную и прибрежную часть Крыма (Таврики); в представлении французских просветителей, скиф — добродетельный и благородный дикарь.

[29] *Покой Польши ... нелепейшими беспорядками...* — В середине XVIII в. «политическая жизнь Польши являла собой картину полнейшей анархии. Бесконечные интриги магнатов и шляхты, бескоролевье и борьба за престол, правительство, не способное провести на сейме никакого решения, малочисленная, плохо организованная и вооруженная армия, лишенная твердой дисциплины, — все это приводило Речь Посполитую в состояние полного развала» (История Польши, т. 1. М., 1956, с. 332).

[30] *...Екатерина II ... права собственности.* — Отмена крепостного права и равенство всех состояний в Польше были провозглашены лишь по конституции 1807 г.

[31] *...на трон взошел его сын...* — После прекращения династии Ягеллонов (1578) власть польских королей перестала быть наследственной: они избирались сеймом.

[32] *...изгнание ... турок из Европы.* — Мерсье выражает точку зрения, типичную для французских просветителей, видевших в антитурецкой политике и войнах борьбу с варварством и деспотизмом.

[33] *...Константинова трона...* — Римский император Константин Великий (274—337) перенес свою столицу из Рима в Византию, получившую в 326 г. название Константинополя; с 395 г. город стал столицей Византийской империи; в 1453 г. взят турками и переименован в Стамбул.

[34] *Танаис* — греческое название Дона.

[35] *...это было сделано ... одним северным народом.* — Подразумевается: русскими, «по мановению руки» Екатерины II (роман Мерсье появился в разгар русско-турецкой войны, ознаменовавшейся рядом блистательных побед русского оружия).

[36] *...родина Фемистоклов и Мильтиадов...* — Фемистокл (ок. 514—449 до н. э.) — древнегреческий государственный деятель; Мильтиад Младший (конец IV—нач. V в. до н. э.) — древнегреческий государственный деятель и полководец.

[37] *Сарданапал* — последний ассирийский царь (IX в. до н. э.); имя его сделалось нарицательным обозначением человека изнеженного и сластолюбивого.

[38] *...Святой Софией...* — Храм св. Софии был воздвигнут в 532 г. в Константинополе императором Юстинианом; после завоевания города турками был превращен в мечеть.

[39] *...с их ключами и тиарами...* — Ключи — атрибут папской власти; тиара — папская корона.

[40] *...все Калигулы .... Домицианы...* — Калигула (12—41), Домициан (51—96) — римские императоры, оба отличались крайней жестокостью, оба были убиты.

[41] *Ариман* — в зороастризме олицетворение зла, источник вредных сил природы.

[42] *Суринам* — с 1667 г. голландская колония в Южной Америке (Нидерландская Гвиана).

[43] *...в тюрьме конклава...* — Конклавом называется место, где собираются кардиналы для избрания нового папы, и самое собрание; на протяжении всей процедуры выборов кардиналы лишены права общения с внешним миром.

[44] *...кардинальской шапки и шапочки.* — Первая — круглая, с двумя шелковыми шнурами; вторая — четырехугольная; обе красного цвета.

[45] *...о чуде св. Януария...* — В Неаполе, в часовне этого святого, одного из мучеников раннего христианства, хранятся его мощи — череп и сосуд с кровью; ежегодно в этой часовне при большом стечении верующих происходит церемония, во время которой кровь в сосуде начинает кипеть, что считается добрым предзнаменованием для города.

[46] *...церкви богоматери в Лоретто...* — Имеется в виду собор в итальянском городке Лоретто (провинция Анкона), внутри которого находится дом, где якобы жила богоматерь; по преданию, он был перенесен в Лоретто из Назарета ангелами; в соборе были сосредоточены огромные богатства.

[47] *...так звали варвара...* — Имеется в виду Доминик де Гусман (1170—1221), основатель ордена доминиканцев и инквизиции.

[48] *Сколько капитулов!* — Капитул — в римско-католической церкви коллегия духовных лиц, состоящая при епископе и его кафедре.

[49] *Торквемада* Томас (1420—1498) — доминиканский монах, первый «великий инквизитор», выработал инквизиционный кодекс и процедуру инквизиционного суда, отличался исключительной жестокостью.

[50] *Филипп II* (1527—1598) — испанский король, жестокий и фанатичный; время его правления — «золотой век» инквизиции.

[51] *... волки, некогда ее опустошавшие.* — Волки были истреблены в Англии на рубеже XV—XVI вв., в Шотландии — в конце XVII в., в Ирландии — в начале XVIII в.

[52] *... об уничтожении навваний Шотландия и Ирландия...* — Намек на англо-шотландские и англо-ирландские противоречия.

[53] *... прелестных принцесс...* — Подразумевается Мария-Антуанетта, дочь австрийского императора Франца I, в 1770 г. выданная замуж за дофина — будущего Людовика XVI.

[54] *Он уже не так обуреваем страстью к золоту.* — Типичное для французских просветителей представление о Голландии. Ср., например, в «Прогулках одинокого мечтателя» Руссо (гл. 9): «Говорят, что в Голландии просят денег, сообщая вам, который час и как пройти; торговать так самыми естественными человеческими обязанностями может лишь весьма презренный народ».

[55] *Статуя знаменитого Вольтера...* — Имеется в виду статуя, которую в 1770 г. решили соорудить друзья и почитатели «фернейского патриарха»; выполнение замысла было поручено скульптору Ж.-Б. Пигалю; сбор средств осуществлялся по подписке; среди подписчиков был и Мерсье.

[56] *... попирает мерзкую голову Ф... на...* — Намек на Эли-Катрин Фрерона (1719—1776), заклятого врага Вольтера, французского литератора-антипросветителя, с 1754 г. до конца жизни издававшего журнал «Année littéraire». Деталь статуи, указанная Мерсье, реализации не получила.

[57] *«Газет де Франс»* — старейшая французская газета, основанная в 1631 г. Теофрастом Ренодо.

Глава сорок третья

[1] *... подобно Иисусу Навину...* — Согласно библейскому преданию, по просьбе этого пророка — преемника Моисея — бог остановил солнце и луну, дабы народ его поразил амореян.

[2] *... «ночными горшками».* — Имеются в виду небольшие открытые повозки; поездка в них от Парижа до Версаля, стоившая недорого, была очень тягостной: пассажиры сидели в ужасной тесноте и страдали от непогоды. См.: Tableau de Paris, t. 8, p. 117.

[3] *Флешье, Маскарон, Невиль...* — Валантен-Эспри Флешье (1632—1710), Жюль Маскарон (1634—1703), Пьер-Клод Фрэ де Невиль (1692—1775) и его брат Жозеф-Клод (1693—1774) — французские проповедники.

Глава сорок четвертая

[1] *Сюда ушли все средства королевства...* — Ср. сходное суждение о Людовике XIV Вольтера: «Если бы он на украшение Парижа употребил пятую часть того, что израсходовал, насилуя природу в Версале, Париж сделался бы великолепнейшим городом в мире» («Век Людовика XIV», гл. 29).

[2] *Кто построил ... термы?* — В императорском Риме так назывались общественные заведения, заключавшие в себе холодные, теплые, жаркие и парные бани, плавательные бассейны, помещения для гимнастических упражнений, места для прогулок, художественные галереи и т. д. Первые публичные термы были выстроены при Августе; своими колоссальными размерами и роскошью архитектурной отделки особенно знамениты термы Каракаллы и Диоклетиана.

[3] *Кто вырыл искусственные озера ... целый флот?* — Мерсье имеет в виду потешные морские сражения (невмахии); об одном таком сражении, для которого по повелению Августа был сооружен водоем «за Тибром», упоминает Тацит («Анналы», кн. 12).

СОДЕРЖАНИЕ

ГОД ДВЕ ТЫСЯЧИ ЧЕТЫРЕСТА СОРОКОВОЙ

Посвящение Году две тысячи четыреста сороковому 5
Предуведомление 7
Глава первая. Париж глазами старого англичанина 8
Глава вторая. Мне семьсот лет 12
Глава третья. Я одеваюсь в лавке подержанного платья 14
Глава четвертая. Носильщики 15
Глава пятая. Кареты 17
Глава шестая. Вышитые шапки 18
Глава седьмая. Переименованный мост 20
Глава восьмая. Новый Париж 21
Глава девятая. Прошения 27
Глава десятая. Человек в маске 28
Глава одиннадцатая. Новые заветы 30
Глава двенадцатая. Коллеж четырех наций 32
Глава тринадцатая. Где же Сорбонна? 36
Глава четырнадцатая. Дворец прививок 39
Глава пятнадцатая. Богословие и юриспруденция 39
Глава шестнадцатая. Казнь преступника 43
Глава семнадцатая, не столь отдаленная от нас, как это кажется 50
Глава восемнадцатая. Проводники мира 52
Глава девятнадцатая. Храм 55
Глава двадцатая. Прелат 62
Глава двадцать первая. Причащение тайн двух бесконечных миров 63
Глава двадцать вторая. Удивительный памятник 68
Глава двадцать третья. Хлеб, вино и прочее 70
Глава двадцать четвертая. Принц — хозяин харчевни 76
Глава двадцать пятая. Зрительный зал 78
Глава двадцать шестая. Фонари 83
Глава двадцать седьмая. Похоронная процессия 85
Глава двадцать восьмая. Королевская библиотека 90
Глава двадцать девятая. Писатели 103
Глава тридцатая. Французская Академия 106
Глава тридцать первая. Королевская коллекция 114
Глава тридцать вторая. Салон 124
Глава тридцать третья. Символические картины 127

Глава тридцать четвертая. Скульптура и гравирование 130
Глава тридцать пятая. Тронный зал 133
Глава тридцать шестая. Форма правления 135
Глава тридцать седьмая. О наследнике престола 143
Глава тридцать восьмая. О женщинах 148
Глава тридцать девятая. Налоги 155
Глава сороковая. О коммерции 161
Глава сорок первая. Ранний ужин 165
Глава сорок вторая. Газеты 170
Глава сорок третья. Надгробная речь поселянину 185
Глава сорок четвертая и последняя. Версаль 187

ПРИЛОЖЕНИЯ

П. Р. Заборов. Утопический роман Мерсье 189
Примечания (*сост. П. Р. Заборов*) 209

Луи-Себастьен Мерсье

ГОД ДВЕ ТЫСЯЧИ ЧЕТЫРЕСТА СОРОКОВОЙ

Утверждено к печати
Редколлегией серии «Литературные памятники» Академии наук СССР

Редактор издательства *Е. А. Смирнова.* Художник *М. И. Разулеви*
Технический редактор *Г. А. Смирнова.* Корректор *А. Х. Салтанаева*

Сдано в набор 22 IV 1977 г. Подписано к печати 19/IX 1977 г. Формат 70×90¹/₁₆. Бумага № 2. Печ. л. 15+5 вкл. (⁵/₈ печ. л.)=18.27 усл. печ. л. Уч.-изд. л. 19.87. Изд. № 6379. Тип. зак. № 302. Тираж 25 000. *Цена 2 р. 90 к.*

Ленинградское отделение издательства «Наука»
199164, Ленинград, З-164, Менделеевская линия, д. 1
1-я тип. издательства «Наука». 199034, Ленинград, В-34, 9 линия, д. 12